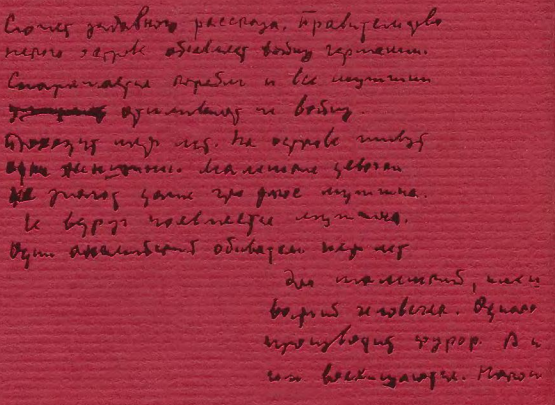
Давид Самойлов

счастье ремесла

Давид Самойлов

счастье ремесла



Давид Самойлов

Давид Самойлов

счастье ремесла

Москва 2010

ББК 84Р7-5
С17

оформление
Валерий Калныньш

Самойлов Д. С.
С17 Счастье ремесла: Избранные стихотворения / Сост. В. Тумаркин. — М.: Время, 2010. — 784 с.

ISBN 978-5-9691-0482-2

В книгу одного из крупнейших русских поэтов XX века Давида Самойлова (1920—1990) вошли множество его стихотворений (как печатавшихся при жизни, так и опубликованных посмертно) и несколько поэм (от «Шагов Командорова» и «Чайной» до «Возвращения»). Тексты расположены в хронологической последовательности, что позволяет увидеть как творческую эволюцию поэта, его движение сквозь историческое время, так и саму многотрудную эпоху, в которую довелось жить и писать Давиду Самойлову. Издание снабжено статьей, характеризующей особенности миропонимания Самойлова и его поэтики. Выход книги приурочен к грядущему 90-летию поэта.

ББК 84Р7-5

ISBN 978-5-9691-0482-2
9 785969 104822

© Давид Самойлов, наследники, 2010
© Виктор Тумаркин, составление, 2010
© Андрей Немзер, сопроводительная статья, 2010
© «Время», 2010

ПОЭТ ДАВИД САМОЙЛОВ

Давид Самуилович Кауфман (1 июня 1920 — 23 февраля 1990) писал стихи с детства (о своих первых опытах он кое-что рассказал в мемуарах). Поэтом ощутил себя уже в предвоенные — «ифлийские» — годы. Псевдоним «Давид Самойлов», с которым он навсегда вошел в русскую литературу, был взят сразу после войны (1946). Более-менее регулярно Самойлов стал печататься во второй половине 50-х, «имя» обрел в начале 70-х — по появлении сборника «Дни» и суммарной на ту пору книги «Равноденствие»*.

---

* Первая самойловская книга — «Ближние страны» — увидела свет в 1958 году, следующая — «Второй перевал» — в 1963-м. Затем Самойлов, подписавший письма в защиту Ю. Даниэля и А. Синявского и А. Гинзбурга и Ю. Галанскова, был мстительно отрешен от изданий до 1970 года, когда появились «Дни». Далее следовали «Равноденствие» (1972; набор одноименной книги избранного был прежде рассыпан; состав претерпел существенные изменения), сборники «Волна и камень» (1974), «Весть» (1978), «Залив» (1981), «Голоса за холмами» (1985; книга вышла в Таллине, где требования цензуры к русским авторам были много мягче, чем в столице СССР; это позволило включить в «Голоса за холмами» ряд «рискованных» стихотворений (как новых, так и давних), «Беатриче» (1989), «Горсть» (1989). Итоги полувековой литературной работы подвел двухтомник «Избранные произведения» (1989; в него, кроме стихотворений и поэм, вошли цикл детских пьес о Слоненке, несколько мемуарных очерков и статей о поэзии). Последняя подготовленная Самойловым к печати книга — компактное избранное «Снегопад» (1990) — стала достоянием читателя уже после смерти поэта. На сегодня наиболее полно поэтическое наследие Самойлова представлено в книгах «Стихотворения» (СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2006; Новая Библиотека поэта, Большая серия) и «Поэмы» (М.: Время, 2005).

Отправной пункт своего поэтического маршрута Самойлов назвал со всей возможной определенностью. В сборник «Залив» поэт, перешагнувший рубеж седьмого десятка и к тому времени обретший (пусть негласно) статус живого классика, счел должным включить подборку ранних стихотворений. Открывалась она — как и предлагаемая читательскому вниманию книга — «Плотниками...». Понятно, что стихотворение это «вторично», хотя единичный конкретный образец, на который ориентируется юный сочинитель, назвать невозможно. В «Плотниках...» с их «разгульными» длинными строками, произвольными междударными интервалами, агрессивными аллитерациями, нарочито изысканными рифмами, пышной «живописной» фактурой, игровой стилизацией, балансирующей меж трагедией и бурлеском, слышатся и отголоски Сельвинского, Багрицкого, Тихонова, Антокольского (поэтов отнюдь не схожих), и нечто «общемодернистское», и романтическая (впрочем, востребованная и в эпоху модернизма) легенда о поэте-преступнике Франсуа Вийоне, однако ни к одной из этих «составляющих» стихотворение не сводится. Понятно, почему оно стало «визитной карточкой» начинающего стихотворца и радостно встречалось его сверстниками, ценителями «мастерства» и «экспрессии». Однако, вынимая «Плотников...» из стола «сорок

В статьях и примечаниях к этим изданиям по возможности подробно охарактеризованы творческий путь Самойлова, специфика его поэтического мышления, особенная стать его лирики и эпоса; ср. также первую (и единственную) монографию: Баевский Вадим. Давид Самойлов. Поэт и его поколение. М.: Советский писатель, 1986. Другие грани литературного мира Самойлова представлены в изданиях: Перебирая наши даты (М.: Вагриус, 2000 — мемуарная проза); В кругу себя (Таллинн: Авенариус, 2001 — «игровая» словесность); Поденные записи: в 2 т. (М.: Время, 2002); Книга о русской рифме (М.: Время, 2005; 3-е издание работы, публиковавшейся в 1973 и 1982 гг.). Репрезентативные издания сочинений для детей, переводов, драматургии и эссеистики Самойлова — дело будущего. То же относится к его обширному эпистолярию, начало знакомству с которым положено томом переписки с Л. К. Чуковской (М.: Новое литературное обозрение, 2004).

лет спустя», поэт не столько знакомил со своим прошлым, сколько оповещал внимательного читателя об общности давно минувшего и сегодняшнего. Став истинным мастером, Самойлов сохранил и приверженность «ладу баллад», и виртуозное умение сочетать литературность с просторечием, и острый интерес к истории, всегда сложно (подчас — парадоксально) соотнесенной с современностью, и веселое мужество перед лицом нешуточной беды, и азарт изобретателя эффектных стиховых оборотов. Но более важным кажется нечто иное, глубинное, во многом обусловившее как тональность раннего победительного опуса, так и несравненно более сложный общий строй поэзии Самойлова.

Речь идет о влюбленности в жизнь во всей ее клокочущей многомерности и многокрасочности, при ясном сознании конечности земного бытия и невозможности смириться с этим железным законом. В последнем — оставшемся неоконченным — стихотворении Самойлов, как и в далеких «Плотниках...», говорит о скором уходе, который и тут не может (не должен!) стать окончательным. В «Плотниках...» гремела мальчишеская бравада, насмешливо не различающая рай и ад («И в аду не только черти! / На земле пожили — что же! — попадем на небеса!»). Тихий, колыбельно-молитвенный шепот поздних стихов надиктован все тем же несогласием на исчезновение, все тем же упованием на другую — но не вовсе другую! — жизнь. Самойлов ведет речь не о посмертных метаморфозах, не о растворении в природе, но о, кажется, бесконечном восхождении по какой-то удивительной лестнице, которое выпадет неизменному «я» поэта. Это человеку остается «три часа» или несколько месяцев, в которые уместится пяток писем, — поэта ждет иной удел. В словах «Но умру не насовсем / И не навсегда» спрятана великая формула поэтического бессмертия, в русской традиции неразрывно связанная с Пушкиным: «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит...».

Глубинное родство «условно первого» и «условно последнего» (никто не знает, что грезилось поэту между 12 декабря 1989 и 23 февраля 1990) стихотворений Самойлова, которые очертили

пространство его поэзии, видится закономерным и символичным. Вне зависимости от того, вспоминал ли поэт о «Плотниках...», нащупывая-пробормативая свои прощальные строки. Возможно, и нет. Память (внутренняя логика) поэтической системы сильнее и важнее человеческой памятливости автора. Надежда на бессмертие не оставляла Самойлова потому, что много раньше он ощутил абсолютную слитность собственной жизни и поэзии. Об этом он писал в трудную пору вхождения в «официальную литературу» (1957) в стихотворении, нагруженном огромным личным смыслом и, подобно очень многим напряженно интимным текстам, опубликованном лишь посмертно. Писал, прямо вспоминая свой веселый дебют: «Как поумнел я с той поры, / Когда читал тебе стихи / Про всяческие пустяки, / Про плотников и топоры...». Обращаясь к неназванному, но очень дорогому адресату (в одной из редакций стихи названы «Другу», так же, как признание Пастернака об опасности «вакансии поэта»), Самойлов скорбит о своем «поумнении», об утрате «смешных» юношеских нежности и самодостаточности, чистоты и безрассудности, о врастании в систему чужих норм... «И все ж, одолевая ложь, / Порой испытывая страх, / Порою подавляя дрожь, / Порою отрясая прах — // Живу, и верую, и жду... / И смолкну только в том году, / Когда окончатся слова / И помертвеет голова». Жизнь длится до тех пор, покуда не иссякли слова. Если слова были действительно словами, а не подделками (тетеревиным токованием, пустыми формулами, повторением пройденного), то и после ухода поэта ничего не кончается. Если поэзии не было (или была она фальшивкой), то пустой была вся жизнь, а по ту сторону бытия ждет лишь «тьма без времени и воли» — как безжалостно сказано в горчайшей (по внешнему рисунку — эксцентрично игровой) поэме «Старый Дон-Жуан».

Всю жизнь Самойлова мучили связанные в единый узел вопросы: *что такое поэзия? кого можно считать поэтом?* И наконец: *поэт ли он сам?* На первый вопрос Самойлов ответил вызывающе парадоксальным восьмистишьем («Поэзия должна быть странной...», 1981). «Простота» и «сложность», «загадочность» и «доступ-

ность» сплавляются в таинственное целое, а потому всякое изолированное (однословное) определение оказывается заведомо недостаточным. (Нечто подобное двадцатью годами раньше мерцало в «Словах».) Перечень внешне взаимоотрицающих свойств подводит к мысли о принципиальной непостижимости (неопределимости) поэзии. Столь же трудно указать перстом на суть «не поэзии»: в «Рецензии» (1976) формальные характеристики обсуждаемых стихов «позитивны», предварительный итог вроде бы обнадеживает («Все есть в стихах — и то и это»), но тем горше вывод, вроде бы ни из чего не следующий, но абсолютно твердый: «Но только нет судьбы поэта, // Судьбы, которой обречен, / За что поэтом наречен». Если нет судьбы, если «разрушена души структура», то нет и поэзии — ее, по слову Верлена, манифест которого с горькой усмешкой цитирует Самойлов в стихах 1981 года, подменяет «литература».

Поэт — это тот, кто сохраняет неразрушенной «структуру души» и видит сквозь калейдоскоп биографических фактов неотменимую логику своей судьбы. Поэт узнается не по наличию тех или иных свойств (или их суммы), но по общей стати, по парадоксальному единству резко индивидуального и всеобщего, ошеломляющей неожиданности и включенности в большую традицию (целое русской и мировой словесности), загадочности и открытости, сопричастности своей эпохе и отдельности, всегда предполагающей несогласие (часто — трагическое) с обстоятельствами времени и места. Одно из самых важных для автора (и для весьма разных читателей!) самойловских стихотворений называется «Пестель, поэт и Анна», потому что Пушкин (в тексте восемь раз возникает его фамилия, а затем и имя) — это поэт в самом точном и полном смысле слова. Насколько ощутимо пушкинское начало в том или ином стихотворце, настолько он — поэт.

Легко перечислить имена поэтов, чей опыт был особенно для Самойлова значим: Державин, Тютчев, Лермонтов, Фет, Некрасов, Алексей Толстой, Блок, Ходасевич, Хлебников, Маяковский, Мандельштам, Цветаева, Заболоцкий, Пастернак, Ахматова… Диалог с каждым из них складывался по-разному. К примеру,

явных лермонтовских реминисценций у Самойлова немного, но заглавная формула его реквиема Пушкину и мотив посмертного освобожденного бытия постоянно пульсируют в самойловских рефлексиях о бессмертии поэта и поэзии. Некрасов упоминается еще реже, однако его скрытое, но властное присутствие сказывается и в «Цыгановых», и в «Поэте и гражданине», и в «Снегопаде». Дезертир из одноименного стихотворения оказывается «негативным» двойником достигшего высшей свободы персонажа стихотворения Фета «На стоге сена ночью южной…» Ученичество у Хлебникова ощутимо не столько на уровне приемов или тем, сколько в ясном осознании сущностной зависимости от нерасслышанного учителя. Оплакивая покончившего с собой Анатолия Якобсона, Самойлов строит «Прощание» на интонациях Цветаевой, за которыми клокочет ее — и новоушедшего — трагическая обездоленность, а поминая своего погибшего на войне друга, пронизывает стихотворение «Памяти юноши» словесными и ритмическими реминисценциями мандельштамовского «Декабриста». Перечень примеров легко продолжить. Всякий случай резко индивидуален, многопланов и заслуживает неспешных читательских раздумий, но неизменным остается самойловское стремление соотнести свои чувства и мысли с тем, что уже мерцало в русской поэзии, поверить сегодняшнее — давним, но неушедшим, обнаружить в «сходном» — значимые (именно на фоне традиции обнаруживающиеся!) различия.

Самойлову жизненно необходим то открытый, то тайный диалог с целым русской поэзии — от фольклора и «Слова о полку Игореве» до младших современников. В его дневниках и эпистолярии можно найти скептичные, а то и обидные аттестации собратьев по цеху, но в стихах дело обстоит иначе — всякому поэту щедро воздается за то лучшее, что ожило в его слове и было оплачено его судьбой. И движет Самойловым не тактическая толерантность, но выстраданная вера в единство поэзии. «Пусть нас увидят без возни, / Без козней, розни и надсады. / Тогда и скажется: «Они / Из поздней пушкинской плеяды». «Козни», «рознь» и «надсада», увы, существуют (еще как!), но «поздняя пушкинская плеяда»

остается таким же непреложным фактом, как негасимый свет пастернаковской свечи, возникающий в коде восьмистишья.

Эту «плеяду» признал и назвал по имени тот же самый поэт, что восславил свободу — Фета и, разумеется, свою — «от всех плеяд» («Кончался август...»). Высокое достоинство русской словесности второй половины XX века упорно защищал (пожалуй, и славил) тот же поэт, что через год после смерти Ахматовой безжалостно констатировал «Вот и все. Смежили очи гении...». Характеризуя «наши голоса», Самойлов употребил оборот, который Пушкин применил к предсмертным — комически трогательным, но вторичным и безжизненным — стихам бедного Ленского: «говорим и вяло и темно». Позднее формула эта возникнет в стихотворении «Что сказать официанткам...», иронической вариации тютчевского «Кончен пир, умолкли хоры...». В отличие от участников тютчевского пира, «ресторанные поэты» не в силах увидеть сияющие на небе звезды (их в тексте Самойлова просто нет), а потому и «пишут вяло и темно», оставаясь ничтожными детьми суетного дольнего мира. (Зловеще-гротескное развитие этот сюжет получит в «Канделябрах» — поэме о безумной и зловещей оргии «черных поэтов».) Но даже «ресторанным поэтам» оставлен шанс — рассветы, которые рано или поздно ударят в окно, могут все изменить; будущее — непредсказуемо, а потому сопряжено с надеждой. Не даром «обращенный» вариант пушкинской формулы возникает в самойловских стихах, посвященных грядущей, пока лишь только предощущаемой, но безусловно великой поэзии. Так в «Талантах» (1961), среди других пушкинских реминисценций («Разговор книгопродавца с поэтом», «Герой») — «Приходите, юные таланты! / Говорите нам светло и ясно! / Что вам — славы пестрые заплаты! / Что вам — низких истин постоянство!». Так и двадцатью годами позже: «Когда сумбур полународа / Преобразуется в народ, / Придет поэт иного рода, / Светло и чисто запоет».

Будущий великий поэт — «потомок яснолицый» (мотив «светло и чисто» повторен и усилен), а его антагонисты (что подчеркнуто рифмой) — «хранители традиций», до поры вполне удовле-

творенные своей «сберегающей» миссией, не желающие замечать собственных темноты и вялости, не видящие черты, которая отделяет наследника от эпигона. Для Самойлова все эти проблемы были обжигающе реальны. Раньше многих он почувствовал, сколь сомнительно положение поэта после ухода истинных гениев, сколь обманчив уют любой выгороженной традиции (в том числе и «авангардной»), сколь бесплодна (и зачастую смешна) установка на абсолютную новизну. Но остро переживая драму своего поэтического поколения, Самойлов помнил и о другом — о том, что положение поэта рискованно по определению. «Слабы, суетны, подслеповаты, / Пьяноваты, привычны к вранью, / Глуповаты, ничем не богаты…» — только ли о литераторах позднесоветской поры здесь речь? Или все же о поэтах вообще, о тех, кто слышит божественный глагол, но далеко не всегда способен, по слову другого самойловского стихотворения, «себя сжечь, чтоб превратиться в речь»? Речи «смутны» («темны и вялы»), плечи «непрочны», ноша «непосильна», но все равно «мы» — вне зависимости от конкретного исторического контекста — «поэзии дальней предтечи».

Как тот «старый поэт», от которого остались стол с кушеткой, послужной список с библиографией, лавровый венец да предсмертное «изреченье / Непонятное: “Хочется пе…” / То ли песен? А то ли печенья?». Пока мы движемся по залам дома-музея, лицо и судьбу его хозяина закрывают экспонаты, внешне достоверно и нудно свидетельствующие об «исторических обстоятельствах», а сам он кажется персонажем едва ли не комическим. С каждым назойливым повтором слова «поэт» оно все больше шаблонизируется и опустошается, дабы вдруг зазвучать с подлинной силой в финале. «Смерть поэта — последний раздел. / Не толпитесь перед гардеробом…» Сквозь раздраженное бормотание отработавшего положенный номер экскурсовода слышится голос автора, истинно любящего своего далекого старшего брата, знающего о нем то, что не может передать сколь угодно правильно выстроенная экспозиция, и не надеющегося на понимание привычно любопытствующей и верной духу пошлости толпы. Вольнолюбец в юно-

сти (сочинитель оды «Долой»), патриот-государственник в зрелости (автор поэмы «Ура!»), обласканный и затурканный лауреат, не поспевающий за современностью брюзга, «любитель жизни спокойной» в старости, чей-то возлюбленный, друг, соперник, враг, объект насмешек и поклонения всегда был поэтом, и это бесконечно важнее любых амплуа, в которых он представал и предстает толпе. Потому и не назван поэт по имени, потому невозможно (не нужно) искать прототип, потому за синтезированной, приправленной иронией, «девятнадцативечной» биографией скрывается вечный миф о поэте.

Всякий пусть «малый», но истинный поэт в какой-то мере воплощает всю поэзию — ее неизбывное («доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит») прошлое; ее рискованное и раздражающее, зачастую воспринимаемое как пора упадка и кризиса, настоящее; ее гадательное, но сулящее «новы звуки» будущее. Тяжелейший груз ответственности, закономерно рождающий сомнения, а то и проклятья себе, так же реален и неотменим, как восторг свободного и освобождающего творчества. Одной и той же рукой написано, одни и теми же губами вышептано «Дай выстрадать стихотворенье!..» и «Пиши, пока можешь, / Несчастная тварь!» («Теперь уже знаю...»), «Становлюсь постепенно поэтом...» (ибо «Двадцать лет от беспамятства злого / Я лечусь и упрямо учу / Три единственно внятные слова: / Понимаю, люблю и хочу») и «Никогда не пробиться в поэты» («Меня Анна Андревна Ахматова...»).

Это глубинное противоречие — ядро поэтической (не только стихотворческой, но и жизненной) стратегии Самойлова, позволяющее увидеть и другие ее особенности. О чем идет речь, станет понятнее после небольшого исторического экскурса. На заре новой русской словесности, в 1798 году, Карамзин написал ныне мало кем помнящееся стихотворение «Протей, или Несогласия стихотворца», ответ тем, кто (отнюдь не без оснований) полагал (их наследники и сейчас так думают), что «поэты нередко сами себе противоречат и переменяют свои мысли о вещах». Приведу по необходимости обширную цитату:

Ты хочешь, чтоб поэт всегда одно лишь мыслил,
Всегда одно лишь пел: безумный человек!
Скажи, кто образы Протеевы исчислил?
Таков питомец муз и был и будет ввек.
Чувствительной душе не сродно ль изменяться?
Она мягка как воск, как зеркало ясна,
И вся Природа в ней с оттенками видна.
Нельзя ей для тебя единою казаться
В разнообразии естественных чудес.
Взгляни на светлый пруд, едва-едва струимый
Дыханьем ветерка: в сию минуту зримы
В нем яркий Фебов свет, чистейший свод небес
И дерзостный орел, горе один парящий;
Кудрявые верхи развесистых древес;
В сени их пастушок с овечкою стоящий;
На ветви голубок с подружкою своей
(Он дремлет, под крыло головку спрятав к ней) —
Еще минута… вдруг иное представленье:
Сокрыли облака в кристалле Фебов зрак;
Там стелется один волнистый, сизый мрак.
В душе любимца муз такое ж измененье
Бывает каждый час; что видит, то поет,
И всем умея быть, всем быть перестает.

Далее Карамзин представляет изменчивый лик поэта, который с равным энтузиазмом воспевает сельскую идиллию и успехи просвещения, безнадежный стоицизм и чувствительную слабость, героизм и его тщету, счастье любви и ее горести, дабы резюмировать: «Противоречий сих в порок не должно ставить». Не должно, ибо такова природа поэта, чье дело «выражать оттенки разных чувств», «не решить, но трогать и забавить». «Протеизм» извинителен и, пожалуй, приятен, но в то же время глубоко сомнителен. Несколькими годами раньше, в игровой сказке «Илья Муромец», Карамзин восклицал «Ах! не все нам горькой истиной / мучить томные сердца свои! / ах! не все нам реки слезные / лить о бед-

ствиях существенных! / На минуту позабудемся / в чародействе красных вымыслов! <...> Ложь, Неправда, призрак истины! / будь теперь моей богинею». Неравная себе, переливающаяся всеми цветами радуги, обольстительная и условная Поэзия, в сущности, лжива, она может увести на миг из мира «бедствий существенных», но воспринимать ее всерьез нельзя.

Пройдет три десятилетия, и «протеизм» предстанет не только сутью поэзии, но и залогом ее величия — Протеем (тем самым античным божеством, которое у Карамзина воплощало поэтическую ложь) Гнедич назовет Пушкина, а тот откликнется посланием-манифестом «С Гомером долго ты беседовал один...»: «Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты / Жужжанью пчел над розой алой. / Таков прямой поэт. Он сетует душой / На пышных играх Мельпомены, / И улыбается забаве площадной / И вольности лубочной сцены. / То Рим его зовет, то гордый Илион, / То скалы старца Оссиана, / И с дивной легкостью меж тем летает он / Во след Бовы и Еруслана». От такого «протеизма» совсем недалеко до «всемирной отзывчивости». Но не менее важно, что он накрепко связан с идеей автономии, самодостаточности поэзии, цель которой (по известному письму Пушкина Жуковскому) в ней самой.

Соединив «протеизм» (открытость любым темам, культурным традициям, духовным веяниям) и «бесцельность» (отрицающую не саму по себе возможность политических, философских или религиозных смыслов, но жесткое целеполагание, подчинение творчества внешней задаче), Пушкин (вослед и благодаря оставшемуся в тени Жуковскому) поднял русскую поэзию на немыслимую высоту — она обрела отчетливо сакральный статус. Этого не могли (не хотели) понять как всевозможные апологеты «цели», «мысли», «пользы» или «веры», так и столь же одномерно судящие адепты «искусства для искусства» или «искусства как игры». (В сущности, истовый пушкиноборец Писарев и весело гуляющий с Пушкиным Абрам Терц истолковывают свой «предмет» одинаково, хотя один выставляет поэту обличительно-угрюмый минус, а другой — дразняще-игривый плюс.) Такое — «царственное» —

понимание поэзии (и соответственно — собственного статуса и назначения) после Пушкина вполне не давалось практически никому. Утрата веры в самоценность поэзии (ощутимая уже у Баратынского, Тютчева, Лермонтова) сопровождалась отходом от пушкинской универсальности (того самого «протеизма»). Целое поэтической культуры постоянно усложнялось, обогащаясь неожиданными творческими решениями больших и малых стихотворцев; индивидуальные же поэтические системы столь же непреложно оказывались «беднее» не только этого целого, но и его прообраза — всеохватной поэзии Пушкина. Молодой Корней Чуковский дерзко острил: по сравнению с Пушкиным все остальные поэты (включая гениев) кажутся «уродами», только «уродство» у каждого свое. В сущности, он выражал общее мнение: ответить на вопрос, кто же «второй русский поэт» (Лермонтов? Некрасов? Блок? Пастернак?..) можно только с оговоркой — «для меня», в то время как проблема «первого» была разрешена уже при жизни Пушкина. Перманентные пароксизмы пушкиноборчества раз за разом оборачивались либо неуклюжими попытками «перетолкования» и «присвоения» Пушкина, либо бунтом против поэзии как таковой.

Здесь не место описывать этот сложнейший процесс. Для нашего сюжета важно, что Самойлов достаточно рано — вопреки своей модернистской выучке и не боясь предстать замшелым эпигоном — сделал ставку не на характерную, узнаваемую (а потому — ограниченную и волей-неволей ведущую к монотонии) неповторимость авторского высказывания, но на «протеизм». Определить доминанту его поэтики (на уровне бытовом — опознать Самойлова по нескольким строкам) гораздо труднее, чем охарактеризовать (угадать) стих Слуцкого, Окуджавы, Глазкова (его лучших времен) или Левитанского (называю поэтов-сверстников Самойлова, им высоко ценимых). Тематическое, жанровое, метрическое, интонационное разнообразие самойловской поэзии просто бросается в глаза, а «вытягивание» какой-либо одной линии тут же деформирует образ поэта. Даже если это такие не отпускающие Самойлова темы, как война («Сороковые», «Перебирая наши

даты…», «Если вычеркнуть войну…», «Та война, что когда-нибудь будет…», «Полночь под Иван-Купала…», «Часовой», «Звезда», «Поэт и гражданин», «Дезертир», поэмы «Ближние страны», «Блудный сын» и «Снегопад») или русская история («Стихи о царе Иване», «Конец Пугачева», «Дневник», «Пестель, поэт и Анна», «Солдат и Марта», «Декабрист», «Убиение Углицкое», драма «Сухое пламя», поэмы «Струфиан» и «Сон о Ганнибале»), Москва, обычно видимая при свете детства-отрочества-юности («Выезд», «Двор моего детства», «Памяти юноши», «Пустырь», «Я теперь жилец Замоскворечья…», «Старомодное», поэмы «Снегопад», «Юлий Кломпус» и «Возвращение») или любовь («Аленушка», «Названья зим», «Была туманная луна…», «Мне снился сон жестокий…», «Пярнуские элегии», «Памяти Антонины», цикл «Беатриче»), или творчество («Стих небогатый, суховатый…», «Заболоцкий в Тарусе», «Шуберт Франц», «Слова», «Смерть поэта», «Соловьи Ильдефонса-Константы», «Болдинская осень», «Рождество Александра Блока», «Кончался август…», «В третьем тысячелетье…», «Ночной гость», «Стансы», «Дуэт для скрипки и альта»). Перечислив ключевые (списки, конечно, далеко не полны!) тексты пяти действительно важнейших для Самойлова «тематических комплексов», сразу же понимаешь, во-первых, сколь многое осталось за кадром (следовательно, даже к сумме «войны», «истории», «Москвы эпохи детства», «любви» и «искусства» поэзию Самойлова не сведешь), а во-вторых, сколь условна намеченная рубрикация. История в «Рождестве Александра Блока» не менее важна, чем поэзия. «Полночь под Иван-Купала…» (и еще множество стихов) говорят в равной мере о любви и войне. Поэзия, любовь и история сведены в «Пестеле, поэте и Анне». «Поэт и гражданин» свидетельствует не только о трагедии войны (войне как трагедии), но и о том, что поэт остается хранителем истины и сыном гармонии в проклятом мире и проклятом веке. «Плотность» поэтического мира Самойлова (постоянные мотивные переклички, оговорки, слегка сдвигающие «знакомые» смыслы, варьирование сказанного прежде, зримые для читателя споры с самим собой) не противоречит его разнообразию, но прямо им обусловлена.

Отсюда приверженность Самойлова к «эпическим» жанрам, его верность поэме (основательно во второй половине XX века дискредитированной), балладе, стиховой новелле (балладе, строящейся на современном «бытовом» материале, — таковы, к примеру, «Грачи прилетели...» или «Маша»). В «чужие» сюжеты он вкладывает мощный лирический заряд, претворяя старинные «костюмированные» истории или заурядные бытовые «случаи» в лирические исповеди, символичность и таинственная недоговоренность которых лишь усиливает читательское сопереживание. Особенно ясно ощущается это в откровенно стилизованных — не скрывающих своей «игровой» природы — «Балканских песнях» и балладах середины 1980-х («Королевская шутка», «Песня ясеневого листка» и др.) «Проклятые» сюжеты, за пристрастье к которым Самойлова, по его позднему признанию, корила Ахматова, отнюдь не мешали ему быть поэтом. Напротив, сюжетность, стилизация, высокая игра страховали от дешевого самоупоенного эгоцентризма, банализации «вечных тем», сужения повествовательного (а потому — и смыслового) пространства. Поэмы Самойлова — от «Шагов Командорова» и «Чайной» до «Возвращения» — неуклонно напоминали о том, что мир велик, разнороден и полон таинственных неожиданностей, а «большая история» соткана из множества историй частных, по-разному рифмующихся меж собой и с полускрытой историей самого поэта.

К прямому лирическому высказыванию Самойлов довольно долго относился с гипертрофированной ответственностью. Объем его «потаенной» — избежавшей печати и распространения в самиздате — лирики весьма велик, причем касается это отнюдь не только взрывоопасных стихов на общественно-политические темы. Интимные, резко откровенные, как правило, исполненные глубокой печали, а то и отчаянного надрыва вещи на долгие годы остаются в столе — и к понятным цензурным мерзостям (которые, разумеется, со счета тоже никак не сбросишь!) этот сюжет не сводится. Так опубликованное в журнале стихотворение «Зрелость» (1957), где поэт ясно выразил свое раздражение теми, кто был не способен его расслышать вовремя, но бодро платит бессмысленной

«позднею ценой», не попало ни в «Ближние страны», ни во «Второй перевал» — только в «Дни». Так загадочный «Поэт» («Средь бесконечных русских споров…»), герой которого намекающе ассоциативно соотнесен с автором, дерзувшим сказать о своем назначении (и величии), сперва прождал пять лет (с 1974 по 1979) журнальной публикации, а потом не включался в новые книги, хотя сторонних придирок вызвать явно не мог. Не только пакости советского литературного быта имел в виду Самойлов, признаваясь «Не хочется идти в журнал…», но и, если угодно, природную «сокровенность» весьма многих (в пределе — всех) стихов, с которыми так жаль расставаться. (На сей счет печалился уже первый русский стихотворец — князь Антиох Кантемир.) Чем искреннее и откровеннее речь, тем она беззащитнее (потому и сравниваются стихи с прядкой детских кудрей), но рано или поздно воля «глагола» одолеет человеческий инстинкт самосохранения художника, тайное станет явным. И об этом Самойлов тоже прекрасно знал.

В середине 1960-х, уже чувствуя себя «артистом в силе», но не соблазнившись этим выигрышным амплуа, он выстроил своеобразную творческую систему, разделенную на потаенно дневниковую поэзию «для себя» (не для узкого круга!) и совершенную (порой с кажущимся легким холодком) «поэзию для публики», лучшая часть которой постепенно (чем дальше, тем больше) признавала Самойлова выразителем своих чаяний. Но поэт вовсе не хотел оставаться в этой — по-своему комфортабельной — позиции. Медленно, от книги к книге, рефлектируя и рискуя, экспериментируя и не избегая самоповторов, кое-что по-прежнему оставляя за кадром, но готовя читателя к неожиданным открытиям (каковые и случились после ухода Самойлова), он сводил два разностройных массива в смысловое единство. Все больше доверяясь читателю (не только завоеванному, но и должным образом воспитанному, на верный лад настроенному), открывая свою тайную трагическую ипостась, Самойлов не позволил ей отменить или затенить ипостась иную, давно знакомую — полную любви к жизни (тут-то и срабатывал его «протеизм»), веры в большую поэтическую (и историческую) традицию, надежды на грядущее.

Во второй половине 1980-х, когда русская история словно бы вдруг (а на самом деле — вполне закономерно) вырвалась из муторной и лживой, одновременно удушающей и обольстительно комфортабельной дремоты (уходящий исторический период был изящно наречен «застоем»), Самойлов испытывал острое чувство тревоги. (Подтверждения тому можно найти и в дневниковых записях поэта, и в его публичных выступлениях, и в сокровенных стихах — см., например, «Трудна России демократия…», «И страшны деревенские проселки…», «Не имею желания…», «Три стихотворения».) И все же в октябре 1989 года он написал: «Фрегат летит на риф. / Но мы таим надежду, / Что будет он счастлив / И что проскочит между / Харибдою и Сциллой, / Хранимый Высшей Силой». Надежда не умирала вопреки всей железной аргументации, предъявленной историей — многовековой и новейшей, общероссийской и личной. У Самойлова совсем немало горьких и страшных стихов, где жесткие счеты предъявляются и бесчеловечному времени, и своему поколению, и самому себе. Но как стихи о любви потерянной, преданной либо обманувшей, жгущей ревности, безлюбье в конечном счете становятся гимнами могучему, просветляющему и существующему наперекор внешним воздействиям чувству, так и самойловское поэтическое переживание истории — при ясном осознании ее трагизма — последовательно противостоит циничному приятию якобы всемогущего зла или надрыву темного отчаяния. «Я слышал то, что слышать мог: / Баянов русских мощный слог, / И барабанный бой эпох, / И музы мужественный вдох». Такое дано только поэту, благодаря которому «долго будет слышен гром / И гул, в котором мы живем».

Если эти гул и гром затихают, если жизнь больше не воплощается в слове, а людям становятся не нужны «туманные стихи», приходит катастрофа. Об этом еще одно позднее, словно бы шуточное, стихотворение Самойлова, где небрежение поэзией сравнивается с исчезновением луны. «И если месяц не засветит,/ Никто не хватится сперва. / А ту пропажу лишь заметит/ Одна шальная голова». В «Ночи перед Рождеством» странную недостачу в небесах примечает казак Чуб (его у Самойлова метонимически заменяет другой

персонаж гоголевской повести — Голова). Больше «в Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц». В поэзии Самойлова присутствие месяца — знак устойчивости и правильности мироздания. В «Блудном сыне» тема отсутствия света задается строкой «Не найти дороги без луны»; тьма и подводит старика к преступлению — убийству не узнанного сына, от которого спасает рассвет. В «Поэте и гражданине» несколько раз помянутый месяц — наряду с неназванным прямо Богом («Как Моисеев куст горел костел») и самим поэтом — свидетель преступления свершившегося, хранитель высшей — неизбежно открывающейся — страшной правды. «...Когда под утро умер Цыганов, / Был месяц в небе свеж, бесцветен, нов» — мир остается равным себе, то есть прекрасным после ухода праведника. Равно как после зловеще-дурацкой смерти худшего из грешников, шарлатана и самозванца, прожившего подменную жизнь: «Месяц плыл неспешно по / Небесам в туманном лоне. / «Як Цедрак Цимицидрони. / Ципи Дрипи Лямпопо...» Для Самойлова мир без луны (отождествляемой с поэзией и высшей правдой) — это мир тленный, фальшивый, мертвый. Скрыто, но внятно противопоставленный миру живому и необъятному, тому — подлунному — миру, где царствует Пушкин, доколь «жив будет хоть один пиит».

Суть поэзии в том, что подобно жизни, она необъятна, неопределима и несводима к той или иной доктрине или тенденции. Гражданин (выхваченный причудой случая из Толпы), ощущая чуждость Поэта («Вот то-то вижу, будто не из наших»), готов дать ему тему («А ты ее возьми на карандашик») и ждет от него то ли поучения, то ли развлечения («А ты бы рассказал про что-нибудь» — вариация темы «А мы послушаем тебя»). В ответ он слышит сокровенную правду, превышающую личные волю и опыт его странного собеседника («Ты это видел? / Это был не я»). Ученик убежден, что «наука» Учителя «сильно устарела» и, алча определенности и самостоятельности, не слышит сострадательных предупреждений: «Природа мысли такова, мой друг, / Что доведи любую до конца — / И вдруг паленым волосом запахнет...» Похожий на Алеко «ночной гость» в кульминационной точке одноименного стихотворения оспаривает глубокие,

выстраданные и, что всего существеннее, вроде бы «пушкинские» (то есть им же «заповеданные») суждения хозяина о человеческом достоинстве, невозможности спорить со временем и возврате к истокам, ставит под сомнение те ценности, что были особенно дороги Самойлову (и не ему одному): «Не напрасно ли мы возносим / Силу песен, мудрость ремесел / Старых празднеств брагу и сыть? / Я не ведаю, как нам быть». Как и его ночной гость (все же не до конца равный Пушкину, ибо подлинный Пушкин так же неопределим и неуловим, как сама поэзия), Самойлов «не ведает, как нам быть» — то есть осознает ограниченность и опасность «универсальных» ответов, которые в иных случаях могут быть действительно спасительными, а в других — губительными. Истинная свобода больше того, что каждый из нас может вложить в это слово. Даже поэт, произносящий в ночном уединении заветное: «Наконец я познал свободу».

Дело не только в том, что история (и не одного лишь XX века) свирепа, а человеку всегда трудно дается его звание, которое Жуковский назвал «святейшим». Дело в том, что всякое бытие — греховодника и праведника, баловня судьбы и мученика, домоседа и скитальца, подвижника и бездельника, героя и проходимца, пахаря и властителя, учителя и ученика, гражданина и поэта — конечно. Жизнь может быть праздничной и страшной, счастливой и безотрадной, короткой и долгой, но рано или поздно наступает смерть. Некогда вкусивший всех земных благ, достигший небывалой высоты, а затем с нее низвергнутый Меншиков (драматическая поэма «Сухое пламя») пытается вытеснить страх смерти предположением о будущей людской неблагодарности, возможном забвении его великих государственных заслуг. Одряхлевший, давно растративший себя, никому не нужный Дон-Жуан куражится над злорадным посланцем небытия — Черепом Командора, словно бы развивая свои сетования на «гадкую» старость, но невольно вырвавшийся вопрос («Но скажи мне, Череп, что там — / За углом, за поворотом, / Там — за гранью?») отменяет браваду, в которую Дон-Жуан сам почти верил. Но и самый любимый герой Самойлова — могучий, счастливый и свободный от грехов и стра-

стей Цыганов, жизнь которого была воистину прекрасной, почувствовав приближение конца, повторяет и повторяет мучительное слово «Зачем?». Он вспоминает всю свою жизнь, но ни верность семейному обычаю, ни любовь к единственной женщине, ни хозяйственная основательность, ни победа на войне, ни продолжение рода сыном не могут отменить рокового недоумения — «Зачем, когда так скоро песня спета?». Призрак ответа приходит вместе с самой смертью: «“Неужто только ради красоты / Живет за поколеньем поколенье — / И лишь она не поддается тленью? / И лишь она бессмысленно играет / В беспечных проявленьях естества?..” / И вот, такие обретя слова, / Вдруг понял Цыганов, что умирает...» Красота, бессмысленная (с практической или рациональной точки зрения) игра, неподвластность тлению (заметим вновь отсылку к Пушкину)... — это и есть бесконечная и свободная жизнь, на тайну которой может намекнуть строящаяся по тем же «беззаконным законам» поэзия.

Разумеется, такое мироощущение можно подвергнуть сомнению и/или порицанию. Что и делалось неоднократно, в том числе — незаурядными поэтами. Что ж — они в своем праве. А Самойлов — в своем. Хорошо зная возможные контраргументы, не превращая внутреннее чувство в догмат, он верил в нерасторжимое единство жизни и поэзии. Так писал — так жил. Утверждая и строем стиха, и складом судьбы, что время поэзии не миновало, что она по-прежнему таинственна и целительна, что во второй половине XX века (да и в третьем тысячелетии, которого Самойлову увидеть не довелось, но о котором он много думал) можно быть не только «традиционалистом» или «экспериментатором», проводником «идей» или изобретателем «приемов», но и поэтом. Просто поэтом. И что это — счастье.

Андрей НЕМЗЕР

А мы такие молодые!..

1938—1945

ПЛОТНИКИ...

Плотники о плаху притупили топоры.
Им не вешать, им не плакать — сколотили наскоро.
Сшибли кружки с горьким пивом горожане, школяры.
Толки шли в трактире «Перстень короля Гренадского».

Краснорожие солдаты обнимались с девками,
Хохотали над ужимками бродяги-горбуна,
Городские стражи строже потрясали древками,
Чаще чокались, желая мяса и вина.

Облака и башни были выпуклы и грубы.
Будет чем повеселиться палачу и виселице!
Геральдические львы над воротами дули в трубы.
«Три часа осталось жить — экая бессмыслица!»

Он был смел или беспечен: «И в аду не только черти!
На земле пожили — что же! — попадем на небеса!
Уходи, монах, пожалуйста, не говори о смерти,
Если — экая бессмыслица! — осталось три часа!»

Плотники о плаху притупили топоры.
На ярмарочной площади крикнули глашатаи.
Потянулися солдаты, горожане, школяры,
Женщины, подростки и торговцы бородатые.

Дернули колокола. Приказали расступиться.
Голова тяжелая висела, как свинчатка.
Шел палач, закрытый маской, — чтоб не устыдиться,
Чтобы не испачкаться — в кожаных перчатках.

Посмотрите, молодцы! Поглядите, голубицы!
(Коло-тили, коло-тили в телеса колоколов.)
Душегуб голубоглазый, безбородый — и убийца,
Убегавший из-под стражи, сторожей переколов.

Он был смел или беспечен. Поглядел лишь на небо.
И не слышал, что монах ему твердил об ерунде.
«До свиданья, други!
Может быть, и встретимся когда-нибудь:
Будем жариться у черта на одной сковороде!»
1938

ПАСТУХ В ЧУВАШИИ

Глухой хрипун, седой молчальник
Из-за коряг следил луну.
Вокруг стоял сухой кустарник,
Жевали совы белену.
И странны, как рога оленьи,
Валялись корни в отдаленье.
На холод озерны́х зеркал
Туман влачил свои полотна.
Здесь мир первичный возникал
Из глины и куги болотной.
...И, звезд питаясь млечным соком,
Сидел он, молчалив, как окунь.

Как дым, кипели комары
В котле огромной лихорадки.
За косогоры падали миры.
И все здесь было в беспорядке.

Я подошел к огню костра.
— А сколько будет до кордона? —

Глаза лениво и бездонно
Глядели из болотных трав.
Он был божественный язычник
Из глины, выжженной в огне.
Он на коров прикрикнул зычно,
И эхо пело в стороне...
Я подражал «Цыганам» Пушкина
До третьих петухов.

Потом достигла речь кукушкина
Светлевших перьев облаков.
Коровы сбились в теплый ком,
Следя, как звезды потухали.
Шурша шершавым языком,
Они, как матери, вздыхали...
1938

ОХОТА НА МАМОНТА

Я спал на вокзале.
Тяжелый мамонт,
Последний,
шел по болотам Сибири.
И камень стоял. И реки упрямо
В звонкие
берега
били.

А шкуры одежд обвисали.
В налушнах
Стрелы торчали. И было слышно:
Мамонт идет по тропам непослушным,
Последний мамонт идет к водопою.

Так отступают эпохи.
Косые,
Налитые кровью и страхом глаза.
Под закосневшим снегом России
Оставив армию,
уходит на Запад.

Но челюсть разорвана криком охоты.
Кинулось племя. В руках волосатых
Свистнули луки, как птицы...
И кто-то
Уже умирал
на топях проклятых.

И вдруг закричал
последний мамонт,
Завыл,
одинокий на всей земле.
Последним криком своим и самым
Угрюмым и долгим
кричал зверь.

Так звал паровоз в ледниковой ночи,
Под топот колес,
неуемно,
грозно...
Мы спали тогда на вокзале тифозном
И там же кончались
при свете свечи.

1939

* * *

Когда, туман превозмогая,
Пахнут набухшие ветра,
Земля откроется — нагая,
Слегка бесстыдная с утра.

И город веток и скворешен,
Влюбленный в мокрый окоем,
Вот так же редок и безгрешен
И так же мыслью напоен.

Когда под сферами пустыми
Бог твердь и землю создавал,
Всему давая цвет и имя, —
Свое поставить забывал.

Весь перепачканный и черный
Он шел, со лба откинув прядь,
К земле, еще не нареченной, —
Игру материи смирять.

И насладясь архитектурой,
Неизменяемой уже,
Усталый, под бараньей шкурой
Заснул, как пахарь на меже.
1939

К ВЕЧЕРУ

К вечеру лошади на ходулях
Шляются. Сосны дымят медью.
В травах лиловых кузнечик колдует.
И мир поворачивается медленно,

Как деревянное колесо.
Перемежаются длинные спицы.
Вдруг прилетают тяжелые птицы
И улетают за горизонт.
1939

МАЯКОВСКИЙ

Его безобразная дума сосет,
Что голос был отдан на крик
прокламаций,
Все прочно —
и нечему больше ломаться,
Короче,
что сломано все!

Он мог бы солгать.
Но конец.
Но каюк.
Стихи — только правда, без всякой
поправки.
Он чувствовал несправедливость
отставки,
Что временщики
генералам дают.

Он сердце свое приноравливал к датам,
Не зная сомнений,
не чуя вины.
Он делал себя Неизвестным Солдатом,
Но с правом на памятник после войны.

Он мир этот нянчил.
Он создан был пасть,
Как мост в половодье. Ему было мало
Назначенной меры. И строчки ломала
Стихами замерзшая страсть.

А выстрела ждали. Казалось — судьба.
Но время сметало решетки запретов,
И Сталин уж не улыбался с портретов,
А верил в суровость,
как верят в себя.

Мы трудно учились такому пристрастью,
Что душу сожми,
и увидишь — права!
Поэзия — тот недостаток пространства,
Где только на честность даются права.
1940

* * *

Опять Гефест свой круглый щит кует.
Морочат нас текучие измены.
Но мирные мужи уже не ждут Елены,
И время Андромахи настает.

Не женское искомое тепло,
Не ласточками сложенные руки!
Когда на наковальни тяжело
Кладут мечи и близятся разлуки —

Елена — вздор! Ахейцы спят в гробах.
И лишь одно останется от праха,
Как с Гектором прощалась Андромаха
И горечь просыхала на губах.
1940

СОФЬЯ ПАЛЕОЛОГ

Отмерено добро и зло
Весами куполов неровных,
О византийское чело,
Полуулыбка губ бескровных!

Не доводом и не мечом
Царьград был выкован и слеплен.
Наивный варвар был прельщен
Его коварным благолепьем.

Не раз искусный богомаз,
Творя на кипарисных досках,
Его от разрушенья спас
Изображеньем ликов плоских.

И где пределы торжеству,
Когда — добытую жар-птицу —
Везли заморскую царицу
В первопрестольную Москву.

Как шлемы были купола.
Они раскачивались в звоне.
Она на сердце берегла,
Как белых ласточек, ладони.

И был уже неоспорим
Закон меча в делах условных...
Полуулыбкой губ бескровных
Она встречала Третий Рим.
1941

ОТСТУПЛЕНИЕ

А у женщин глаза, как ручьи,
запрокинуты в небо...
Они лежат, как забытые вещи,
На полях,
полных зеленого хлеба
И убитых женщин.
1941

СЛОВО о БОГОРОДИЦЕ и РУССКИХ СОЛДАТАХ

За тучами летучими,
За горами горбатыми
Плачет Богородица
Над русскими солдатами.
Плачет-заливается за тучкою серой:
«Не служат мне солдаты правдой и верой».

Скажет она слово —
лист золотится;
слезу уронит —
звезда закатится.
Чует осень долгую перелетная птица.

Стояли два солдата на посту придорожном,
ветром покрыты, дождем огорожены.
Ни сухарика в сумке, ни махорки в кисете —
голодно солдатам, холодно им на свете.
Взяла их Богородица за белые —
нет! —
за черные руки;
в рай повела, чтоб не ведали муки.
Привела их к раю, дверь отворила,
хлеба отрезала, щей наварила;
мол, — ешьте, православные, кушайте досы́та,
хватит в раю
живности и жита.
Хватит вам, солдатам, на земле тужити,
не любо ль вам, солдатам, мне послужити.

Съели солдаты хлеба по три пайки.
Жарко стало — скинули «куфайки».
Закурили по толстой.
Огляделись в раю.
Стоит белая хата на самом краю.
И святые угодники меж облаками
пашут райскую ниву быками,
сушат на яблонях звездные сети...

Подумал первый солдат
и ответил:

«Век бы пробыть, Мати, с тобою,
но дума одна не дает покою, —
ну как, Богородица,
пречистая голубица,
бабе одной с пятерыми пробиться! —
Избу подправить, заработать хлеба...
Отпусти ты меня, Пречистая, с неба».

И ответил другой солдат —
Тишка:

«Нам ружьишки — братишки,
Сабли востры — родные сестры.
И не надо, Богородица, не надо мне раю,
когда за родину на Руси помираю».

Не сказала ни слова, пригорюнилась
Пречистая.

И опять дорога.
Опять поле чистое.
Идут солдаты страной непогожею.
И лежит вокруг осень
мокрой рогожею.
1942—1943

* * *

Прости мне горькую досаду
И недоверье к чудесам.
За неименьем адресатов
Я изредка тебе писал.

И знал, что широко отверсты
Глаза бессонные твои,
Что разгадала ты притворство
Несуществующей любви.

Но как бы мог в рассветный иней
Идти по наледи шальной,
Когда бы книжной героиней
Ты не таскалася за мной.

И что ни виделось, ни мнилось
Моей кочующей судьбе,
Ты принимала все, как милость,
Не помышляя о себе.
1944

О СОЛДАТСКОЙ ЛЮБВИ

Стоят у околицы женщины
И смотрят в осеннюю стынь.
Из Киевщины в Смоленщину,
Из Гомельщины на Волынь
Мятутся солдатские тысячи.
Любовь и для них отыщется,
Но горькая, как полынь...

В наградах и ранах —
Штык да сума —
В шинелишке драной
Он входит в дома.
И славная баба
Безоговорочно
Признает хозяином
Запах махорочный.

— Быть может, и мой так по свету
скитается! —
Подумает бедная и запечалится.

...Озябшие птицы кричат на ветле,
Туманы заколобродили.
И мнится солдату: он снова в тепле,
Он — дома, он снова на родине.

Он снова в уютном и теплом
Дому,
где живет постоянство...

А там,
за темными стеклами, —
Неприбранное пространство.
А там,
за темными стеклами, —
Россия
с войною,
с бедою;
И трупы с слепыми глазами,
Залитыми водою;
И мельницы,
как пугала,
Закутанные в рогожи,
И где-то родимый угол,
И дом почти такой же.
И там — почти такой же —
Солдат,
усталый и черный,
Лежит с твоею бабой,
Податливой и покорной...

Я душу с тоски разую.
Закрою покрепче двери,
Чтоб мучить тебя, чужую,
За то, что своей не верю,
За то, что сто лет не бачил,
Какая ты нынче стала,
За то, что холод собачий
И дождь, и вороньи стаи,
И псы цепные брешут,
В ночи чужого чуя,

И реже все,
и реже
Над нами сны кочуют!..

И нет, не бредить снами,
Покуда беды дуют
И вся Россия с нами
Во весь простор бедует!
1944

* * *

Как смеют женщину ругать
За то, что грязного солдата
Она к себе пустила в хату,
Дала попить, дала пожрать,
Его согрела и умыла,
И спать с собою положила
Его на мужнину кровать?

Не потому, что ты хорош,
А потому, что сир и жалок,
Она отдаст последний грош
И свой последний полушалок
За синеватый самогон,
Чтоб ты не в такт тоске-баяну
Стонать полы заставил спьяну,
Стуча зубастым сапогом.

О, ей не нужен твой обман,
Когда ты лжешь, напившись вдосыть:
Любви не ждет, писать не просит.
Уже звучат слова команд,

И ветер издали доносит
Лихую песню сквозь туман.

А после, на ночном привале,
Тоску сердечную скрывая,
Бахвалясь перед дураком,
Кисет с дареным табаком
Достанешь ты из шинелюхи
И, рыжеватый ус крутя,
Промолвишь, будто бы шутя:
— Да что там бабы...
Бабы — шлюхи!..

Прости, солдат, мой грубый стих.
Он мне напомнил те минуты,
Когда супротив нас двоих
Ломились немцы на редуты.
И пулемета злая дрожь
Тогда спасала нас от страха,
И ты, на бинт порвав рубаху,
Был не по-здешнему хорош.

И если нас с тобой, солдат,
Потомки будут видеть чище —
Неверность женщине простят,
Но за неблагодарность взыщут.
1944

* * *

В колокола не звóнят на Руси,
И нужно ли звонить в колокола.
Беззвучный Бог живет на небеси,
Ему нужна безмолвная хвала.

А нам понятней варварский Перун,
Чем этот, желторукий и текучий.
Но иногда, бывает, ввечеру,
Мы молимся ему... на всякий случай...
1944

ПРОЩАНИЕ

Я вновь покинул Третий Рим,
Где ложь рядилась в ризы дружбы,
Где грубый театральный грим
Скрывать нет поводов и нужды.

А я готов был метров со́ ста
Лететь, как мо́шка на огонь,
Как только Каменного моста
Почуял плиты под ногой.

Здесь так живут, презрев терновники
Железных войн и революций —
Уже мужья, уже чиновники,
Уже льстецы и честолюбцы.

А те друзья мои далече,
Узнали тяжесть злой стези,
На крепкие прямые плечи
Судьбу России погрузив.

Прощай, мой Рим! Гудок кричит,
Вправляя даль в железную оправу.

А мы еще придем, чтоб получить
Положенное нам по праву!
1944

ДЕВОЧКА

Восемь дней возила иудеев
Немчура в песчаные карьеры.
Восемь дней, как в ночь Варфоломея,
Землю рыли и дома горели.

«Слушай, Бог!» — кричали их раввины.
«Слушай, Бог!» — рыдали их вдовицы.
И Господь услышал неповинных —
Спас одно дитя от рук убийцы.

Девочка, растрепанный галчонок,
Бурей исковерканная птаха.
И глаза — не как у всех девчонок —
Полусумасшедшие от страха.

Я обнял несчастного ребенка,
Сел на покосившемся крыльце с ней,
Расчесал ей волосы гребенкой,
Волосы из «Песни Песней».

Девочка! И я ношу и грею
Под личиной грубой и несхожей
Сердце Божьей милостью евреев,
Милости не заслуживших Божьей.
1944

1942

Паек уменьшен был на треть,
Но только начался обстрел,
Я весь запас двухдневный съел,
Чтоб натощак не умереть.

Потом был снова путь без карт,
Без компаса, по облакам.
И таял снег. И шли сквозь март
Остатки нашего полка.

А голод пух в мозгу. Кричал
В кишках.
Тащили пушки на руках.
Был март. И снег чернел, тончал,
Сырел, как сыпь. И трупом пах.

Промерзший, черствый труп хирел
В снегу, оттаяв. И в бреду
Я у него нашел еду:
Пяток заволглых сухарей.

И, приотстав, как пес в углу,
Закрывшись рукавом, сопя,
Оглядываясь, торопясь,
Я ел.
И снова шли сквозь мглу
Остатки нашего полка.

И пушки вязли в колеях.
Был март. И снег хирел и чах,
И на оттаявших ветвях
Сырели облака.
1944

Из цикла «РАЗГОВОР С ДРУЗЬЯМИ»

I

П. П. Н.

Скажите, правда ли рассудок
Вредит поэзии сейчас,
Среди невинных незабудок
Болотной ржавчиной сочась?

И неужели это плохо,
Что мысль, как камень, тяжела,
Что камнем тем мостит эпоха
Свои поступки и дела!..

Когда германец бил по нервам
И наш мужик бежал с полей,
Прямой рассудок в сорок первом
Слепых осаживал коней,

Он отрицал судьбы нелепость,
Был едким, как ружейный дым,
Копал окоп, врывался в крепость,
И крепость падала пред ним.

III. Вдохновение

Я снова ощущаю трепет
Души, спекающейся в горле,
Стихов еще невнятный лепет,
Навязчивость слогов повторных.

Они томят меня упорством,
Забывчивостью, глухотою.
И воздухом сухим и спертым,
Передгрозóвой духотою.

Потом — неповторимый ливень
Ошеломляющих резонов.
И вдруг — возможность жить счастливым,
Дыша живительным озоном.
1944

ПЕРЕД БОЕМ

В тот тесный час перед сраженьем
Простуженные голоса
Угрюмым сходством выраженья
Страшны, как мертвые глаза.

И время не переиначишь.
И утешение одно:
Что ты узнаешь и заплачешь,
И что тебе не все равно.
1944

МУЗА

Тарахтят паровозы на потных колесах,
Под поршнями пары затискав.
В деревянном вагоне простоволосая
Муза входит в сны пехотинцев.

И когда посинеет и падает замертво
День за стрелки в пустые карьеры,
Эшелоны выстукивают гекзаметры
И в шинели укутываются Гомеры.
1944

КАТЕРИНА

1

Баян спасает от тоски,
Но не спасает от печали,
Когда поет, как казаки
Дружка убитого встречали.

Есть где-то в мире Бах и власть
Высокой музыки над сором.
Органа ледяная страсть
Колючим восстает собором.

Той музыке не до любви!
Она светла и постоянна!
О руки белые твои,
О скомороший визг баяна!

Кривляется горбатый мех,
Дробится в зеркальце лучина.
И только твой счастливый смех
Я вдруг услышал, Катерина.

2

В стихах господствует закономерность,
Как в подвижном строении светил,
Как будто с мерным замыслом Гомера
Господь свое создание сличил.

И облака российского ненастья
Теряют вид нестираных рубах,
И горький ветер зла и разногласья
Приобретает старость на губах.

И бытия растерзанная глина
За столько лет, наверное, впервой
В твоем саду, родная Катерина,
Неосторожной поросла травой...
1944

Из цикла «ДОРОГА НА ПОЛЬШУ»

I

Мы в старый дом вошли. А стужа
Алмазом режет, как стекольщик.
Мы в угол прислонили ружья.
— Хозяйка, далеко до Польши?

Покурим. Помолчим. И в хлесткий
Упорный дождь ныряет «Виллис».
Кресты пугались перекрестков.
Погосты белые молились.

Мы снова осмотрели диски
И автоматы. Украина
Нас привечала по-бандитски —
Кривым ножом и пулей в спину.

II. Мария

Рушники, расшитые цветами.
Хата мелом выбелена чисто.
Здесь живет Мария, как святая,
Хлеб печет и звякает монистом.

Здесь она. И вся, как на ладони
Ласточкой летит неосторожной,
Ручейком, источником, водою,
Зайчиком, упавшим на порожек.

Но, красноармеец, не гляди ты!
Женщине не верь, она как кошка —
К ней приходят хмурые бандиты
Вечерком протоптанной дорожкой.

Им она вчерашних щей согреет,
Все она расскажет им про наших,
И они, пока не посереет,
Будут водку пить из грубых чашек.

III. Прибытие в Ковель

О, я бы за́пил, за́пил, за́пил
В суровых зарослях дождя,
Ушел в бессрочный шорох капель,
Где мокнет поле, как нужда.

Где на обломанной макушке
Печальный аист в колесе,
Где исковерканные пушки
Лежат на ковельском шоссе.

И где кресты остановились
Воспоминаньем о страстях,
Где мимо мчит упрямый «Виллис»
На перегретых скоростях...

О, я бы за́пил, за́пил, за́пил
В суровых зарослях дождя.
Он хлещет вкось со звоном сабель,
Струю до блеска наведя.

О, злоба уцелевших кровель!
Дожди бессрочные стучат.
Сквозь заросли пришедший в Ковель,
Трезвеет медленно солдат.

IV. Рубеж

Свет фар упирается в ливень.
И куст приседает, испуган.
И белый, отточенный бивень
Таранит дорогу за Бугом.

Рубеж был почти неприметен.
Он был только словом и вздрогом.
Все те же висячие плети
Дождя. И все та же дорога.

Все та же дорога. Дощатый
Мосток через речку. Не больше.
И едут, и едут солдаты
Куда-то по Польше, по Польше.

V. Бяла Подляска

На стенках римские святые
Ведут невинный разговор.
Воздев пространства завитые,
Пылит торжественный собор.

Старух головки черепашьи,
Молящих о своих делах.
Теней, одетых по-монашьи,
Неразговорчивость в углах.

Не та ли высохшая глина,
Соборной ставшая скалой,
В вонючих лагерях Люблина
С людскою смешана золой?

Где Польша бунтов и восстаний?
За занавеской тишины
Живут старательные пани,
Торгуют грушами паны.

Нет! Нам был дом немил и проклят,
Когда на дальних рубежах
Звучал орудий первый рокот,
Победу ворогу стяжав.

А здесь, над пыльной позолотой
Едва остынувшей земли,
Приличный пан потертый злотый
Меняет срочно на рубли.
1944

ДОМ
на СЕ́ДЛЕЦКОМ ШОССЕ

Дом на Се́длецком шоссе.
Стонут голуби на крыше.
И подсолнухи цветут,
Как улыбки у Мариши.

Там, на Се́длецком шоссе,
Свищут оси спозаранок.
В воскресенье — карусель
Разодетых хуторянок.

Свищет ось — едет гость,
Конь, как облак, белоснежен.
Там Мариша ждет меня,
Ждет российского жолнежа.

Ты не жди меня, не жди —
Я давно под Прагой ранен.
Это едет твой жених —
Скуповатый хуторянин.

Скоро в доме на шоссе
Будут спать ложиться рано.
Будешь петь, дитя жалеть:
«Мое детско, спи, кохано.

Спи, кохано, сладко спи.
В небе звездочка кочует.
Где-то бродит мой жолнеж?
Где воюет? где ночует?»
1944

* * *

Вы просите стихов. Их нет.
Есть только сердца боль. И бред
Ума, привыкшего вдвойне
К любым разлукам на войне.
Неужто называть стихом
Печные трубы при глухом
Проселке, тусклые кресты
На перекрестках, мертвый танк —
Черты осенней пустоты.
Неужто называть стихом
Ночные вспышки батарей,
Останки боя, мелкий дождь
И вкус солдатских сухарей.

Пусть мир сперва научит нас
Тоске, бессоннице, беде,
Пусть совесть не смыкает глаз,
Пусть бой преследует везде,
Пускай в душе перегорит,
Пускай в мозгу переболит,
Пускай как шомпол по плечу
Сечет и колет как игла —
Я вынесу и различу,
Что жизнь по-прежнему светла.
Тогда я вновь приду к стихам,
Как мне писалось на роду.
Да будет так, чтоб не стихал
Огонь в душе и дождь в саду!
1944

ДОМ У ДОРОГИ

Когда-то здесь жили хозяева,
За этими стенами белыми,
А нынче потухли глаза его,
Закрыты фанерными бельмами.

И мы здесь стояли постоем,
Недолгие постояльцы.
И мы здесь вдыхали простое
Домашней судьбы постоянство.

В цветении яблонь пернатых,
В печных разноцветных разводах
Здесь дремлет домашних пенатов
Войной потревоженный отдых...

Мы вышли в тот вечер из боя,
С губами, от жажды опухшими.
Три дня рисковали собою,
Не спали три дня и не кушали.

Почти равнодушные к памяти,
Не смыв с себя крови и пороха,
С порога мы падали замертво
И спали без стона и шороха.

Так спят на оттаявшей пахоте,
Уткнувшись пробитыми лбами.
Так спят утонувшие в заводи
Слепцы с травяными чубами...

Мы спим под разметанной крышею,
Любимцы фортуны и чести,

От дома надолго отвыкшие,
Привыкшие к смерти и мести.
1945

* * *

Мы зябли, но не прозябали,
Когда, съедая дни и сны,
Вокзалы лязгали зубами
В потемках, как цепные псы.

Холодный шорох снегопада.
И привокзальные костры.
А в отдаленье канонада
Катает гулкие шары.
1945

* * *

Берлин в просветах стен без стекол
Опять преследует меня
Оскалом сползшего на цоколь,
Как труп, зеленого коня.

Продуты смертным сквозняком
Кривые пальцы мертвых сучьев.
Над чем смеешься, страшный конь,
По уши тучи нахлобучив!..
1945

В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Вот когда припомнились друзья!
Вот когда пошли терзать разлуки!
Вспомнили про души — ведь нельзя,
Чтоб всегда натянуты, как луки.

И куда помчится мой двойник
Через все пределы ожиданья?
С кем он в шесть часов после войны
Побежит на первое свиданье?

Он устал... Иных давно уж нет...
Камни у разбитого Рейхстага...
В тишину, как лекарь в лазарет,
Ночь идет, не замедляя шага.

Кислой медью крыши зеленя,
Ночь идет в просветы стен без стекол.
Медный труп зеленого коня
Скалится, поваленный на цоколь.

Здесь в тиши накрыт наш скромный стол.
Шесть часов... Мы празднуем победу.
Но никто на праздник не пришел.
Те, кого позвал бы я к обеду,

Где они, поэты и друзья!
Кто убит, а кто пропал без вести.
А который, может быть, как я
Пьет коньяк в проклятом Бухаресте.

Трудно в тишине дышать и жить...
И сосед сказал, вздохнув глубоко:
— Может, этот праздник отложить —
Здесь ведь до Парижа недалеко...
1945

* * *

Так рубят лозу на скаку,
Так гнется струя голубая,
Так прежнюю нашу тоску
Событья навек обрубают.

Не стоит на сытость менять
Бездомье и чистую совесть.
Нам хватит о чем вспоминать,
Но этим не кончилась повесть.

Пять дней тарахтел эшелон,
Деревни в потемках чернели,
И били погосты челом
Бесчисленным серым шинелям.

Курили зловредный табак,
Уже помирать приготовясь.
Так было. И помнится так.
Но этим не кончилась повесть.

На годы покой потерять
В горячем, всемирном потопе.
Солдаты судьбу матерят
В простреленном мокром окопе.

И пуля собьет на бегу.
Атака — и это не новость!
Застывшие трупы в снегу.
И этим не кончилась повесть.

В начале такого-то дня
Очнуться в дыму окаянном,
Услышав, что в море огня
Сдается Берлин россиянам.

И скинуть гранаты с ремня,
От сердца отринуть суровость.
Ты дожил до судного дня.
И этим не кончилась повесть.
1945

Я надеюсь и жду...

1946—1954

* * *

Зачем кичимся мы и спорим,
Коснеем в давних недоверьях —
Одним мы выброшены морем
На тот же самый звонкий берег.

Мы оттого росли с пристрастьем,
Что, став препоной темной силе,
Была не именем пространства,
А имя времени — Россия.

Так поступайте, как хотите,
Чтоб только песни не стихали!
Для всех достаточно событий,
Пытающихся стать стихами.

И пусть попытка будет пыткой —
Любая мука будет легче,
Чем жизнь с оглядкой и со скидкой
В уютном логове залегши.

Ты прав, товарищ, не до спора,
Когда в цене любое слово.
Быть может, скоро, очень скоро
Горнисты заиграют снова.

Быть может, снова полустанки
Пойдут раскачивать закаты,
И поползут на приступ танки,
Как неизбежность, угловаты.

На то даны глаза поэту,
Чтоб разглядеть в кромешном быте,
Как даты лезут на планету
С солдатским топотом событий.
1946

* * *

Я верю в нас. И это свято.
Мне этот стяг незаменим.
Мне все равно, какую дату
Подарят нам для именин.

Весной вздуваются овраги,
Бурлят и корчатся снега.
В исписанном листе бумаги
Ты видишь первого врага.

Ты шаришь ошалевшим взором,
Кладешь пространство на ладонь.
Пруды сливаются в озера,
Висят скворешни над водой,

Висят деревья вверх ногами,
Кричат в деревне петухи.
Родится истина нагая
И начинаются стихи.

Вот так же мы. И это свято.
Измучив рифмами мечты,
С войны пришедшие солдаты,
Прорвем плотины немоты.
1946

БАБЕЛЬСБЕРГ

1945

Мне снился сон, тифозный и огромный,
Как долгий дождь, подробно, не спеша,
Как будто в целом мире от разгрома
Не уцелела ни одна душа.

И только пятна трупов вдоль обочин,
И только — крупы вымерших коней,
И только — роща голая и очень
Просторный сумрак плещется по ней.

Прошли войска по Западной Европе.
Пролязгали железные стада.
И медленно, как в сказке о потопе,
Обратно в русла схлынула вода.

И просыхают прусские долины.
И тишина объемлет шар земной.
Но где он, голубь с веткою маслины,
Не жди его, новорожденный Ной!

Так холодно в Германии и пусто.
По рощам осень ходит не спеша.
Дома оглохли. И такое чувство,
Что нет души. Что вымерла душа.

А в кабаке оркестр играет танцы.
Цветные юбки кружатся в пыли.
И пьют коньяк в домах американцы,
И русские шагают патрули.

Скрежещут ставни, старые, косые,
Тревожное идет небытие...

Как хорошо, что где-то есть Россия,
Моя мечта, прибежище мое!
1946

СЕМЕН АНДРЕИЧ

С. А. Косову

Помню! Синявинские высоты
Брали курсанты три раза подряд.
Еле уволокли пулеметы.
А три батальона — там и лежат.

Помню! Расстреливали перед строем
Солдатика девятнадцати лет
За то, что парнишка не был героем.
Бежал. А этого делать не след.

Помню! Мальчик простерт на талом
Снегу с простреленным животом.
Помню еще — о большом и малом,
Об очень сложном и очень простом.

И все же были такие минуты,
Когда, головой упав на мешок,
Думал, что именно так почему-то
Жить особенно хорошо.

И ясно мне все без лишних вопросов,
И правильно все и просто вокруг.
А рядом — Семен Андреевич Косов,
Алтайский пахарь, до смерти друг.

Да, он был мне друг, неподкупный и кровный,
И мне доверяла дружба святая
Письма писать Пелагее Петровне.
Он их отсылал не читая.

— Да что там читать, — говорил Семен,
Сворачивая самокрутку на ужин, —
Сам ты грамотен да умен,
Пропишешь как надо — живем, не тужим.

Семен Андреич! Алтайский пахарь!
С тобой мы полгода друг друга грели.
Семь раз в атаку ходил без страха.
И пули тебя, как святого, жалели.

Мы знали до пятнышка друг о друге,
И ты рассказывал, как о любви,
Что кони, тонкие, словно руки,
Скачут среди степной травы.

И кабы раньше про то узнать бы,
Что жизнь текла, как по лугу, ровно,
Какие бывали крестины и свадьбы,
Как в девках жила Пелагея Петровна.

Зори — красными петухами.
Ветер в болоте осоку режет.
А я молчал, что брежу стихами.
Ты б не поверил, подумал — брешет.

Ты думал, что книги пишут не люди,
Ты думал, что песни живут, как кони,
Что так оно было, так и будет,
Как в детстве думал про звон колокольный...

Семен Андреич! Алтайский пахарь!
Счастлив ли ты? Здоровый? Живой ли?
Помнишь, как ты разорвал рубаху
И руку мне перетянул до боли!

Помнишь? Была побита пехота,
И мы были двое у пулемета.

И ты сказал, по-обычному просто,
Ленту новую заложив:
— Ступай. Ты ранен. (Вот нынче мороз-то!)
А я останусь, покуда жив.

Мой друг Семен, неподкупный и кровный!
Век не забуду наше прощанье.
Я напишу Пелагее Петровне,
Выполню клятвенное обещанье.

Девушки в золотистых косах
Споют, придя с весенней работы,
Про то, как Семен Андреич Косов
Один остался у пулемета.

И песни будут ходить, как кони,
По пышным травам, по майскому лугу.
И рощи, белые, как колокольни,
Листвою раззвонят на всю округу.

И полетят от рощи к роще,
От ветки к ветке по белу свету.
Писать те песни — простого проще
И хитрости в этом особой нету.
1946

БАНДИТКА

Я вел расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.

Потом сказала: «Слушай, хлопец,
Я все равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.

На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.

Кипит зеленая горилка
В беленых хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.

Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!

Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Еще не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!

Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю...

Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам все равно на Украине,
НКВД или гестапо».

И я сказал: «Пошли, гадюка,
Получишь то, что заслужила.
Не ты ль вчера ножом без звука
Дружка навеки уложила.

Таких, как ты, полно по свету,
Таких, как он, на свете мало.
Так помирать тебе в кювете,
Не ожидая трибунала».

Мы шли. А поле было дико.
В дубраве птица голосила.
Я вел расстреливать бандитку,
Она пощады не просила.
1944—1946

ПАВЛУ КОГАНУ

Кахетинским славным, старым
Наши споры начаты
За Рождественским бульваром
С наступленьем темноты.

Павка Коган! Выпьем, Павка,
Нашу молодость любя!
Офицерская заправка
Почему-то у тебя.

Ты не будешь знать про старость.
Ты на сборище любом —
Угловатый, белый парус
В нашем море голубом.

Помнишь, Павка, тамадою
Вечер в звездных угольках,
Весь как политый водою,
Весь в сирени, как в стихах.

Черный вечер, весь в сирени,
Весь сверкающий от глаз —
Он входил в стихотворенье,
Как вино входило в нас.

Головой качаешь, Павка,
Ты не помнишь эти дни...
Офицерская заправка,
Пехотинские ремни.

Руки брошены, как плети,
Брови сведены в одну...
Погубило лихолетье
Нашу первую весну!

Но весною после Финской,
В ожиданье новых дат
Мы бокалы с кахетинским
Поднимали за солдат.

Выпей, Павка! С разговором,
Как когда-то, как живой.
Ты не вейся, черный ворон
Над моею головой.

Наша молодость осталась!
И на сборище любом
Ты — упрямый белый парус
В нашем море голубом.
1946

* * *

Ты не торопи меня, не трогай.
Пусть перегорит, переболит.
Я пойду своей простой дорогой
Только так, как сердце повелит.

Только так. До той предельной грани,
Где безверьем не томит молва,
Где перегорают расстоянья
И ложатся пеплом на слова.

Горький пепел! Он стихами правит,
Зная, что придет его черед,
Даже если женщина оставит,
Друг осудит, слава обойдет.
1946

* * *

Извечно покорны слепому труду,
Небесные звезды несутся в кругу.

Беззвучно вращаясь на тонких осях,
Плывут по вселенной, как рыбий косяк.

В раздумье стоит на земле человек,
И звезды на щеки ложатся, как снег.

И в тесном его человечьем мозгу
Такие же звезды мятутся в кругу.

В нас мир отражен, как в воде и стекле,
То щеки уколет, подобно игле,

То шоркнет по коже, как мерзлый рукав,
То скользкою рыбкой трепещет в руках.

Но разум людской — не вода и стекло,
В нем наше дыханье и наше тепло.

К нам в ноги летит, как птенец из гнезда,
Продрогшая маленькая звезда.

Берем ее в руки. Над нею стоим,
И греем, и греем дыханьем своим.
1946

СИБИРЬ

Сибирь! О, как меня к тебе влечет,
К твоим мехам, к твоим камням.
Там бешеная Ангара течет
С губами в пене, как шаман.

Сибирь! Перемолоть ногами тракт,
Перевалить Урал.
И вдруг — Байкал лежит в семи ветрах,
У океана синеву украл.

Сибирь! — тысячелетняя тайга.
Я с детских лет, как сказку, полюбил
Иртыш, Тобол, кержацкие снега,
Киргизские глаза твои, Сибирь.

Когда во глубине сибирских руд
Кирки бросали, точно якоря,
И верили, и знали — не умрут
И, наконец, взойдет она, заря.

Когда в охотничий трубила рог пурга
И старатели пили, ругая пургу,
В татарские скулы упиралась рука
И глаза грозили тебе, Петербург.

И вот я заболел тобой,
Тобой, Сибирь! Не мамонтовый клык,
Не золото связало нас судьбой,
А вольности осмысленный язык.

Сибирь! Ты этой вольности простор,
Простор не в бубенцах, а в кандалах.
Лежит Алтай, как каменный топор.
Прими его, помыслив о делах!
1946

* * *

Пора бы жить нам научиться,
Не вечно горе горевать.
Еще, наверное, случится
Моим друзьям повоевать.

Опять зеленые погоны.
Опять военные посты
И деревянные вагоны.
И деревянные кресты.

Но нет! уже не повторится
Еще одно Бородино,
О чем в стихах не говорится
И нам эпохой прощено.
1946

* * *

А вдруг такая тьма наступит,
Где ни любви, ни веры — нет.
Одно в небесной черной ступе
Существование планет.

И время — длительность простая,
И страсти — выдумка моя,
И счастье — видимость пустая
Для оправданья бытия.

Все пролетает мимо, мимо.
И средь чугунной пустоты
История неумолимо
Усовершенствует кнуты.

Напрасно чистые тоскуют,
Любовью окрестив тоску.
Зачем рыдают и токуют
Тетеревами на току...

Но нет! Нельзя, нельзя, нельзя же
Навек отречься от мечты.
Нельзя в обыденном пейзаже
Искать лишь смертные черты.

Сухая плоть стихотворенья,
Пространство, ставшее строкой,
Сулит осмысленность творенья
И мягкость глины под рукой.
1946—1947

* * *

Город зимний,
Город дивный,
Снег, как с яблонь,
Лепестками.
Словно крыльев
Лебединых
Осторожное дыханье.

Дворники,
Как пчеловоды,
Смотрят снежное роенье.
И заснеженной природы
Принимают настроенье.
1947

КРЫЛЬЯ ХОЛОПА

Стоишь, плечами небо тронув,
Превыше помыслов людских,
Превыше зол, превыше тронов,
Превыше башен городских.

Раскрыты крылья слюдяные,
Стрекозьим трепетом шурша.
И ветры дуют ледяные,
А люди смотрят, чуть дыша.

Ты ощутишь в своем полете
Неодолимый вес земли,
Бессмысленную тяжесть плоти,
Себя, простертого в пыли.

И гогот злобного базара,
И горожанок робкий страх...
И Божья, и людская кара.
О человек! О пыль! О прах!

Но будет славить век железный
Твои высокие мечты,
Тебя, взлетевшего над бездной
С бессильным чувством высоты.
1947

ШАГИ КОМАНДОРОВА

Поэма

1

Простой городишко русский,
Уютный, как голубок.
Над речкой, немного грустной,
Деревьев весенний клубок.

На улице главной, мощеной —
Райком, райсовет, финотдел.
Купол, когда-то злащенный,
От времени поседел.

А на небольшом расстоянье —
Кирпичная полоса,
Железных рельсов слиянье,
Высокие корпуса.

Стеклянные соты завода.
Забор. И труба. А за ней —
Неяркие краски восхода
Пугливее, тоньше, нежней.

2

Федор Ильич Леонов
В городе этом живет
В должности почтальона
Сорок четвертый год.

В зимний, осенний, летний
Или весенний сезон
Носит письма, и сплетни,
И телеграммы он.

Ходит, судит да рядит,
Впрочем, не любит зря:
Так, интересу ради,
Собственно говоря.

Стукнет в окошко рано
И подмигнет глазком:
— Почта, Анна Иванна!
Почерк мне незнаком...

3

Простой городишко русский
Раскинулся за окном.
Анне ужасно грустно,
Думается об одном.

Как никогда, ей дорог
Облик его и вид:
Старший сержант Командоров,
Тот, что уже убит.

Пишут ей, что начальство
Помнит его труды,
Но он погиб, не дождался
Ордена Красной Звезды.

Пишут от имени роты,
Что мстят за него огнем.
И посылают фото,
Найденное при нем...

Пепельный локон мнется,
Лоб кулаками сжат.
Больше к ней не вернется
Гвардии старший сержант.

4

Весна запевает в канавах —
Ветреная весна.
От оттепелей слюнявых
Речка стала тесна.

Ветер сластит, как солод,
Пахнут березы легко,
Выставленные на холод,
Белые, как молоко.

С треском взрывает почки
Острый зеленый лист...
Тихо идет на почту
Федор Ильич, моралист.

Ветки полны, как вены,
Тополь кипит прямой...
Анна с утренней смены
Тихо идет домой.

— Что ж это вы, отшельница!
Можно ли в ваши года!
Стерпится-перемелется,
Помер, так навсегда...

(Белые, вешние бури
Властно шатают райцентр.)
— Вечером в дом-культуре
Будет большой концерт!..

(Ласточки смелый росчерк.
Воздух — подобье сна!)
Весна запевает в рощах,
Ветреная весна.

5

Маленький русский город
В лужах луну дробит.
Старший сержант Командоров
Вражьей пулей убит.

Волосы оправляя,
Светом поражена,
В клуб под раскат рояля
Входит его жена.

— Анечка! Аня! Анюта!
Анна Иванна! А... —
Господи! На минуту
Кружится голова.

Нежно глаза прищурив,
В свете хрустальных огней
Сам Спиридон Сабуров
Смело подходит к ней,

Вздергивает плечами,
Просит: «Позвольте вас...»
Оркестр играет печальный
Кавалерийский вальс.

6

Медленный, старый, уездный...
В неком армейском полку
Один капельмейстер безвестный
Так выражал тоску.

«Месяц глядит из-за тучек
В синь — в ночь.
Он был молодой подпоручик.
Она — генеральская дочь.

Сон ему нежный приснился
В синь — в ночь.
Он скромно в любви объяснился,
Она прогнала его прочь».

Кружатся медленно, плавно,
Динь-дон.
— Я вас увидел недавно, —
Ей говорит Спиридон.

7

Разные сны нам снятся,
Сердце свивают в жгут.
Сны не умеют стесняться —
Мучат, целуют, жгут...

...Снег на полях белеет,
Реки покрыты льдом...
А перед ней на коленях
Бледный стоит Спиридон.

...Страсть в глубине зеленых,
Неотвратимых глаз...
— Федор Ильич Леонов
Может увидеть нас.

Но соблазнитель суровый
Губы в усмешке кривит:
— Этот работник почтовый
Только что мной убит!..

Ах, просыпается Анна,
Дивного страха полна.
В небе светло и стеклянно,
Полная светит луна.

8

Желтых, багровых, бурых
Листьев летит листопад.
Сам Спиридон Сабуров
Влюблен с головы до пят.

Любит с тоской, навечно,
Как в восемнадцать лет.
Хочет, чтоб в тот же вечер
Был для него ответ.

Федор Ильич лениво
В старой бредет дохе.
— Что ж! Одного схоронила,
Нужен другой. Хе-хе!

— Что же вы, Спиридоша,
Прямо как женихи?
В новом пальто, в галошах...
Есть табачок? Хи-хи!..

9

Ждать. Сомневаться. Пытка.
Сердцу нехорошо.
Кто-то идет. Калитка.
Скрипнула. И вошел.

Не рассуждая. Грубо.
Медленно, по-мужски.
Губы впиваются в губы,
Бледные от тоски.

10

Мутно окно за шторой.
Холодно. Нет дождя.
Остановился скорый.
И улетел, гудя.

Холодно. Тихо. Далеко.
Отблеск созвездий потух.

Ветром пахнуло с востока.
Трижды кричит петух.

За сквозняками заборов
Вдаль пролетел мотор...
...Старший сержант Командоров
Медленно входит во двор.

Анне усталой снится
Нетерпеливый звук —
Каменная десница:
Тук. Тук. Тук.

— Кто там? — спросила, бледнея.
Руки у бедной дрожат.
Видит — стоит перед нею
Гвардии старший сержант.
1947

СЛОВО

Ты меня в ладони не уложишь,
Не упрячешь в письменном столе.
Ты меня, как пулю, спрятать можешь
В гладко отшлифованном стволе.
Чтоб в со всех сторон зажатом теле
Под угрозой острого бойка
Знать одно лишь ощущенье цели...
Только бы не дрогнула рука!
1947

ТРЕВОГА

Долго пахнут порохом слова.
А у сосен тоже есть стволы.
Пни стоят, как чистые столы,
А на них медовая смола.

Бабы бьют вальками над прудом —
Спящим снится орудийный гром.
Как фугаска, ухает подвал,
Эхом откликаясь на обвал.

К нам война вторгается в постель
Звуками, очнувшимися вдруг,
Ломотой простреленных костей,
Немотою обожженных рук.

Долго будут в памяти слова
Цвета орудийного ствола.
Долго будут сосны над травой
Окисью синеть пороховой.

И уже ничем не излечим
Пропитавший нервы непокой.
«Кто идет?» — спросонья мы кричим
И наганы шарим под щекой.
1947

В тумане

Ты мало грозен был, Иван,
Тебе бы надо быть лютей,
Учил бы разуму людей —
Не удержаться головам!

А если кровь кругом течет,
Да пот, да горькая слеза,
Свистит лоза, топор сечет —
Так это, Царь Иван, не в счет.

Вставай, Иван, седлай, скачи,
С метлой да с песьей головой,
В лесу по-волчьему завой,
В степи по-птичьему вскричи.

Не видно света в слободе,
Не скрипнут двери в темноте,
Ни разговора, ни огня...
Вставай, Иван, седлай коня!

Ты черным вороном лети
Со сворою своей вокруг!
Ты вора-ворога найди,
Найди за тридесять округ.

Ты лютым зверем стань для всех —
Хватай, как волк, юли, как лис,
А дело сделаешь — за грех
Свой человечий помолись.

Не скрипнут двери в слободе,
Темно и тихо, как в воде.
И скачет по полю Иван.
А вкруг него туман, туман...
1947

Мечта о море

Он видел лес,
Где распевают птахи
И где ночами ухают сычи.
И этот лес шумел, шумел в ночи.
И этот лес лежал до синя моря.

Он видел степь,
Где ястреб и орел
Ныряют в травы.
Холм за холм и дол за дол
Свободно уходили на просторе.
И эта степь легла до синя моря.

А моря он не видел никогда...
Ему ночами снилась синяя вода,
Над нею пена белая кипела,
И словно степь дышал ее простор.
И море пело, пело, пело,
Как по ночам поет дремучий бор.

И птицы снились не степные, не лесные —
Невиданные, новые, иные —
Не желтоглазый сыч,
Не серый беркут,
А птицы синеглазые морские,

Как гуси белокрылые, белы
И с клювами кривыми, как орлы.

Подобно морю
Простиралась степь.
Подобно морю
Волновались чащи.
И сны его тревожили
Все чаще.
Какие сны!
А им свершенья нет!

И государь державы сухопутной,
Бывало, просыпался.
Рядом с ним
Дышала женщина, как дышит море.
Но пахло духом смоляным, лесным,
И филин ухал в непроглядном боре.

А по лесным дорогам шли войска,
Шли ратники, скакали верховые,
Везли в санях припасы огневые.
И озирал просторы снеговые
Суровый воевода из возка.

О море, море — русская мечта!
Когда еще тебе дано свершиться!
И государю по ночам не спится,
А чуть прикроет грозные зеницы,
Все чудятся ему морские птицы,
И синева, и даль, и высота!
1957

Иван и холоп

Ходит Иван по ночному покою,
Бороду гладит узкой рукою.
То ль ему совесть спать не дает,
То ль его черная дума томит.
Слышно — в посаде кочет поет,
Ветер, как в бубен, в стекла гремит.

Дерзкие очи в Ивана вперя,
Ванька-холоп глядит на царя.
— Помни, холоп непокорный и вор,
Что с государем ведешь разговор!
Думаешь, сладко ходить мне в царях,
Если повсюду враги да беда:
Турок и швед сторожат на морях,
С суши — ногаи, да лях, да орда.
Мыслят сгубить православных христьян,
Русскую землю загнали бы в гроб!
Сладко ли мне? — вопрошает Иван.
— Горько тебе, — отвечает холоп.

— А опереться могу на кого?
Лисы — бояре, да волки — князья.
С младости друга имел одного.
Где он, тот друг, и иные друзья?
Сын был наследник мне Господом дан.
Ведаешь, раб, отчего он усоп?
Весело мне? — вопрошает Иван.
— Тяжко тебе, — отвечает холоп.

— Думаешь, царь-де наш гневен и слеп,
Он-де не ведает нашей нужды.
Знаю, что потом посолен твой хлеб,
Знаю, что терпишь от зла и вражды.

Пытан в застенке, клещами ты рван,
Царским клеймом опечатан твой лоб.
Худо тебе? — вопрошает Иван.
— Худо, — ему отвечает холоп.

— Ты ли меня не ругал, не честил,
Врал за вином про лихие дела!
Я бы тебя, неразумный, простил,
Если б повадка другим не была!
Косточки хрустнут на дыбе, смутьян!
Криком Малюту не вгонишь в озноб!
Страшно тебе? — вопрошает Иван.
— Страшно! — ему отвечает холоп.

— Ты милосердья, холоп, не проси.
Нет милосердных царей на Руси.
Русь — что корабль. Перед ней — океан.
Кормчий — гляди, чтоб корабль не потоп!..
Правду ль реку? — вопрошает Иван.
— Бог разберет, — отвечает холоп.
1947—1950

Томление Курбского

Над домами, низко над домами
Медным ликом выплыла луна.
Во тумане, близко во тумане
Брешут псы, сошедшие с ума.

Только совесть бродит под туманом,
Как изветник, смотрится в пробой.
Не доспорил князь с царем Иваном,
Не поладил князь с самим собой...

Пишет Курбский в лагере литовском —
И перо ломает на куски.
Сторожа по деревянным доскам
Бьют — и то, наверно, от тоски.

«Огляди меня, как саблю, на́ свет,
Выспроси бессонницу мою.
Предаю тебя, проклятый аспид,
Но с тобою Русь не предаю.

Не иду к льстецам твоим в науку,
Не плутаю с хитростью лисы.
Награжден за муку, за разлуку,
Говорю прямыми словесы.

Оглядись! Среди непрочных топей
Ты столбы трухлявые забил.
Воспитал вокруг себя холопей,
А высоких духом погубил.

Отворил ли правду властью царской?
Водворил ли счастье и покой?
Времена жестокости татарской
Воцарились под твоей рукой!

Годы — суть для вечности минуты,
Перейти их мыслями сумей.
Гневом Божьим не родятся ль смуты,
Царь Иван, за гибелью твоей?..»

Оплывая, свечи плачут воском,
Под глазами тени-медяки.
Пишет Курбский в лагере литовском
И перо ломает на куски.

За домами, низко за домами,
Засветилась алая черта.
Во тумане, близко во тумане,
В час рассвета кличут кочета.
1947

Смерть Ивана

Помирает царь, православный царь!
Колокол стозвонный раскачал звонарь.
От басовой меди облака гудут.
Собрались бояре, царской смерти ждут.
Слушают бояре колокольный гром:
Кто-то будет нынче на Руси царем?
А на колокольне, уставленной в зарю,
Весело, весело молодому звонарю.
Гулкая медь,
Звонкая медь,
Как он захочет, так и будет греметь!

«Где же то, Иване, жены твои?» —
«В монастырь отправлены,
Зельями отравлены...» —
«Где же то, Иване, слуги твои?» —
«Пытками загублены,
Головы отрублены...» —
«Где же то, Иване, дети твои?» —
«Вот он старший — чернец,
Вот он младший — птенец.
Ни тому, ни другому
Не по чину венец...» —
«Где же, царь-государь, держава твоя?» —
«Вот она, Господи, держава моя...»

А на колокольне, уставленной в зарю,
Весело, весело молодому звонарю.
Он по сизой заре
Распугал сизарей.
А может, и вовсе не надо царей?
Может, так проживем,
Безо всяких царей,
Что хочешь — твори,
Что хошь — говори,
Сами себе цари,
Сами государи.

Лежит Иван, в головах свеча.
Лежит Иван, не молитву шепча.
Кажется Ивану, что он криком кричит,
Кажется боярам, что он молча лежит,
Молча лежит, губами ворожит.
Думают бояре: хоть бы встал он сейчас,
Хоть потешил себя, попугал бы он нас!

А на колокольне, уставленной в зарю,
Весело, весело молодому звонарю.
Раскачалась звонница —
Донн-донн!
Собирайся, вольница,
На Дон, на Дон!

Буйная головушка,
Хмелю не проси!..
Грозный царь преставился на Руси.
Господи, душу его спаси...
1950—1952

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

1

Много слов о тебе говорилось.
Я хочу, чтобы ты повторилась!

Но не так, как лицо повторяется
В зеркале бездушном,
Но не так, как облако покоряется
Вóдам душным.

Но не так, как эхо отворяется
В пустотах лестниц —
Только так, как сердце повторяется
В просторах песни.

Как жила ты, того не ведаю —
Мы родились врагами.
Но была ли ты легкой победою
Над словами, слогами?

Или без отдохновенья
Над черновиками
Мучило тебя вдохновенье
Каменными руками?

Мы к тебе не ходили друзьями
И в друзья не просились.
В какой парижской яме
Бредила ты о России?

Пограничные полосы,
Иноземные грады. —
Мы различные полюсы,
Между нами — разряды.

Ты — царица невольная,
Не вкусившая власти.
Между нами, как молнии,
Накипевшие страсти.

Ты — беглянка болезная,
Заплутавшая в чаще.
Между нами — поэзия,
Этот ливень кипящий.

2

Марина, Марина,
Много мы ошибались:
Сухие долины
Райским долом казались.

Трудно нам живется,
Трудно плывется
По глухому морю,
По людскому горю.

Но щедрей и угрюмей
Наши вольные страсти —
Ты — как золото в трюме,
Мы — как парус и снасти.

У глубинного кабеля
Ты заляжешь, тоскуя.
Нас же выкинут на́ берег,
На потребу людскую.

Может, где-то на Каме
Для веселых людей
Поплывем челноками
Под весеннею сетью дождей.

Иль, как символ братанья,
Об осенней поре
Прогорим над Бретанью
В полуночном костре.

3

Назначенье поэта —
Счастье или ярмо?
Ты, Марина, — комета
В полете ее непрямом.

Ты еще возвратишься
Из далеких гостей,
Когда в мире затихшем
Будут мерять по силе страстей.

Ты еще повторишься —
Не как облако в тихой воде,
А как в песнях парижских
И московских людей

Повторяются вольные,
Не признавшие власти
Накопившейся молнии
Накипевшие страсти.
1947

ОСЕНЬ СОРОК ПЕРВОГО

Октябрь бульвары дарит рублем...
Слушки в подворотнях, что немцы под Вязьмой,
И радио марши играет, как в праздник,
И осень стомачтовым кораблем

Несется навстречу беде, раскинув
Деревьев просторные паруса.
И холодно ротам. И губы стынут.
И однообразно звучат голоса.

В тот день начиналась эпоха плаката
С безжалостной правдой: убей и умри!
Философ был натуго в скатку закатан,
В котомке похрустывали сухари.
В тот день начиналась эпоха солдата
И шли пехотинцы куда-то, куда-то,
К заставам, к окраинам с самой зари.

Казалось, что Кремль воспарил над Москвой,
Как остров летучий, — в просторе, в свеченье.
И сухо вышагивали по мостовой
Отряды народного ополченья.
И кто-то сказал: «Неужели сдадим?»
И снова привиделось, как на экране, —
Полет корабельный, и город, и дым
Осеннего дня, паровозов, окраин.

И было так трудно и так хорошо
Шагать патрулям по притихшим бульварам.
И кто-то ответил, что будет недаром
Слезами и кровью наш век орошен.
И сызнова подвиг нас мучил, как жажда,
И снова из бронзы чеканил закат
Солдат, революционеров и граждан
В предверье октябрьских баррикад.
1947 или 1948

ЭЛЕГИЯ

Дни становятся все сероватей.
Ограды похожи на спинки железных кроватей.
Деревья в тумане, и крыши лоснятся.
И сны почему-то не снятся.
В кувшинах стоят восковые осенние листья,
Которые схожи то с сердцем, то с кистью
Руки. И огромное галок семейство,
Картаво ругаясь, шатается с места на место.
Обычный пейзаж! Так хотелось бы неторопливо
Писать, избегая наплыва
Обычного чувства пустого неверья
В себя, что всегда у поэтов под дверью
Смеется в кулак и настойчиво трется,
И черт его знает — откуда берется!

Обычная осень! Писать, избегая неверья
В себя. Чтоб скрипели гусиные перья
И, словно гусей белоснежных станицы,
Летели исписанные страницы...
Но в доме, в котором живу я — четырехэтажном, -
Есть множество окон. И в каждом
Виднеются лица:
Старухи и дети, жильцы и жилицы.
И смотрят они на мои занавески,
И переговариваются по-детски:
— О чем он там пишет? И чем он там дышит?
Зачем он так часто взирает на крыши,
Где мокрые трубы, и мокрые птицы,
И частых дождей торопливые спицы? —

А что, если вдруг постучат в мои двери
и скажут: — Прочтите.
Но только учтите,
Читайте не то, что давно нам известно,
А то, что не скучно и что интересно...
— А что вам известно?
— Что нивы красивы, что люди счастливы,
Любовь завершается браком,
И свет торжествует над мраком.
— Садитесь, прочту вам роман с эпилогом.
— Валяйте! — садятся в молчании строгом.
И слушают.
Он расстается с невестой.
(Соседка довольна. Отрывок прелестный.)
Невеста не ждет его. Он погибает.
И зло торжествует. (Соседка зевает.)
Сосед заявляет, что так не бывает,
Нарушены, дескать, моральные нормы
И полный разрыв содержанья и формы...
— Постойте, постойте! Но вы же просили...
— Просили! И просьба останется в силе...
Но вы же поэт! К моему удивленью,
Вы не понимаете сути явлений,
По сути — любовь завершается браком,
А свет торжествует над мраком.
Сапожник Подметкин из полуподвала,
Положим, пропойца. Но этого мало
Для литературы. И в роли героя
Должны вы его излечить от запоя
И сделать счастливым супругом Глафиры,
Лифтерши из сорок четвертой квартиры.
. . . . . .
На улице осень... И окна. И в каждом окошке
Жильцы и жилицы, старухи, и дети, и кошки.

Сапожник Подметкин играет с утра на гармошке.
Глафира выносит очистки картошки.
А может, и впрямь лучше было бы в мире,
Когда бы сапожник женился на этой Глафире?
А может быть, правда — задача поэта
Упорно доказывать это:
Что любовь завершается браком,
А свет торжествует над мраком.
1948, 1956

НА ОБИ

Барнаульская ночь высока, холодна,
И видать далеко на Оби.
И звезду на куски расшибает волна
О корму деревянной ладьи.

Мы беседу ведем, приглядевшись ко тьме,
Где болтливые волны спешат.
Красноватый фонарик горит на корме,
Где тяжелые сети лежат.

Пароходы плывут под сипенье гудка,
Просквозив огоньками кают.
Барнаульская ночь холодна, высока,
А на палубе песню поют.

Это жизнь пролетает, светясь и крича,
Лопастями плеща по Оби.
А рыбак на весло налегает с плеча
И к рассвету шумят воробьи.

Мы идем к островам, где чернеет ветла,
Чтоб соснуть, привалившись к костру.
Там под ветром береза метет, как метла,
Выметая созвездья к утру.

А рассвет розоват, а потом — серебрист,
А потом и светло на реке.
Пароходы уходят на Новосибирск
И гудят, и гудят вдалеке.
1948

* * *

Жаль мне тех, кто умирает дома,
Счастье тем, кто умирает в поле,
Припадая к ветру молодому
Головой, закинутой от боли.

Подойдет на стон к нему сестрица,
Поднесет родимому напиться.
Даст водицы, а ему не пьется,
А вода из фляжки мимо льется.

Он глядит, не говорит ни слова,
В рот ему весенний лезет стебель,
А вокруг него ни стен, ни крова,
Только облака гуляют в небе.

И родные про него не знают,
Что он в чистом поле умирает,
Что смертельна рана пулевая.
...Долго ходит почта полевая.
1949

СНЕЖНЫЙ ЛИФТ

Все сегодня легко, свежо...
Взять хотя бы вон тот снежок,
Тот, что смехом сыпучим жжет
Твой полуоткрытый рот,
Тот, что падает наискосок
На бульвар, на киоск,
На лоток,
На дома,
На забор из досок.

Он белее, чем белый конь,
Он свежее, чем молоко,
Он навален до самых стрех,
Он просеян сквозь сотню сит.
Вот уже неподвижно висит,
Это город летит вверх.

Город — вверх, мимо снежных сетей,
Город — вверх, на забаву детей.
Мимо снега
Летят фонари,
Окна,
Трубы,
Часы,
Карниз —
Прямо в медленную пургу.

Эй, держись!
Не свались
Вниз!
Там все тоже в снегу!
В снегу!

Если ты сегодня счастлив,
Я возьму тебя в снежный лифт.
1949

ГОНЧАР

Продавали на базаре яблоки, халву, урюк,
Полосаты, как халаты, запотели арбузы.
А разгневанное солнце било в медные тазы.
И впервые я услышал, что лучи имеют звук.

Как развенчанный владыка, гордо щурился верблюд
На сурового узбека из колхоза «Кзыл юлдуз».
Тот, не глядя на прохожих, молча вспарывал арбуз.
А вокруг горшков и блюд волновался разный люд.

Ах, какие это блюда — и блестят, как изразец,
И поют, как колокольчик, и звенят, как бубенец.
Их безоблачному небу взял Аллах за образец.
Это маленькое небо за десятку продают.

А какие там узоры по глазури завиты!
Красноперые пичуги в синих зарослях поют,
И прохладные озера меж цветами налиты.
Эти милые озера за десятку продают.

Он, как глина, мудр и стар, этот каменный гончар.
Он берет ломоть арбуза — красноватый хрусткий снег,
Он к прохожим безучастен, этот старый человек:
Пусть, мол, сам себя похвалит звонкий глиняный товар.

Он недаром желтой глиной перепачкан по утрам,
Веселясь своим удачам и грустя от неудач.
А болтливость не пристала настоящим мастерам.
Суетливость не пристала настоящим мастерам.
1949

* * *

Золотая моя, как же так? как же вдруг?
Я мечтаю о грубом железе.
Медный век, медный век зеленеет вокруг,
Ядовитою ржавчиной лезет.

Золотая моя, золотая моя,
Вот и ты залетела в бессонье,
Как порой в облаках залетают моря,
Проливаясь слезами без соли.

В нас соленая кровь до краев налита,
Медь от крови становится ржавой.
Ну а ты — управляй, как Иван Калита,
Золотою своею державой.
1949

ПОДМОСКОВЬЕ

Если б у меня хватило глины,
Я б слепил такие же равнины;
Если бы мне туч и солнца дали,
Я б такие же устроил дали.

Все негромко, мягко, непоспешно,
С глазомером суздальского толка —
Рассадил бы сосны и орешник
И село поставил у проселка.
Без пустых затей, без суесловья
Все бы создал так, как в Подмосковье.
Около 1949

НАЧАЛО ЗИМНИХ ДНЕЙ

Прекрасная пора — начало зимних дней,
Нет времени яснее и нежней.
Черно-зеленый лес с прожилками берез,
Еще совсем сырой, мечтающий о снеге.
А на поле — снежок и четкий след колес:
В ходу еще не сани, а телеги.
В овраге двух прудов дымящиеся пятна,
Где в белых берегах вода черным-черна.
Стою и слушаю: какая тишина,
Один лишь ворон каркнет троекратно
И, замахав неряшливым крылом,
Взлетит неторопливо над селом...
Люблю пейзаж без диких крепостей,
Без сумасшедшей крутизны Кавказа,
Где ясно все, где есть простор для глаза, —
Подобье верных чувств и сдержанных страстей.
Около 1949

АПРЕЛЬ

Словно красавица, неприбранная, заспанная,
Закинув голову, забросив косы за спину,
Глядит апрель на птичий перелет
Глазами синими, как небо и как лед.
Еще земля огромными глотками
Пьет талый снег у мельничных запруд,
Как ходоки с большими кадыками
Холодный квас перед дорогой пьют.
И вся земля — ходок перед дорогой —
Вдыхает запах далей и полей,
Прощаясь с хозяйкой-недотрогой,
Следящей за полетом журавлей.

Около 1949

ПЕРВЫЙ ГРОМ

Стоят дубы с обнаженными сучьями,
Как молотобойцы с рукавами засученными,
Ударят кувалдой по пням-наковальням,
Откликнется роща громом повальным.
Как мехи, ветрами задышат тучи,
И мехи загудят, запоют, заревут.
И каленую молнию бросит подручный
Остывать,
Как подкову готовую,
В пруд.

Начало 1950-х

МОСТ

Стройный мост из железа ажурного,
Застекленный осколками неба лазурного.

Попробуй вынь его
Из неба синего —
Станет голо и пусто.

Это и есть искусство.
Начало 1950-х

В РАЙОННОМ РЕСТОРАНЕ...

В районном ресторане
Оркестрик небольшой:
Играют только двое,
Но громко и с душой.

Один — сибирский парень,
Мрачнейший из людей.
Его гармошке вторит
На скрипке иудей.

Во всю медвежью глотку
Гармоника ревет,
А скрипочка визгливо —
Тирлим-тирлим — поет.

И музыка такая
Шибает до слезы.
Им смятые рублевки
Кидают в картузы.

Под музыку такую
Танцуют сгоряча
И хвалят гармониста,
И хвалят скрипача.

Когда последний пьяный
Уходит на покой,
Они садятся двое
За столик угловой

И выпивают молча
Во дни больших удач —
Стакан сибирский парень
И рюмочку скрипач.
1952

* * *

Рано в этом году
Теплый ветер подул.
Неужели обманет шальная пора?
Неужели опять ледяную слюду
Накрошит непогода с утра?

Рано в этом году
Теплый ветер подул.
А весна-то еще далека!
Вновь студеное солнце, как роза во льду
Будет падать за край дубняка.

Рано в этом году
Теплый ветер подул!
Что ж, парного тепла не жалей!
Неужели, поднявшись, опять упаду
В белизну подмосковных полей?

Рано в этом году
Теплый ветер подул.
Я надеюсь и жду.
Я надеюсь и жду.
Первая половина 1950-х

И где-то возле сорока...

1955—1964

* * *

Когда я умру, перестану
Любить, ненавидеть, дышать,
Хочу, чтобы много народу
Явилось меня провожать.

Пускай похоронные трубы
Рыдают о том, кто усоп.
Пусть все будет очень прилично:
Цветы, и карета, и гроб.

Поставят мой гроб на карету,
Заметят, как дом опустел.
А я даже бровью не двину,
Я всех огорчить захотел.

Мне будет до ужаса странно,
Когда зарыдают друзья.
Кого это нынче хоронят?
Неужто в гробу — это я?

Тот я, что болел скарлатиной,
И видел, как падает снег,
И папа читал мне: «Как ныне
Сбирается вещий Олег».

Тот я, что с домашней котомкой
Однажды ушел на войну.
А ты на дорогу глядела,
Припав головою к окну.

Не я ли стихи о России
Записывал в старый блокнот.
Не я ли в лихую атаку
Водил пулеметный расчет.

Не я ли в дырявой шинели
Тревожно дремал у огня.
И польские панны любили
Неужто совсем не меня!

Мне будет до ужаса странно,
Что я был счастлив и любим,
Что был совершенно не этим,
Что был совершенно другим.

Ведь я же не все еще сделал!
Ведь я перед всеми в долгу...
Тогда захочу я проснуться,
Да веки открыть не смогу...
Около 1955

НА ПОЛУСТАНКЕ

На полустанке пел калека,
Сопровождавший поезда:
«Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда».

Он петь привык корысти ради —
За хлеба кус и за пятак.
А тут он пел с тоской во взгляде,
Не для людей, а просто так.

А степь вокруг была огромной,
А человек был сир и мал.
И тосковал бедняк бездомный,
И сам себя не понимал.

И, сам себя не понимая,
Грустил он о былых годах,
И пел он, как поет немая
Степь в телеграфных проводах.
1955

СКАЗКА

Мальчик строил лодку.
И построил лодку.
И поплыл по речке
В тихую погодку.
Лодка острым носом
Воду бороздила.
Облако дорогу
Ей загородило.

Мальчик въехал в облако,
В белое, густое.
А за первым облаком —
Облако второе,
Облако пуховое,
Облако из снега.

А за третьим облаком
Начиналось небо.

Мальчик плыл не речкою,
Мальчик плыл по Млечному,
По небу проточному
В сторону восточную.

Мальчик плыл по звездам,
К месяцу тянулся.
Покатался по небу
И домой вернулся.
1955

ЧАЙНАЯ

Поэма

1

Поле. Даль бескрайная.
У дороги — чайная,
Чайная обычная,
Чистая, приличная.
Заходите погреться,
Если некуда деться!

Там буфетчица Варвара,
Рыжая, бедовая,
Чаю даст из самовара,
Пряники медовые.
И поет Варвара звонче колокольчика:
«Коля, Коля, Колечка,
Не люблю нисколечко...»

А на улице — мороз,
Словно спирт горючий.
И сугроб у окна
Крепче свежего кочна,
Белый и скрипучий.
Облепил провода
Игловатый иней.
Холода, холода —
Воздух синий.

Ну а в чайной
Двери хлопают.
У порога
Люди топают.
Рукавицей
О стол брякают,
Выпивают водки,
Крякают.
Мастера, шофера
Пьют свои законные.
Рядом, полные забот, —
Райпотреб,
Райзагот —
Ангелы районные.

И старушка робкая
Ворожит над стопкою.

Две красавицы колхозные,
Как два облака морозные.

А в углу — мужичок,
Закурил табачок —
И молчок.

2

Дым летит к небесам,
Пар течет по усам,
Входит в чайную сам —
Федор Федорыч сам.
Враз видать по глазам —
То ли зав,
То ли зам.
Ишь, какой грозный!

А за ним
И над ним
Вьется облаком дым —
Пар морозный.

Федор Федорыча все приветствуют,
Федор Федорыч всем ответствует:
Вот, мол, выпить зашел
Прохладительной...
Ничего человек —
Обходительный.

А буфетчица Варвара
Медной змейкой вьется.
И сама того не знает,
Отчего смеется.
Смех ее летит, как снег, —
В руки не дается.
И поет Варвара звонче колокольчика:
«Коля, Коля, Колечка,
Не люблю нисколечко...»

3

Заиграли утки в дудки,
Тараканы в барабаны.
Инвалиды шли —
Прямо в дверь вошли.
А один без рук,
А другой без ног,
Забрели сам-друг,
Увидав дымок.

Ванька и Петяха,
Веселы, хмельны.

На одном рубаха,
На другом штаны.

Говорят Брюки:
«Мне бы только — руки!
Взял бы в руки я гармонь,
Вот тогда меня не тронь —
Заиграл бы тогда,
Заиграл бы!»

Говорит Рубаха:
«Мне бы только полноги,
На полноги — сапоги,
Заплясал бы тогда,
Заплясал бы!»

«Подайте убогим,
Безруким-безногим,
Бывшим морякам,
Вашим землякам,

Людям Божьим,
Кто сколько может —
А кто не может,
Тому мы поможем...»

Словно рыбка в сеть,
Полетела медь —
Караси-медяки,
Гривенники-окуньки.

«Ну а ты, начальничек,
Дал бы хоть на чайничек!»
Федор Федорыч встает,
Кошелек достает,

Лезет вглубь,
Вынул — рупь.

4

Стали рядом инвалиды
Возле стойки тесной.
И запели инвалиды
На мотив известный.
А о чем они запели —
Не расскажешь, в самом деле!

Поют, как из Германии,
С оторванной рукой,
Идет солдат израненный
Тихонечко домой.

Не очень песня складная —
И голос и слова,
А очень безотрадная...
А может, и права?..

Приумолкла чайная,
Тишина застыла.
Песня та печальная
Всех разбередила:
Всяк грустит о себе,
О солдатской судьбе,
О российской беде,
О мужицкой нужде.

Федор Федорыч тоже слушает,
Не прихлебывает и не кушает.

«Распроклятая война
Слишком долгая была!

Девка год ждала,
И другой ждала,
А на третий год
К мужику ушла.
Ушла к мужику,
К нефронтовику...»
Вот о чем она поет,
Почему тревожит!
Федор Федорыч встает,
Больше он не может —
У него душа горит,
Лопнуло терпение:
«Прекратить, — говорит, —
Прекратить, — говорит, —
Пение!»

Бабка стопочку взяла,
Да и разом в горло,
Не закусывая,
Рот
Рукавом отерла.

«Это как же терпеть,
Чтобы людям не петь!
Ишь, начальники!
Ишь, охальники!»

А за ней шоферня,
В кулаки пятерня,
Говорят:
«Пусть поют!
Что ж им петь не дают!
Дайте петь ребятам!»
И еще —
Матом.

Лишь один мужичок
Закурил табачок —
И молчок!..

5

Как Варвара встала,
Сразу тихо стало.
Федор Федорычу
Медленно сказала:
«Не ходи ты сюда,
Не ищи ты стыда.
А столкнешься со мной —
Обходи стороной.
Не затем я ушла,
Что другого ждала,
А за тем я ушла,
Что твоей не была.
Так тому и быть,
Нам с тобой не жить!»

Тут ему бы помолчать,
Не искать обиды,
Тут ему бы не кричать:
«Эй вы, инвалиды!
Нынче свадьба на селе —
Парень женится.
Там потребуется
Ваше пеньице!
Раздобудьте адресок,
Загляните на часок!»

Шапку сгреб,
Дверью — хлоп!

Все тихонько сидят,
На Варвару не глядят...

6

А на улице —
Зорька зимняя.
Солнце щурится,
Тени синие.
И мороз лихой —
Из стекла литой.

Едет свадьба на трехтонке,
Едут парни и девчонки,
Сестры и браты,
Дружки и сваты.
Мимо чайной пролетели —
Завернуть не захотели...

Говорит бабка:
«Чтой-то здесь зябко».
А за ней шофера:
«Ну и нам пора».
Лишь один мужичок
Закурил табачок
Напоследок:
«Так-то вот! Эдак!»

В чайной стало пусто.
Варе стало грустно.
Лечь бы спать бы —
Не слыхать той свадьбы...

7

Где-то в дальнем отдаленье
За дворами брешут псы.
На мерцающих каменьях
Ходят звездные часы,
Все оковано кругом
Легким, звонким чугуном.
Старый сторож в теплой шубе
Спит, объятый сладким сном.

Тишина на белом свете!
А в проулке снег скрипит:
Федор Федорыч не спит.
Он идет под синей стужей
По тропинкам голубым —
Никому-то он не нужен,
И никем он не любим!

На краю села гуляют,
Свадьбу новую справляют.
Там и пляшут и поют,
А его не позовут.

И еще в одном окошке
Нынче за полночь светло.
Заморожено стекло,
Желтым воском затекло.
Варя вышивает,
Песню напевает —
Поет в одиночку
Малому сыночку:
«Поздно вечером
Делать нечего,
Нет ни месяца,
Ни огней.

Баю-баюшки,
Баю-баюшки,
Утро вечера
Мудреней...»

Заморожено стекло,
Желтым воском затекло.
В снег скатилася звезда...
Холода,
Холода.
1956

ЧЕРНЫЙ ТОПОЛЬ

Не белый цвет и черный цвет
Зимы сухой и спелой —
Тот день апрельский был одет
Одной лишь краской — серой.

Она ложилась на снега,
На березняк сторукий,
На серой морде битюга
Лежала серой скукой.

Лишь черный тополь был один —
Весенний, черный, влажный.
И черный ворон, нелюдим,
Сидел на ветке, важный.

Стекали ветки как струи,
К стволу сбегали сучья,
Как будто черные ручьи,
Рожденные под тучей.

Подобен тополь был к тому ж
И молнии застывшей,
От серых туч до серых луж
Весь город пригвоздившей.

Им оттенялась белизна
На этом сером фоне.
И вдруг, почуяв, что весна,
Тревожно ржали кони.

И было все на волоске,
И думало, и ждало,
И, словно жилка на виске,
Чуть слышно трепетало —
И талый снег, и серый цвет,
И той весны начало.
1956

С Л Е П Ы Е

Слепые в крематории
Играют каждый день.
Конец любой истории
И завершенье дел
Проходит перед ними,
Незрячими, больными.

А музыка? А музыка —
Она слепей слепых.
Иначе различала бы,
Кому направить жалобы,
Иначе бы не трогала
Случайных и любых,

Иначе бы не трогала
Тех, кто толкутся около...

Но музыка не знает
Заказанных путей.
И сердце распирает
В нем скрытый Прометей.
И воют сталактиты
В органовой пещере.

С главою непокрытой
Стоят сыны и дщери,
Без всякой аллегории
Почуяв смерти тень.
...Слепые в крематории
Играют каждый день.
1956

ПРЕЗРЕНЬЕ

Презренье к себе и презренье к тебе
За то, что так поздно явилось прозренье!
За грехопаденье — презренье судьбе,
Презренье душе за елей примиренья.
Презренье руке за пожатье врагам,
Презренье устам за оковы молчанья,
Презренье согнувшим колени ногам,
И горлу, где не прекратилось дыханье,
И шее, согбенной, как выя коня,
Ушам, постепенно лишившимся слуха, —
Презренье всему, что творило меня
Из плоти трусливой и рабского духа.
1956

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

Из драмы «Сухое пламя»

Вот поле, поле, поле.
А что растет на поле?
Одна трава, не боле,
Одна трава, не боле.

А что свистит над полем?
Свистят над полем пули —
Железные грады.

А кто идет по полю?
Военные отряды,
Военные отряды.

Идут они по полю
С граненными штыками.
Потом уткнутся в поле
Холодными щеками,
Холодными щеками.

А что потом на поле?
Одна трава, не боле,
Одна трава, не боле.
1956

НЕ СПИТСЯ

Как может быть спокоен прокурор,
Подписывая смертный приговор?
И неужели штатным палачам
Казненные не снятся по ночам?

Да, прокурор, покинув в кабинет,
К знакомым уезжает на обед.
И смену сдав другому палачу,
Палач супругу треплет по плечу.
Хороший парень! Человек не злой!
А он сегодня — голову долой!

Он человек. А человек — не волк.
Он знает долг. И он исполнил долг.
Прекрасный долг убить велел ему.
И он убил. Здесь совесть ни к чему.

И все ж не спится нынче палачу,
Бессонница. Пора сходить к врачу.

В застенке карьеристы завелись.
И склоками в застенке занялись.
Порочат честных,
Воду замутив.
А был такой хороший коллектив!
1956

ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТОЛБЫ

Телеграфные столбы.
Телеграфные столбы.

В них дана без похвальбы
Простота моей судьбы!
Им шагать и мне шагать
Через поле, через гать.

Вверх по склону. И опять
Вниз со склона.
Но не вспять.

По-солдатски ровный шаг
Через поле и овраг,
Вверх по склону — и опять
Вниз со склона. И опять
Вверх по склону — на горбы...

Телеграфные столбы.
Телеграфные столбы.
1956

ЖИЛ СТУКАЧ

Жил стукач на свете белом,
Жалкий, робкий и ничей —
Самый скромный, оробелый
Из сословья стукачей.

Не чиновный и не штатный,
Где-то, кем-то он служил.
И, влача свой крест бесплатный,
Честно голову сложил.

Это было у музея,
Где безумная толпа
Тяжкой дверью ротозея
Раздавила, как клопа.

По дознании нестрогом
Он попасть на небо мог.
И стоял он перед Богом
Голый, сизый, как пупок.

Бог похож на дед-мороза,
Но, пожалуй, чуть добрей.
Он сказал: «Утри-ка слезы,
И не стой-ка у дверей!

Ты невинен и невзрачен.
Не тревожься ни о чем.
Ты навечно предназначен
Быть на небе стукачом».

И сошел наш небожитель
На небесные луга.
Стал он ангел-доноситель,
Бога доброго слуга.
1956

ИЗ ДЕТСТВА

Я — маленький, горло в ангине.
За окнами падает снег.
И папа поет мне: «Как ныне
Сбирается вещий Олег...»

Я слушаю песню и плачу,
Рыданье в подушке душу,
И слезы постыдные прячу,
И дальше, и дальше прошу.

Осеннею мухой квартира
Дремотно жужжит за стеной.
И плачу над бренностью мира
Я, маленький, глупый, больной.
1956

ЖЕЛЕЗНАЯ СКВОРЕШНЯ

Я вырос в железной скворешне.
А был я веселый скворец.
Порою туманною, вешней
Звенела капель о торец.

Скворешня железная пела,
Когда задували ветра.
Железная ветка скрипела,
Гудела стальная кора.

В скворешне учился я пенью,
Железному веку под стать,
Звенеть ледяною капелью
И цинковым свистом свистать.

А если мне пенье иное,
Живое, уже ни к чему,
То дайте мне сердце стальное
И ключик вручите к нему.

Гоните воркующих горлиц,
Рубите глухие сады,
Пока не заржáвели в горле
От слез и туманов лады.

Железом окуйте мне руки,
В броню заключите до пят!
Не то уже странные звуки
С утра в моем горле кипят.
1956

* * *

Извилисты тихие реки,
А быстрые рвут напрямик.
Но тихие реки — навеки,
А дикие реки — на миг.

Снега на вершинах растают,
Подуют сухие ветра,
Сухие пески их впитают
И выпьет сухая жара.

Но выбери дикую реку
И высуши, выпей до дна.
Она ведь добрей к человеку,
Когда ему влага нужна.

Не мыслит о славе великой,
Не тщится оставить следы...
Так выпей из бурной и дикой —
Она не жалеет воды.
1956

* * *

Я наконец услышал море, —
Оно не покладая рук
Раскатывало у Бомбори
За влажным звуком влажный звук.

Шел тихий дождь на побережье,
И, не пугая тишины,
Пел только мужественно-нежный,
Неутомимый звук волны.

Я засыпал под этот рокот,
И мне приснился сон двойной:
То слышал я орлиный клекот,
То пенье женщины одной.

И этот клекот, это пенье
И осторожный шум дождя
Сплелись на грани сновиденья,
То приходя, то уходя...
1956

СТРАХ

Чей-то голос звучит у заплота,
Кто-то вдаль проскакал на коне,
Где-то рядом стучатся в ворота.
Не ко мне, не ко мне, не ко мне.

Я закрылся на восемь запоров,
Я замкнулся на восемь замков.
Псы мои сторожат у заборов,
Брешут с белым оскалом клыков.

Я не слышу, не вижу, не знаю,
Я живу ото всех в стороне.
Ходят люди по нашему краю.
Не ко мне, не ко мне, не ко мне.

Ходят люди, ко мне не заходят,
Просят люди, ко мне не зайдут,
Даже споры со мной не заводят,
Разговоры со мной не ведут.

Я сквозь ставни гляжу на дорогу,
Припадаю ушами к стене.
Где-то в двери стучат. Слава Богу —
Не ко мне, не ко мне, не ко мне!
1956

ИДУТ РАЗГОВОРЫ

По улице строем
Идут разговоры,
Идут разговоры,
Шагают разговоры.

А сбоку —
Подъезды,
Витрины,
Конторы
И окна, в которых
Глазеют машинистки.
Сидят деловоды,
Глядят фантазеры

На то, как шагают
Железные взводы.
Идут разговоры,
Идут разговоры.

Красиво шагают
Ногами-слогами,
Красоткам кидают
Нахальные взоры:
— Эй, милка-красотка,
Давай с разговором,
А без разговора
Не надо, не надо...

А ночью повсюду —
Глухие заборы.
Во всех подворотнях
Кошачьи раздоры,
И в щели, и в дыры,
И в лазы, и в норы
Ползут разговоры,
Ползут разговоры.

Какие-то страшные,
Сизые,
Пьяные —
Ползут разговоры,
Как воры,
Как воры.
1956

ЗРЕЛОСТЬ

Приобретают остроту,
Как набирают высоту,
Дичают, матереют,
И где-то возле сорока
Вдруг прорывается строка,
И мысль становится легка.
А слово не стареет.

И поздней славы шепоток
Немного льстив, слегка жесток,
И, словно птичий коготок,
Царапает, не раня.
Осенней солнечной строкой
Приходит зрелость и покой,
Рассудка не туманя.

И платят позднею ценой:
«Ах, у него и чуб ржаной!
Ах, он и сам совсем иной,
Чем мы предполагали!»
Спасибо тем, кто нам мешал!
И счастье тем, кто сам решал, —
Кому не помогали!
1956

ЦИРК

Отцы поднимают младенцев,
Сажают в моторный вагон,
Везут на передних сиденьях
Куда-нибудь в цирк иль в кино.

И дети солидно и важно
В трамвайное смотрят окно.

А в цирке широкие двери,
Арена, огни, галуны,
И прыгают люди, как звери,
А звери, как люди, умны.

Там слон понимает по-русски,
Дворняга поет по-людски.
И клоун без всякой закуски
Глотает чужие платки.

Обиженный кем-то коверный
Несет остроумную чушь.
И вдруг капельмейстер проворный
Оркестру командует туш.

И тут верховые наяды
Слетают с седла на песок.
И золотом блещут наряды,
И купол, как небо, высок.

А детям не кажется странным
Явление этих чудес.
Они не смеются над пьяным,
Который под купол полез.

Не могут они оторваться
От этой высокой красы.
И только отцы веселятся
В серьезные эти часы.
1956

ЧУЖИЕ ДУШИ

Я научился видеть лица
Насквозь — до самого затылка.
Что ни лицо — то небылица,
Что не улыбка — то ухмылка.

И плоть становится стеклянной...
И вот на души я глазею
И прохожу с улыбкой странной
По медицинскому музею,

Где в голубом денатурате,
Слегка похожие на уши,
С наклейкою на препарате,
Качаются чужие души.

Они уродливо-невинны,
У них младенческие лица,
Они еще от пуповины
Не постарались отделиться,

Они слепые, как котята,
Их назначенье так убого!
И в синеве денатурата
Они качаются немного.

О Боже, Боже! Что ты создал,
Помимо неба, моря, суши!
Рождаются слепые души
И падают слепые звезды...
1957

ДУЕТ ВЕТЕР

Дует ветер однолучный
Из дали, дали степной,
Ветер сильный, однозвучный,
Постоянный, затяжной.

Этот ветер обдувает
Город с ног до головы.
Этот ветер навевает
Пыль земли и пыль травы.

И вокруг легко и гулко
Подпевают целый день
Все кларнеты переулков,
Все органы площадей.

Как оркестры духовые,
Трубы города гудят,
Даже окна слуховые
Словно дудочки дудят.

Окна с петель рвутся в гуде,
Двери бьют о косяки.
И бегут навстречу люди,
Распахнув воротники.
1957

* * *

Пусть недостаток и убыток,
Пусть голодуха и война —
На это нам не будет скидок,
За все с нас спросится сполна.

Гляди, чтоб мысли не мельчали,
Чтобы не быть в ответе нам
За то, что многое прощали
Себе, соратникам, врагам.
1957

П О Э Т Ы

Слабы, суетны, подслеповаты,
Пьяноваты, привычны к вранью,
Глуповаты, ничем не богаты,
Не прославлены в нашем краю.
Но, поэзии дальней предтечи,
Мы плетем свои смутные речи,
Погрузив на непрочные плечи
Непосильную ношу свою.
1956— 1957

* * *

Как поумнел я с той поры,
Когда читал тебе стихи
Про всяческие пустяки,
Про плотников и топоры.

Я был тогда совсем иным —
Смешным. Я был тогда нежней,
Я был тогда себе нужней,
А нынче стал нужней другим.

Уже рассудок каждый день
Напоминает мне: пиши!
Уже следить бывает лень
За чистотой своей души.

Уже завидую слегка
Тупым успехам пошляка.

И все ж, одолевая ложь,
Порой испытывая страх,
Порою подавляя дрожь,
Порою отрясая прах —

Живу, и верую, и жду...
И смолкну только в том году,
Когда окончатся слова
И помертвеет голова.
1957

* * *

Какой нам странный март подарен!
Он был и нежен, и суров,
И простодушен, и коварен —
И полон снега и ветров.

Был март несбывшихся желаний,
Ненужных, застарелых пут,
И затянувшихся прощаний,
Которым срока — пять минут.

Морозный март в снегу по пояс,
Он жил беспечно, как дитя,
О будущем не беспокоясь
И о прошедшем не грустя.
1957

СТАРАЯ ПЕСНЯ

Открываются новые страны.
Забываются старые раны.
Честолюбец идет по столице,
Сунув руки в пустые карманы.

А мы не жалуемся
И не хвалимся.
Как поужинаем,
Спать завалимся.

Произносятся грозные речи.
Назначаются важные встречи.
Честолюбец сидит в кабинете,
Расправляя сутулые плечи.

А мы не жалуемся
И не хвалимся.
Как поужинаем,
Спать завалимся.

Расплетаются сети коварства.
Достают телескопы до Марса.
Честолюбца с высокой наградой
Поздравляет глава государства.

А мы не жалуемся
И не хвалимся.
Как поужинаем,
Спать завалимся.

Древний разум царя Соломона
Попадает под власть электрона.
Над могильной плитой честолюбца
Караул преклоняет знамена.

А мы не жалуемся
И не хвалимся.
Как поужинаем,
Спать завалимся.
На дворе темно.
Завтра дел полно.

1957

* * *

И так бывает — в день дождливый,
Когда все серо и темно,
Просветом синевы счастливой
Средь туч откроется окно.

И мгла расходится кругами
От восходящих сквозняков,
Над низовыми облаками —
Паренье верхних облаков.

Но вот уже через мгновенье
Сомкнулся дождевой навес,
И скрылось легкое строенье
Тысячеярусных небес.
1957

З О Л У Ш К А

Веселым зимним солнышком
Дорога залита.
Весь день хлопочет Золушка,
Делами занята.

Хлопочет дочь приемная
У мачехи в дому.
Приемная-бездомная,
Нужна ль она кому?

Белье стирает Золушка,
Детей качает Золушка,
И напевает Золушка —
Серебряное горлышко.

В окне — дорога зимняя,
Рябина, снегири.
За серыми осинами
Бледнеет свет зари.

А глянешь в заоконные
Просторы без конца —
Ни пешего, ни конного,
Ни друга, ни гонца.

Посуду моет Золушка,
В окошко смотрит Золушка,
И напевает Золушка:
«Ох, горе мое, горюшко!»

Все сестры замуж выданы
За ближних королей.
С невзгодами, с обидами
Все к ней они да к ней.

Блестит в руке иголочка.
Стоит в окне зима.
Стареющая Золушка
Шьет туфельку сама...
1957

* * *

О, много ли надо земли
Для дома, для поля, для луга,
Чтоб травами пела округа
И море шумело вдали?

О, много ли надо земли,
Чтоб очи продрать на рассвете
И видеть, как шумные дети
Пускают в ручьях корабли;

Чтоб в зарослях возле села
Черемуха жарко дышала
И ветвь поцелуям мешала —
И все ж помешать не могла?

О, много ли надо земли
Для тропки, проселка, дороги,
Чтоб добрые псы без тревоги
Дремали в нагретой пыли?

О, много ли надо земли
Для истины, веры и права,
Чтоб засека или застава
Людей разделять не могли?
1957

НОЧЛЕГ

Однажды летним вечерком
Я со знакомым стариком
В избе беседовал за водкой.
Его жена с улыбкой кроткой
Нам щей вчерашних подала,
А после кружево плела.

Старухи грубая рука
Была над кружевом легка.
Она рукою узловатой
Плела узор замысловатый.

Старик был стар — или умен,
Он поговорки всех времен
Вплетал умело в дым махорки.
Или, наоборот, ему
Все время чудились в дыму
Пословицы и поговорки...

Его прекрасное смиренье
Похоже было на презренье
К тому, что мучило меня.
Он отвергал легко и грубо
Фантазии народолюба,
Не возмущаясь, не кляня.

Старуха кружево плела.
И понял я, что мало стою,
Поскольку счастье ремесла
Не совместимо с суетою.

Потом стелила нам постель.
Кричал в тумане коростель.
И слышал я на сеновале,
Как соловьи забушевали!
Забушевали соловьи!

Забушевали соловьи!
Что за лады, что за рулады!
Как будто нет у них беды,
Как будто нет у них досады...
Забушевали соловьи...

Я спал, покуда птицы пели,
Воображенье распалив.
Потом рассвет струился в щели,
А я был молод и счастлив...
1957

* * *

Чужая мне принадлежала.
И голова ее лежала
У губ моих, у глаз моих.
И что все это означало,
Я постигал и не постиг.

Она доверчиво дремала,
Счастливая из нас двоих.
А где-то музыка играла,
Шел дождь, светало, рассветало.
И что все это означало,
Я постигал и не постиг.
1957

ГРУСТЬ

Мне больше ничего не надо!
Грусть жизни овладела мной.
Я озирал тропинки сада
За дождевою пеленой.

И думал я о том, как слабы
Рождающиеся на свет.
И как поют спросонья бабы,
Качая маленьких чуть свет.

Как грустен первый шаг младенца
И первый выход за порог.
Как он за смутной гранью детства
По-юношески одинок.

Как грустно отреченье друга,
Когда-то бывшего с тобой,
А после сбившегося с круга
И ублаженного судьбой.

Как грустны признаки старенья,
Замеченные у отца...
Как грустен каждый шаг творенья.
И этой грусти нет конца!

Я пел, я плакал, я томился,
То угасал, то пламенел.
Я б даже Богу помолился,
Когда бы веровать умел.

Я был при чем-то изначальном,
И, кровно спаянный с людьми,
Томился счастьем и печалью
Рожденья, смерти и любви.
1957

РОМАНС

«Прости-прощай»! — мелодию такую
Я где-то слышал мельком, невзначай.
И с той поры, как только затоскую,
Мне слышится везде: «Прости-прощай»!

И ветровым своим многоголосьем,
Терзая душу и сводя с ума,
«Прости-прощай», — мне напевает осень,
«Прости-прощай», — напутствует зима.

И я твержу до умопомраченья,
Бредя один по комнате пустой,
Ту песню о прощанье и прощенье —
Ее мотив и жгучий и простой.
1957 или 1958

* * *

Проводила в путь последний.
Дверь захлопнула в передней.

Он идет по переулку
С папироской на губе.
Первый дождь полощет гулко
Горло в цинковой трубе,
Он шагает, он вдыхает
Тополиную пыльцу.
Слезы быстро высыхают —
Дождь струится по лицу.
И навстречу новым бредням
Он шагает сам не свой.

Дверь захлопнулась в передней,
Вроде крышки гробовой.
1957 или 1958

* * *

Когда любовь развеялась, истлела,
Осталась только тяга к теплоте.
И доброе, доверчивое тело
Я обнимал в бездушной темноте.

И не было ни страсти, ни распутства,
Ни таинства, ни пропастей без дна.
И только лишь особенное чувство
Добра, тепла, покоя, полусна.

И мы лежим на самом дне забвенья,
Куда не достигает свет и звук.
И горько-сладкий плод грехопаденья
У нас лениво падает из рук.
1958

* * *

Луч солнца вдруг мелькнет, как спица,
Над снежной пряжею зимы...
И почему-то вдруг приснится,
Что лучше мы, моложе мы,

Как в дни войны, когда, бывало,
Я выбегал из блиндажа
И вьюга плечи обнимала,
Так простодушна, так свежа;

И даже выстрел был прозрачен
И в чаще с отзвуками гас.
И смертный час не обозначен,
И гибель дальше, чем сейчас...
Между 1957 и 1959

БЕЛЫЕ СТИХИ

(Рембо в Париже)

Рано утром приходят в скверы
Одинокие злые старухи,
И сердитые пенсионеры
На скамейках читают газеты.
Здесь тепло, розовато, влажно,
Город заспан, как детские щеки.
На кирпично-красных площадках
Бьют пожарные струи фонтанов,
И подстриженные газоны
Размалеваны тенью и солнцем.

В это утро по главной дорожке
Шел веселый и рыжий парень
В желтовато-зеленой ковбойке.
А за парнем шагала лошадь.
Эта лошадь была прекрасна,
Как бывает прекрасна лошадь —
Лошадь розовая и голубая,
Как дессу незамужней дамы,
Шея — словно рука балерины,
Уши — словно чуткие листья,
Ноздри — словно из серой замши,
И глаза азиатской рабыни.

Парень шел и у всех газировщиц
Покупал воду с сиропом,
А его белоснежная лошадь
Наблюдала, как на стакане
Оседают озон с сиропом.
Но, наверно, ей надоело
Наблюдать за веселым парнем,

И она отошла к газону
И, ступив копытом на клумбу,
Стала кушать цветы и листья,
Выбирая, какие получше.
— Кыш! — воскликнули пенсионеры.
— Брысь! — вскричали злые старухи. —
Что такое — шляется лошадь,
Нарушая общий порядок! —
Лошадь им ничего не сказала,
Поглядела долго и грустно
И последовала за парнем.

Вот и все — ничего не случилось,
Просто шел по улице парень,
Пил повсюду воду с сиропом,
А за парнем шагала лошадь...

Это странное стихотворенье
Посвящается нам с тобою.
Мы с тобой в чудеса не верим,
Оттого их у нас не бывает...
Между 1957 и 1959

ПОЛУФАБРИКАТЫ

Продажа полуфабрикатов —
Полусупов, полусалатов,
Полуцыплят, полукотлет.
За пять минут готов обед.

Удобство. Малые расходы.
Освобожденье женских рук.
Белки, жиры и углеводы
Согласно правилам наук.

Иду. И веку не перечу.
Иду и толпы мне навстречу —
Полубогов, полулюдей,
Полумужчин, полудетей,
Полумерзавцев, полушлюх,
Полудевиц, полустарух, —
В полупальто, в полусапожках,
И, зябко запахнув полу,
С полуулыбкою сторожкой
Они уходят в полумглу.

Удобство! Малые расходы!
На башне полунощный звон.
Дома плывут, как пароходы,
Из полуяви в полусон.
Иду в полночной тишине
И дико мечутся во мне
Полуидеи, полустрасти,
Полунадежда, полусчастье,
Полувражда, полупечаль,
Полулюбовь, полуудача.

Иду, в карманы руки пряча,
И пахнет рыбою февраль...
1958—1959

АТЛАНТ

Не нужен гений и талант,
Что сам собою горд,
А нужен труженик Атлант,
Что мир воздвиг на горб.

Стоит он, выпятив губу,
По-бычьи пяля взор.
И чует на своем горбу
Косые грани гор.

Земля круглее казана,
А в ней огонь и лед.
И океанская волна
Ему за ворот бьет.

А он стоит, багроволиц,
Спина — под стать коню.
И вдруг как гаркнет:
— Люди, цыц!
Неровно — уроню!
1959

СТАРИК

Старик с мороза вносит в дом
Охапку дров продрогших.
В сенях, о кадку звякнув льдом,
Возьмет железный ковшик;

Водой наполнит чугунок,
Подбросит в печь полешки.
И станет щелкать огонек
Каленые орешки.

Потом старик найдет очки,
Подсядет ближе к свету,
Возьмет, как любят старики,
Вчерашнюю газету.

И станет медленно читать
И разбираться в смысле,
И все событья сочетать
В особенные мысли.
Около 1959

ГИТАРЫ

Базарный день.
Базарный гам.
И солнце бьет, как колотушка,
По утюгам,
По битюгам,
По медно-солнечным тазам;
Визжит свинья,
Свистит свистушка;
Лежит громоздкая ботва,
Как детский рот, свежа редиска,
Окорока как жернова,
И сколько шума, гама, писка!
Гогочет гусь,
Бубнит бидон,
Тележный скрип,
Горшечный звон,
И гул, и брань, и разговор,
И смех, и струнный перебор.

Приехал парень на базар.
А перед парнем — сто гитар,
Гитар, разделанных в желток.
И он по деке — тук и ток,
Потом по струнам — треньк и бряк,
Чтоб не был брак,
Чтоб был товар!
Он перетрогал сто гитар

И, наконец, нашел одну
И сразу понял: вот она,
Как только ущипнул струну.
Ему народ кричит: «А ну,
Сыграл бы ты, милок, для нас!»
А парень, рыж и желтоглаз,
Спокойно говорит: «Сейчас!»

Он взял за горлышко гитару,
Смахнул аккорд — один, другой.
На зависть целому базару
Струна запела за струной,
Тугая сталь залепетала.
И он прошелся для начала
По всем звучащим, всем семи,
Как бы кичась перед людьми.
И крынки загудели в тон,
Свистушки засвистели в такт.
Потом слегка запел бидон
И где-то отозвался конь.

Потом запел кузнечный мех,
Пила, за ней — сковорода.
В такт зазвучали шум, и смех,
И брань, и вся белиберда.
И все ряды, и весь базар —
Все сто рядов, все сто гитар.
Молочницы кричали в такт,
Лоточницы бранились в такт.
И все гитары в унисон
Играли вальс «Осенний сон».

Но скоро песня прервалась,
И говорили, расходясь:
«Ишь, Рыжий! Хорошо играл!
Не зря гитару выбирал!»
1956—1959

НАТАША

Неужто девушке Наташе
Несладко жить в родной стране?
Чего ей мало? Хлеба? Каши?
Да нет, достаточно вполне.

Ей сладок хлеб, и сон ей сладок,
И дом ей мил, и сад ей мил.
Мила ей стопочка тетрадок
И столик с пятнами чернил.

Милы искусственные розы
И свист запечного сверчка.
А после первого мороза
Рябина горькая сладка.

А эти танцы в воскресенье
В соседнем клубе заводском!
И провожанье и веселье,
Запорошенное снежком!

Милы ей складки юбки чинной
И новенькие башмачки.
И сладок приступ беспричинной
И обещающей тоски.

Ей мило все на белом свете
И все имеет свой резон...
А мы! А мы уже не дети,
Нам горек хлеб. И труден сон.

Я с ней беседую часами,
И мне не хочется стареть,
Когда учусь ее глазами
На мир доверчиво смотреть.
1959 или 1960

* * *

А. А.

Я вышел ночью на Ордынку.
Играла скрипка под сурдинку.
Откуда скрипка в этот час —
Далеко за полночь, далеко
От запада и до востока —
Откуда музыка у нас?
1960

СТАРЫЙ ГОРОД

Трудолюбивые пейзажи,
Возделанная красота.
И все круглей холмы, все глаже
И все отраднее места.

Тевтонский орден и Ливонский —
Чванливых рыцарей орда —
В своем ленивом пустозвонстве
Здесь не оставили следа.

Зато ремесленные швабы
И местный работящий люд
Свои понятья и масштабы
Навечно утвердили тут.

Они ценить привыкли место,
И город, окружен стеной,
Залег извилисто и тесно,
Как мозг в коробке черепной.

И разум прост, и тверд, и скромен.
И облик крыш над головой
Подобен сомкнутым ладоням,
Прошедшим обжиг вековой.
1960

СОЛОВЬИНАЯ УЛИЦА

Тучей шла сирень, лавиной,
На заборы надвигалась.
Это буйство называлось
Улицею Лакстигалас,
Улицею Соловьиной.

Свешивалась через стены
Гроздью пышной, грузной, пьяной,
И дворы вспухали пеной,
Словно глиняные жбаны.

Кто живет здесь — люди, птицы?
И ужель в домишках чинных
Есть под красной черепицей
Страсти кроме соловьиных?

Что за слово — Лакстигалас?
Птичье или человечье?..

И свободно постигалась
Сладость чуждого наречья.
1960

* * *

Давайте защитим людей
От войн, обмана и насилья!
Иначе для чего нам крылья
Орлов, пегасов, лебедей?

Давайте проясним мозги,
Запорошенные враждою,
Промоем светлою водою
Глаза не видящих ни зги.

Давайте выправим хребты,
Замлевшие дугообразно,
Иначе назначенье праздно
Поэзии и красоты.

Давайте наше ремесло
Сравним с искусством врачеванья,
Ведь нету лучшего призванья,
Покуда существует зло.

И люди будущей земли,
Быть может, скажут нам спасибо.
Мы быть прекраснее могли бы,
Но быть уместней не могли...
1960

* * *

Я стал теперь зависим от погоды,
Как некогда зависел от страстей.
Напоминает прежние походы
Ломота, гуд, бессонница костей.

Вот здесь в плече болота Лодвы ноют,
И мгинской стужей руку мне свело,
Осколок Склобы ногу беспокоит,
А что-то прочно вглубь меня вошло.

И ночью будит, и томит незримо,
И будоражит, не смыкая глаз.
И уж ничто не пролетает мимо,
А, словно пуля, задевает нас.
1960

А Л Е Н У Ш К А

Когда настанет расставаться —
Тогда слетает мишура...
Аленушка, запомни братца!
Прощай — ни пуха ни пера!

Я провожать тебя не выйду,
Чтоб не вернулась с полпути.
Аленушка, забудь обиду
И братца старого прости.

Твое ль высокое несчастье,
Моя ль высокая беда?..
Аленушка, не возвращайся,
Не возвращайся никогда.
1960

* * *

Как медленно листва
Слетает на балкон:
Чуть-чуть, едва-едва,
Листочек за листком.

Быть может, в этот час
Листва умней, чем мы,
И в ней сильней, чем в нас,
Предчувствие зимы.

Но что же медлит сад?
Чего страшится он?
Неужто он не рад
Течению времен?

Не любим медлить мы!
Ведь нам милее, друг,
И мужество зимы
И нежность первых вьюг.

Конец 1950-х или начало 1960-х

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Начинают отмирать
Чувства — то, другое, третье.
Начинаю понимать:
Лихолетье.

Стол, уставленный едой.
Блеск посуды, звон стаканов.
Мир не шире, чем ладонь
С телевизорных экранов.

Юный, сытый человек
Отдыхает на диване.
Перед ним двадцатый век
Дрессируют на экране.

Два часа — футбольный матч,
Полтора — кинокартина.
А потом — певец, скрипач,
Комментатор, балерина,

Водевиль, народный хор,
Лектор-популяризатор.
Ходовой киноактер,
Эфиопский император.

Встреча, съезд, отъезд, приезд,
Президент, премьер, посланник.
Сразу все в один присест —
Ложь и правда, кнут и пряник.

Человек идет в постель
Сонный и осведомленный.
Телевизорная щель
Гаснет...

Конец 1950-х или начало 1960-х

Д Я Д Ь К И Н

Иван Алексеевич Дядькин
Сегодня пошел в ресторан.
А в небе светилась планета
По имени Альдебаран.

В сравнении с этой планетой
Не больше песчинки земля.
А Дядькин в сравнении с нею —
Немного поменьше нуля.

Бушуют бесшумные взрывы
В тиши межпланетных пространств.
А Дядькин под звуки оркестра
Впадает в лирический транс.

Танцует он с милой соседкой,
Ее обнимает рукой.
Ведь он же — венец мирозданья.
И парень, вообще, неплохой.

Домой возвращается Дядькин.
Он весел. И несколько пьян.
И вдруг он увидел планету
По имени Альдебаран.

Летит голубая планета
В неясном астральном дыму.
И дикие, желтые звезды
Несутся навстречу ему.

Несутся, несутся, несутся...
И Дядькин стоит чуть живой,
Решив, что висит он над бездной
И, может быть, вниз головой!..

Ах, Дядькин, не бойся пространства.
Мы тоже, как звезды, горим.
Мы землю уже покорили,
А небо еще покорим.

Недавно ты был обезьяной,
А вона куда воспарил
Работой усердных гиббонов
И трудолюбивых горилл!

И Дядькин уходит спокойный.
Бросается спать на диван
И меркнет на небе планета
По имени Альдебаран...
Конец 1950-х или начало 1960-х

* * *

Мальчики уходят на войну,
Возвращаются с войны — мужчины.
Девочками были в ту весну,
А теперь на лбу у них — морщины.
Смотрят друг на друга, узнают,
Бродят вместе, рук не разнимая.
Соловьи вот только не поют,
И любовь у них уже другая.
Видно, мало — памяти сердец,
Знают оба — жить им врозь отныне.
Там начало было, здесь — конец,
А война была посередине.
Около 1961

ЖЕЛЕЗНАЯ МАЗУРКА

Мы в дом постучались ночью,
Нам сразу дверь отворили.
Тогда я увидел очи,
Очи панны Марыли.
Зрачки ее были бездонны
От ужаса и от боли.
В них руки ломали мадонны
В огненном ореоле.
Над городом порохом пахло,
И жженым железом, и толом.
Кудлатое пламя, как пакля,
Металось над старым костелом.
Все прядало и мельтешило,
И тени качались в проулке.
И сразу метель закружила
Под звуки железной мазурки.
О, старая польская лира!
О, музыка, слава и нега!
О, бледная панна Марыля
В мазурке света и снега!
Я дверь прикрыл за собою,
Шагнул я грубо и смело.
И окон стекло голубое
Плясало, дрожало и пело.
Окно озарялось ракетой,
И сразу ночь выцветала.
Над женщиной полураздетой
Три зеркала хохотало.
А может, сама Марыля
Смеялася? Не сама ли?
В зрачках ее, спутав крылья,
Три ангела руки ломали.

Снег вспыхивал за занавеской,
И дымы метались, как бурки,
Плясал городок мазовецкий
Под звуки железной мазурки.
Около 1961

* * *

Я глядел на падучие звезды
И унылые песни тянул,
Я валялся на койке тифозной,
И немало я горя хлебнул.

Я писал, прикрываясь рукою
От стоящих у локтя смертей.
Разве чуждо мне счастье людское,
Безразличны улыбки детей?

Но не то отдаленное счастье,
Что похоже на злую звезду.
Пусть не все, а хотя бы отчасти,
Пусть немного, но в этом году!

Я не меряю малою мерой,
Не прошу для себя одного,
Но довольно питались мы верой,
Не имея взамен ничего.
Около 1961

* * *

Плачет женщина чужая
У окошка, глядя в ночь.
Я беды ее не знаю.
Подойти? Спросить? Помочь?

Плачет женщина чужая
Близко, рядом, за плечом,
Бессловесно продолжая
Разговор. О ком? О чем?

— Как ты мог? — одно словечко
С губ слетает, как дымок.
Как ты мог... меня... навечно...
Бессердечно... Как ты мог?

Плачет женщина чужая:
Очи, губы, плечи — вся,
Никого не замечая,
Утешенья не прося.

Плачет женщина, сжимая
Весь искусанный платок.
Как ты мог?.. Не понимаю!
Не приемлю!.. Как ты мог!
Около 1961

ТАЛАНТЫ

Их не ждут. Они приходят сами.
И рассаживаются без спроса.
Негодующими голосами
Задают неловкие вопросы.

И уходят в ночь, туман и сырость
Странные девчонки и мальчишки,
Кутаясь в дешевые пальтишки,
Маменьками шитые навырост.

В доме вдруг становится пустынно,
И в уютном кресле неудобно.
И чего-то вдруг смертельно стыдно,
Угрызенью совести подобно.

И язвительная умудренность
Вдруг становится бедна и бренна.
И завидны юность и влюбленность,
И былая святость неизменна.

Как пловец, расталкиваю ставни
И кидаюсь в ночь за ними следом,
Потому что знаю цену давним
Нашим пораженьям и победам...

Приходите, юные таланты!
Говорите нам светло и ясно!
Что вам — славы пестрые заплаты!
Что вам — низких истин постоянство!

Сберегите нас от серой прозы,
От всего, что сбило и затерло.
И пускай бесстрашно льются слезы
Умиленья, зависти, восторга!
1961

НАД НЕВОЙ

Весь город в плавных разворотах,
И лишь подчеркивает даль
В проспектах, арках и воротах
Классическая вертикаль.

И все дворцы, ограды, зданья,
И эти львы, и этот конь
Видны, как бы для любованья
Поставленные на ладонь.

И плавно прилегают воды
К седым гранитам городским —
Большие замыслы природы
К великим замыслам людским.
1961

* * *

Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал.
Я любил, размышлял, воевал.
Кое-где побывал, кое-что повидал,
Иногда и счастливым бывал.

Гнев меня обошел, миновала стрела,
А от пули — два малых следа.
И беда отлетала, как капля с крыла,
Как вода, расступалась беда.

Взял один перевал, одолею второй,
Хоть тяжел мой заплечный мешок.
Что же там — за горой? Что же там — под горой?
От высот побелел мой висок.

Сорок лет. Где-то будет последний привал?
Где прервется моя колея?
Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал.
И не допита чаша сия.
1960—1961

* * *

Стих небогатый, суховатый,
Как будто посох суковатый.
Но в путь, которым я иду,
Он мне годится — для опоры,
И на острастку песьей своры,
Для счета ритма на ходу.
На нем сучки, а не узоры,
Не разукрашен — ну и что ж!
Он мне годится для опоры,
И для удара он хорош!
1961

ЗАБОЛОЦКИЙ В ТАРУСЕ

Мы оба сидим над Окою,
Мы оба глядим на зарю.
Напрасно его беспокою,
Напрасно я с ним говорю!

Я знаю, что он умирает,
И он это чувствует сам,
И память свою умеряет,
Прислушиваясь к голосам,

Присматриваясь, как к находке,
К всему, что шумит и живет...
А девочка-дочка на лодке
Далеко-далеко плывет.

Он смотрит умно и степенно
На мерные взмахи весла...
Но вдруг, словно сталь из мартена,
По руслу заря потекла.

Он вздрогнул... А может, не вздрогнул,
А просто на миг прервалась
И вдруг превратилась в тревогу
Меж нами возникшая связь.

Вдруг понял я тайную повесть,
Сокрытую в этой судьбе,
Его непомерную совесть,
Его беспощадность к себе,

И то, что он мучает близких,
А нежность дарует стихам...
На соснах, как на обелисках,
Последний закат полыхал.

Так вот они — наши удачи,
Поэзии польза и прок!..
— А я не сторонник чудачеств, —
Сказал он и спичку зажег.
1958—1961

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

Везде холера, всюду карантины,
И отпущенья вскорости не жди.
А перед ним пространные картины
И в скудных окнах долгие дожди.

Но почему-то сны его воздушны,
И словно в детстве — бормотанье, вздор.
И почему-то рифмы простодушны,
И мысль ему любая не в укор.

Какая мудрость в каждом сочлененье
Согласной с гласной! Есть ли в том корысть!
И кто придумал это сочиненье!
Какая это радость — перья грызть!

Быть, хоть нена́долго, с собой в согласье
И поражаться своему уму!
Кому б прочесть — Анисье иль Настасье?
Ей-богу, Пушкин, все равно кому!

И за́ полночь пиши, и спи за полдень,
И будь счастлив, и бормочи во сне!
Благодаренье Богу — ты свободен —
В России, в Болдине, в карантине...
1961

ШУБЕРТ ФРАНЦ

Шуберт Франц не сочиняет —
Как поется, так поет.
Он себя не подчиняет,
Он себя не продает.

Не кричит о нем газета,
И молчит о нем печать.
Жалко Шуберту, что это
Тоже может огорчать.

Знает Франц, что он кургузый
И развязности лишен,
И, наверно, рядом с музой
Он немножечко смешон.

Жаль, что дорог каждый талер,
Жаль, что дома неуют.
Впрочем — это все детали,
Жаль, что песен не поют!..

Но печали неуместны!
И тоска не для него!..
Был бы голос! Ну а песни
Запоются! Ничего!
1961

ПАМЯТИ А. Р.

Жил в Ленинграде странный малый,
Угрюмый, мрачный и больной.
Был у него талант немалый.
Я знал его перед войной.
Вел счет неведомым обидам,
Нес груз невидимой вины.
Он был убогим инвалидом
Не бывшей, будущей войны.

Мы ждали славы и победы,
Лихого грома медных труб.
А он провидел только беды,
Он видел свой убогий труп,
Его шатали бомбовозы
Своею воющей волной,
Блокады будущей морозы
Его покрыли сединой.

Читая странные баллады,
Мы не угадывали в нем
Провидца будущей блокады,
Что приближалась день за днем.
Где он погиб? В каком подвале?
Как он окончил бытие?
Какие люди подавали
Ему последнее питье?
Какую страждущую строчку
Он дописать уже не мог?
Какой несчастный по листочку
Его стихи в печурке сжег?

Стихи, наверное, сгорели,
Не много было в них тепла.
А люди эти постарели.
А может, жизнь их утекла.
И сгинул он. На белом свете
Он не оставил ничего.
И мы не судим о поэте,
Как будто не было его.
1961

* * *

С. Б. Ф.

Слава Богу! Слава Богу!
Что я знал беду и тревогу!
Слава Богу, слава Богу —
Было круто, а не отлого!

Слава Богу!
Ведь все, что было,
Все, что было, — было со мною.
И война меня не убила,
Не убила пулей шальною.

Не по крови и не по гною
Я судил о нашей эпохе.
Все, что было, — было со мною,
А иным доставались крохи!

Я судил по людям, по душам,
И по правде, и по замаху.
Мы хотели, чтоб было лучше,
Потому и не знали страху.

Потому пробитое знамя
С каждым годом для нас дороже.
Хорошо, что случилось с нами,
А не с теми, кто помоложе.
1961

СОРОКОВЫЕ

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.

Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
1961

ПЕРЕБИРАЯ НАШИ ДАТЫ

Перебирая наши даты,
Я обращаюсь к тем ребятам,
Что в сорок первом шли в солдаты
И в гуманисты в сорок пятом.

А гуманизм не просто термин,
К тому же, говорят, абстрактный.
Я обращаюсь вновь к потерям,
Они трудны и невозвратны.

Я вспоминаю Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
Я сам теперь от них завишу,
Того порою не желая.

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.

И вроде день у нас погожий,
И вроде ветер тянет к лету...
Аукаемся мы с Сережей,
Но леса нет, и эха нету.

А я все слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая...
Я говорю про Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
1961

ДВОР

Ходили к нам шарманщики,
Они играли вальсы.
А девочки и мальчики
Вокруг сосали пальцы.

Весь день торчал над козлами
Матрасник — враль известный —
Вились пружины кольцами
Пред ним, как дым железный.

Стекольщики стеклили,
Лудильщики лудили,
Паяльщики паяли,
Точильщики точили.

А у окошка розовая
Прядильщица Елена,
Волосы расчесывая
Цвела, как Лорелея.

Она была красавица,
Все это понимали.
И чтобы ей понравиться,
Меры принимали.

Шарманщик проворачивал
Ей вальсы бесконечно
И попка, молью траченный,
Ей подавал колечко.

Лудильщики, паяльщики,
Ей подносили брошки,
Стекольщик светлым зайчиком
Ей застеклял окошки.

Но вот весною, летом ли
Случилась перемена.
Пришел матросик с лентами —
Увез от нас Елену.

Во двор идти не хочется,
Заброшена игра...
А может, детство кончилось
И тянет со двора.
1961

* * *

Этой скромной нешумной весне
Тихо радуется запруда,
Как известью в коротком письме
От давно запропавшего друга.

Где-то праздники, где-то дела,
Столько суетных новостей за день!
А береза тонка и светла,
Сок ее сладковат и прохладен.

По тропе или так, напрямик,
Надо выйти к крутому оврагу,
Где запенивает родник
Мутноватую рыжую влагу.

Роща зябликами населена,
Переполнена, как квартира.
Ветка вздрагивает, как струна
И настраивается, как лира.

Этой скромной, негромкой весной
Надо ясно в себе разобраться.
Чем мне быть — тетивой иль струной
И смычку иль стреле откликаться.
1961

* * *

Не ломайте ее, не ломайте —
Эту голую веточку в марте!

Отгибается, бьется, гнется —
Не дается вам, не дается!

Ведь на ней уже почки полные,
Почки выпуклые, как сосочки.
Дайте жить ей в потные полудни,
Дайте жить в прохладные ночки.

Вот она за лето намается —
Станет хрупкою и седою.
Вы сломайте ее зимою,
Да она и сама сломается...
1961

СЛОВА

Красиво падала листва,
Красиво плыли пароходы.
Стояли ясные погоды,
И праздничные торжества
Справлял сентябрь первоначальный,
Задумчивый, но не печальный.

И понял я, что в мире нет
Затертых слов или явлений.
Их существо до самых недр
Взрывает потрясенный гений.
И ветер необыкновенней,
Когда он ветер, а не ветр.

Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.
1961

* * *

Готовьте себя к небывалым задачам,
Но также готовьте себя к неудачам —
Не только к полетам, но также к паденьям,
И к бденьям суровым, и к ранам кровавым,
И к мыслям жестоким, и к здравым сужденьям.
Готовьте себя к небывалым задачам,
Без этих задач ничего мы не значим,

Без этих задач мы немногого стоим.
Но только не путайте молнию с громом,
Звезду — с метеором и лес — с сухостоем.
И вы различайте, где ум и где разум.
Готовьте себя к небывалым свершеньям,
Но только не путайте уголь с алмазом,
Служенье — со службой и долг — с одолженьем.
1961

* * *

Хочется мирного мира
И счастливого счастья,
Чтобы ничто не томило,
Чтобы грустилось не часто.

Хочется синего неба
И зеленого леса,
Хочется белого снега,
Яркого желтого лета.

Хочется, чтоб отвечало
Все своему назначенью:
Чтоб начиналось с начала,
Вовремя шло к завершенью.

Хочется шуток и смеха
Где-нибудь в шумном скопище.
Хочется и успеха,
Но на хорошем поприще.
1961

* * *

Захотелось мудрым землянам
Распрощаться с домом зеленым,
Побродить по нездешним лонам,
По иным морям-океанам.

И откуда такое желанье?
Почему со времен Дедала
Рвутся в небо наши земляне,
Неужели земли им мало?

Но птенцы готовятся летом
К их осенним большим перелетам.
Так нас тянет к дальним планетам,
К безначальным тянет высотам.

Кличет осень из синих далей,
Осыпаются листья клена...
От великих наших печалей
Звезды манят нас с небосклона.

Бурой, желтой, красной метелью
Закружились жухлые листья...
От великих наших веселий
Манят нас надзвездные выси.

Журавли курлычут. По далям
Оплывают сосны, как свечи.
И, раскрыв глаза, упадаем,
Упадаем небу навстречу.
1961

* * *

В каком хитросплетенье генов
И совпадениях случайных
Начало действий сокровенных
И наших побуждений тайных?

Какие корни вязнут в почве,
Какие тайны тонут в быте?
Где слишком прочны, где непрочны
Рассудка спутанные нити?

Не верь, не верь миропорядку!
Не верь отливу и приливу!
Рожденье гения — загадка,
Подобно солнечному взрыву.

Не ждут его. И время немо.
Умы и нравы огрубели...
Лишь три царя из Вифлеема
Поют у бедной колыбели.
1961

ВДОХНОВЕНЬЕ

Жду, как заваленный в забое,
Что стих пробьется в жизнь мою.
Бью в это темное, рябое,
В слепое, в каменное бью.

Прислушиваюсь: не слыхать ли,
Что пробивается ко мне.
Но это только капли, капли
Скользят по каменной стене.

Жду, как заваленный в забое,
Долблю железную руду,
Не пробивается ль живое
Навстречу моему труду?..

Жду исступленно и устало,
Бью в камень медленно и зло...
О, только бы оно пришло!
О, только бы не опоздало!
1961

* * *

Подставь ладонь под снегопад,
Под искры, под кристаллы.
Они мгновенно закипят,
Как плавкие металлы.

Они растают, потекут
По линиям руки.
И станут линии руки
Изгибами реки.

Другие линии руки
Пролягут как границы,
И я увижу городки,
Дороги и столицы.

Моя рука как материк —
Он прочен, изначален.
И кто-нибудь на нем велик,
А кто-нибудь печален.

А кто-нибудь идет домой,
А кто-то едет в гости.
А кто-то, как всегда зимой,
Снег собирает в горсти.

Как ты просторен и широк,
Мирок на пятерне.
Я для тебя, наверно, Бог,
И ты послушен мне.

Я берегу твоих людей,
Храню твою удачу.
И малый мир руки моей
Я в рукавичку прячу.
1961

ДОМ-МУЗЕЙ

Потомков ропот восхищенный,
Блаженной славы Парфенон!
Из старого поэта

...производит глубокое...
Из книги отзывов

Заходите, пожалуйста. Это
Стол поэта. Кушетка поэта.
Книжный шкаф. Умывальник. Кровать.
Это штора — окно прикрывать.
Вот любимое кресло. Покойный
Был ценителем жизни спокойной.

Это вот безымянный портрет.
Здесь поэту четырнадцать лет.
Почему-то он сделан брюнетом.
(Все ученые спорят об этом.)
Вот позднейший портрет — удалой.
Он писал тогда оду «Долой»
И был сослан за это в Калугу.
Вот сюртук его с рваной полой —
След дуэли. Пейзаж «Под скалой».
Вот начало «Послания к другу».
Вот письмо: «Припадаю к стопам...»
Вот ответ: «Разрешаю вернуться...»
Вот поэта любимое блюдце,
А вот это любимый стакан.

Завитушки и пробы пера.
Варианты поэмы «Ура!»
И гравюра: «Врученье медали».
Повидали? Отправимся дале.

Годы странствий. Венеция. Рим.
Дневники. Замечанья. Тетрадки.
Вот блестящий ответ на нападки
И статья «Почему мы дурим».
Вы устали? Уж скоро конец.
Вот поэта лавровый венец —
Им он был удостоен в Тулузе.
Этот выцветший дагерротип —
Лысый, старенький, в бархатной блузе —
Был последним. Потом он погиб.

Здесь он умер. На том канапе,
Перед тем прошептал изреченье
Непонятное: «Хочется пе...»
То ли песен? А то ли печенья?

Кто узнает, чего он хотел,
Этот старый поэт перед гробом!

Смерть поэта — последний раздел.
Не толпитесь перед гардеробом...
1961

СОВЕТЧИКИ

Приходили ко мне советчики
И советовали, как мне быть.
Но не звал я к себе советчиков
И не спрашивал, как мне быть.

Тот советовал мне уехать,
Тот советовал мне остаться,
Тот советовал мне влюбиться,
Тот советовал мне расстаться.

А глаза у них были круглые,
Совершенно как у лещей.
И шатались они по комнатам,
Перетрогали сто вещей:

Лезли в стол, открывали ящики,
В кухне лопали со сковород.
Ах уж эти мне душеприказчики,
Что за странный они народ!

Лупоглазые, словно лещики,
Собирались они гурьбой,
И советовали мне советчики
И советовались между собой.

Ах вы, лещики, мои рыбочки,
Вы, пескарики-головли!
Ах спасибо вам, ах спасибочки,
Вы мне здорово помогли!
1961

* * *

Если вычеркнуть войну,
Что останется? Не густо.
Небогатое искусство
Бередить свою вину.

Что еще? Самообман,
Позже ставший формой страха.
Мудрость, что своя рубаха
Ближе к телу. И туман.

Нет, не вычеркнуть войну,
Ведь она для поколенья —
Что-то вроде искупленья
За себя и за страну.

Правота ее начал,
Быт жестокий и спартанский,
Как бы доблестью гражданской
Нас невольно отмечал.

Если спросят нас юнцы,
Как мы жили, чем мы жили,
Мы помалкиваем или
Кажем раны и рубцы.

Словно может нас спасти
От стыда и от досады
Правота одной десятой,
Низость прочих девяти.

Ведь из наших сорока
Было лишь четыре года,
Где нежданная свобода
Нам, как смерть, была сладка...
1961

* * *

Дождь пришел в городские кварталы,
Мостовые блестят, как каналы,
Отражаются в них огоньки,
Светофоров цветные сигналы
И свободных такси светляки.

Тихо радуюсь. Не оттого ли,
Что любви, и надежды, и боли
Мне отведать сполна довелось,
Что уже голова побелела
И уже настоящее дело
В эти годы во мне началось.

И когда, словно с бука лесного,
Страсть слетает — шальная листва,
Обнажается первооснова,
Голый ствол твоего существа.
Открывается графика веток
На просторе осенних небес.

И не надо случайных чудес —
Однодневок иль однолеток.

Эй, листва! Постарей, постарей!
И с меня облетай поскорей!
1961

* * *

— Не отрывайся, — мне сказали.
Не оторвусь! Не оторвусь!
Страна моя, твоей печали,
Твоей надежде отзовусь.

Узлы дорог, лесное лыко,
И цепи гор, и петли рек,
И конопля и повилика
Нас приторочили навек.

Нет, не сады, не вертограды
Благословили наш союз.
Но от кладбищенской ограды
Не оторвусь, не оторвусь!

Там долгие уже недели
Спит мой отец в простом гробу.
От этой смертной колыбели
Я оторваться не могу.

Ложатся на мое оплечье
Скрещенья твоего ремня.
Как оторвусь я от наречья,
Что переполнило меня!

Пусть будут злобствовать мещане,
Пусть трижды отречется трус,
Пусть будут рвать меня клещами —
Не оторвусь! Не оторвусь!
1961

* * *

Таким, как ты придумала меня,
Я не умею быть... Не тут-то было!
Но я умею верить, хоть полдня,
Что я такой, как ты вообразила.
Почти полдня!.. И я почти такой.
И только зеркала страшусь, как в детстве.
Да, я почти такой, пока — покой
И от меня не требуется действий.

Там я иной. Уже не отраженье,
Не твой двойник, не благостная тень.
Бессильно все твое воображенье,
Чтоб образ мой соединился с тем.
И все же занесенная рука
Вдруг застывает... Потому что снова
Боюсь поранить я того, иного,
Несуществующего двойника.
1961

ОСЕНЬ

Вот опять спорхнуло лето
С золоченого шестка,
Роща белая раздета
До последнего листка.

Как раздаривались листья,
Чтоб порадовался глаз!
Как науке бескорыстья
Обучала осень нас!

Так закутайся потéпле
Перед долгою зимой...
В чем-то все же мы окрепли,
Стали тверже, милый мой.
1961

* * *

Слово льется —
Все удается!
Лишь покручивай вороток,
Да почерпывай из колодца,
Да выплескивай на лоток.

А бывает —
Иссякнет слово,
Хоть клещами его тащи.
И ни доброго, и ни злого —
Никакого — ищи-свищи!

Вы за то с меня не взыщите!
И не будьте со мной круты!
Я и сам молю о защите,
О спасенье от немоты.

Но я верю,
Что подобреет.
И тогда немота не в счет!
И проклюнется, и созреет,
И польется, и потечет!
1961

* * *

Читаю умный свой дневник
Военный и передвоенный.
Там нет меня. Там мой двойник,
Восторженный и вдохновенный.

Как он умен! И как высок!
Как любит он во все соваться!
С чего он выдумал, щенок,
Передо мною красоваться!

Но он есть я, а я есть он,
И я люблю себя иного,
Я с ним навек соединен —
Ведь я уток, а он основа.

И, видно, в крепкую холстину
Сплелись мы сами по себе...
И я, как собственному сыну,
В нем не завидую себе.
1961

КАРУСЕЛЬ

Артельщик с бородкой
Взмахнул рукавом.
И — конь за пролеткой,
Пролетка за конем!

И — тумба, и цымба!
И трубы — туру!
И вольные нимбы
Берез на ветру.

Грохочут тарелки,
Гремит барабан,
Играет в горелки
Цветной балаган.

Он — звонкий и легкий —
Пошел ходуном.
И конь за пролеткой,
Пролетка за конем!

То красный, как птица,
То желтый, как лис.
Четыре копытца
Наклонно взвились.

Летит за молодкой
Платочек вьюном.
И — конь за пролеткой,
Пролетка за конем!..

Сильнее на ворот
Плечом поднажать,

Раскрутишь весь город,
Потом не сдержать.

За городом роща,
За рощею дол
Пойдут раздуваться,
Как пестрый подол.

Артельщик хохочет —
Ему нипочем:
Взял город за ворот
И сдвинул плечом.
1961

ДЕРЕВЯННЫЙ ВАГОН

Спотыкался на стыках,
Качался, дрожал.
Я, бывало, на нарах вагонных лежал.
Мне казалось — вагон не бежал, а стоял,
А земля на какой-то скрипучей оси
Поворачивалась мимо наших дверей,
А над ней поворачивался небосвод,
Солнце, звезды, луна,
Дни, года, времена...
Мимо наших дверей пролетала война,

А потом налетали на нас «мессера».
Здесь не дом, а вагон,
Не сестра — медсестра,
И не братья, а — братцы,
Спасите меня!
И на волю огня не бросайте меня!

И спасали меня,
Не бросали меня.
И звенели — ладонь о ладонь — буфера,
И состав
Пересчитывал каждый сустав.
И скрипел и стонал
Деревянный вагон.
А в углу медсестра пришивала погон.

А в России уже начиналась весна.
По откосам бежали шальные ручьи.
И летели недели, года, времена,
Госпитальные койки, дороги, бои,
И тревоги мои, и победы мои!
1950-е — 1961

БЕРТОЛЬД ШВАРЦ

Монолог

Я, Шварц Бертольд, смиреннейший монах,
Презрел людей за дьявольские нравы.
Я изобрел пылинку, порох, прах,
Ничтожный порошочек для забавы.
Смеялась надо мной исподтишка
Вся наша уважаемая братья:
«Что может выдумать он, кроме порошка!
Он порох выдумал! Нашел занятье!»
Да, порох, прах, пылинку! Для шутих,
Для фейерверков и для рассыпных
Хвостов павлиньих. Вспыхивает — пых! —

И роем, как с небесной наковальни,
Слетают искры! О, как я люблю
Искр воркованье, света ликованье!..

Но то, что создал я для любованья,
На пагубу похитил сатана.
Да, искры полетели с наковален,
Взревели, как быки, кузнечные меха.
И оказалось, что от смеха до греха
Не шаг — полшага, два вершка, вершок.
А я — клянусь спасеньем, Боже правый! —
Я изобрел всего лишь для забавы
Сей порох, прах, ничтожный порошок!
Я, Шварц Бертольд, смиреннейший монах,
Вас спрашиваю: как мне жить на свете?
Ведь я хотел, чтоб радовались дети.
Но создал не на радость, а на страх!
И порошочек мой в тугих стволах
Обрел вдруг сатанинское дыханье...
Я сотворил паденье крепостей,
И смерть солдат, и храмов полыханье.

Моя рука — гляди! — обожжена,
О Господи, тебе, тебе во славу...
Зачем дозволил ты, чтоб сатана
Похитил порох, детскую забаву!
Неужто все, чего в тиши ночей
Пытливо достигает наше знанье,
Есть разрушенье, а не созиданье,
И все нас превращает в палачей?
1961

ДНЕВНИК

Писал при свете фитилька
Дневник. Страницы дневника
Еще дышали жаром боя,
Азартом русского штыка,
Огнем возвышенных мгновений,
Разрозненностью впечатлений.

Писал французский свой дневник
Поручик русский,
ученик
Парни, Шенье, Дидро, Декарта
И ненавистник Бонапарта.

Писал округло и легко
О том, как был хорош Нико,
Его наперсник и приятель,
Как был упорен неприятель,
Как дрогнул было левый фланг,
О том, как был ужасен вид
Отбитых у французов флешей,
Что Пестель-прапорщик как леший
Дрался и, кажется, убит.

Писал возвышенным пером
Про славный подвиг генерала...
Писал...
Кругом огни привала
Дымились. Осень простирала
Свои печальные поля.
И ветер в гренадерских соснах
Гудел, как мачты корабля...

Откуда было знать ему,
Поклоннику чужого слога,
Что приведет его дорога
В Москву, и дальше, за Москву,
Через леса, через болота,
Пургой продутые насквозь,
Где воспитанье патриота
Недавно только началось!

Пиши, герой!
Пари, поручик,
Подобно легкому перу,
Пусть совесть будет твой попутчик
В бою, в Париже, на пиру.

И может быть, в том декабре
В рядах мятежного каре
Ты будешь стынуть на Сенатской.
И там направишь пистолет
На боевого генерала,
Героя прежних юных лет.
Но та десница, что карала
Врага, вдруг дрогнет... Странный век!
Ты пистолет уронишь в снег.

Пиши, пиши! Сверкай очами!
Поет походная труба,
Дымят костры... А за плечами
России грозная судьба.

Не позднее 1962

* * *

И вот опять арбатские проулки
Передо мной лежат, как сто сердец.
Счастливые и краткие прогулки
Здесь падали, как чудеса с небес.

Я был счастлив хотя бы пять мгновений
И понимал, что это счастье — ложь.
Я был с собой стократно откровенней
И был готов, как узник, на правеж.

Казни меня, моя любовь святая,
Уничтожай, уничижай и режь,
И угнетай, бесстрашно подавляя
Во мне внезапно вспыхнувший мятеж.

Что я могу? Лишь скорбно поклониться
На все четыре стороны. Прощай!
Казни меня, казни во мне провидца.
Ты радости и счастья не прощай!
И ничего на свете не прощай!
Около 1962

УТРО

Старых пней медвежьи барабаны,
И дубов шатры, и балаганы,
И трава со слюнками росы,
И железное перо вороны —
Открывают мне свои законы,
Доверяют мне свои азы.

Наконец-то я познал науку
И внимаю смыслу, а не звуку,
Ветру, а не шелесту травы.
Что мне этот шорох, что мне лепет,
Что мне шепот будничной молвы!
1962

ХОЛОД

Этот холод — до чего приятен
Шапкам, рукавицам, рукавам.
Он сосульки к желобам приладил,
К берегам потоки приковал.

Длинный дым над трубами недвижен,
Голубые липы не звенят.
И предельно горизонт приближен
И провис, как ледяной канат.

И столбы высоковольтных линий,
Как канатоходцы, на весу
В высоте несут тяжелый иней
По прямому просеку в лесу.
1962

РИСУНОК

Марии Кросс

Как весело рисуют дети
Доверчивые чудеса —
Не Истину и Добродетель,
А человечка или пса.

И пес неистов и оранжев,
В зубах зеленое: «Гав-Гав!»
И, радуги разбудоражив,
Конь скачет о шести ногах.

А над конем летит сорока,
Летит дорога под коня,
Хохочет солнце кособоко
И улыбается луна.

И человечек-огуречек
С овальным розовым брюшком,
Так беззаботен, так доверчив,
На том коне сидит бочком.

Он твердо знает, что доскачет,
Застенчивый до немоты,
И в руки маленьких циркачек
Положит красные цветы...

Дитя! От мыслей безрассудных
Меня чертою отдели.
Пусти, пусти меня в рисунок
И в добром мире посели!
1962

* * *

Соловьи не прельщают мотивом,
Но уж свищут — так вволю и всласть.
Потому в этом свисте ретивом
Людям чудится высшая страсть.

Как вмещается в маленьком горле
Это бульканье, щелканье, свист?
Видно, малое сердце расперли
Сотни самозабвенных обид.

Хорошо, что в порыве, повторе
Только страсть — не чужая, своя,
Что не требует аудиторий
Исступленная страсть соловья.

Тот запрятанный в пух темперамент
Словно ствол округлившимся ртом,
Как звенящая пуля, дырявит
В нёбо вклеенный лучший патрон.

Пулю в пулю сажает в десятку
Расшалившееся существо.
И трепещет победно и сладко
Крови капелька — сердце его.
1962

МАТАДОР

Скорей, скорей! Кончай игру
И выходи из круга!
Тебе давно не по нутру
Играть легко и грубо.

Пока злащеный рог быка
Тебя не изувечил
Под исступленный свист райка
И визг жестоких женщин,

Пока убийцею не стал,
Покуда ножевого
Клинка мерцающий металл
Не поразил живого —

Беги! Кончай игру! Скорей!
Ты слышишь, как жестоко
Сопенье вздыбленных ноздрей,
Как воет бычье око!..

...Ты будешь жить на берегу
В своей простой лачуге,
Не нужный прежнему врагу,
Забыв о прежнем друге.

И только ночью волн возня
Напомнит гул, арену.
И будет нож дрожать, дразня,
На четверть вбитый в стену...
1962

НОЧНАЯ ГРОЗА

Тяжелое небо набрякло, намокло.
Тяжелые дали дождем занавешены.
Гроза заливает июльские стекла,
А в стеклах — внезапно — видение женщины.

Играют вокруг сопредельные громы,
И дева качается. Дева иль дерево?
И переплетаются руки и кроны,
И лиственное неотделимо от девьего.

Как в изображенье какого-то мифа,
Порывистое изгибание стана,
И драка, и переполох, и шумиха
С угоном невест, с похищением стада.

Она возникает внезапно и резко
В неоновых вспышках грозы оголтелой,
Неведомо как уцелевшая фреска
Ночного борения дерева с девой.

С минуту во тьме утопают два тела,
И снова, как в запечатленной искусством
Картине, является вечная тема —
Боренья и ребер, ломаемых с хрустом.
1962

СТАРИК ДЕРЖАВИН

Рукоположения в поэты
Мы не знали. И старик Державин
Нас не заметил, не благословил...
В эту пору мы держали
Оборону под деревней Лодвой.
На земле холодной и болотной
С пулеметом я лежал своим.

Это не для самооправданья:
Мы в тот день ходили на заданье
И потом в блиндаж залезли спать.
А старик Державин, думая о смерти,
Ночь не спал и бормотал: «Вот черти!
Некому и лиру передать!»

А ему советовали: «Некому?
Лучше б передали лиру некоему
Малому способному. А эти,
Может, все убиты наповал!»
Но старик Державин воровато
Руки прятал в рукава халата,
Только лиру не передавал.

Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал.
Что-то молча про себя загадывал.
(Все занятье — по его годам!)
По ночам бродил в своей мурмолочке,
Замерзал и бормотал: «Нет, сволочи!
Пусть пылится лучше. Не отдам!»
Был старик Державин льстец и скаред,
И в чинах, но разумом велик.
Знал, что лиры запросто не дарят.
Вот какой Державин был старик!
1962

* * *

Вс. И.

Как объяснить тебе, что это, может статься,
Уж не любовь, а смерть стучится мне в окно.
И предстоит навеки рассчитаться
Со всем, что я любил, и с жизнью заодно.

Но если я умру, то с ощущеньем воли.
И все крупицы моего труда
Вдруг соберутся. Так в магнитном поле
Располагается железная руда.

И по расположенью желтой пыли —
Иначе как себя изображу? —
Ты устремленность всех моих усилий
Вдруг прочитаешь как по чертежу.
1962

* * *

Непонятны нам сыновья и дочери.
До чего дожили!
Нам не верят дочери с сыновьями.
Зря мы разливаемся соловьями.

Говорят: как же вы допустили?
Как спокойно спать могли в постели?
Как же вы себе не опостылили?
Неужели вы совсем опустели?

Мы в постели глаз не смыкали,
Слушали, стрельнет ли дверь в подъезде.
Лишь в окопе мы спокойно спали,
Положив под голову созвездья.

Жили мы разно и розно,
Так, что часто о себе не помнили.
Родились мы рано или поздно.
Жаль, от пули вовремя не померли.

И чернили мы себя до́черна,
Хоронили себя заживо в яме.
Знали: не поверят нам сыновья и дочери,
Не простят нас дочери с сыновьями.
1962

* * *

Ах, Господи! Ужель нужны нам судьи!
Когда и так я сам себя виню.
Не в том, что мы слабы и безрассудны,
А в том, что не подвержены огню.

А в том, что лишь твердеем, словно глина,
И остываем сердцу вопреки,
А судьи судят нас легко и длинно
И тщатся склеить наши черепки.
1962

* * *

Дописывая этот стих,
Я вспомнил про его начало.
Оно негромко прозвучало,
Стих шевельнулся и затих.
Он пробуждался, как медведь,
Засевший на зиму в берлоге.
Уже глаголы и предлоги,
Как лапы, стали в нем неметь.
И вот он вылез — мокрый, тощий,
Облизан липкою весной,
Снегов обламывая толщи —
И потянулся всей спиной.

И вдруг взревел, и вдруг запел
Всей глоткой, всем волнистым нёбом,
Так заорал он над сугробом,
Что я и сам оторопел.
И стал он весел, потому,
Что стих не может быть невесел,
Он весел от ноздрей и чресел,
И очень хорошо ему
Вдыхать, дышать, реветь, стонать,
Бесчинствовать и бесноваться,
Обламывать и обминать
И с гласными согласоваться.
От А до О,
От О до Ю,
От Ю до Ы —
Какие звуки!
Изогнутые, как излуки,
Как реки, из которых пью.
И это я ору, пою
Дуплом огромной носоглотки,
Радующийся бытию,
Хлебнувший звуков, словно водки.
Как хорошо, что темнота,
Что пахнет лесом, ливнем, глиной,
Что сотни гласных изо рта
Выкатываются лавиной.
Вот и пошло! Теперь не трусь!
Куда девалась лень былая!
За что угодно я берусь,
Отказываться не желая.
1962

* * *

И снова будут дробить суставы
И зажимать кулаками рты
Поэты ненависти и славы
Поэтам чести и доброты.

И снова в злобе полночных бдений
Злодейство будет совершено.
И снова будет смеяться гений
И беззаботно тянуть вино...
1960—1962

* * *

Я рад, что промахнулся, Генрих Белль,
Что в то мгновенье духом оробел
И пуля сбила только кисть рябины.
Кровь дерева упала в глубь травы...
Мне кажется, что это были вы,
Такой же, как и я. Почти такой же.
Я понял в этот миг, что мы похожи.

Я понял, Генрих Белль, что это вы,
Когда увидел в прорези прицела
Согбенную округлость головы,
Порыв и страх согнувшегося тела,
Шинели вашей грязное пятно.
Я вдруг почувствовал, что я не вправе
Решать за Бога, жить вам иль не жить,
И то, что я не волен вас судить.

Я с облегченьем передоверял
Вам роль судьи. На спусковом крючке
Застыл мой палец. Ну, стреляйте, Генрих!
Вам сразу пять секунд дается верных!
Стреляйте, если можете стрелять.
И просвистела пуля. И опять
Мне на плечо скользнула кисть рябины,
Кровь дерева упала в глубь травы.
На сей раз, Генрих, промахнулись вы.

Да, между нами не было войны,
Мы заключили с вами перемирье.
Но только вы и я. Ведь рядом в рост
Вставал фашист, вояка и прохвост,
Убийца, освенцимский ницшеанец...
Стреляйте, Генрих! Уступаю вам,
Дарю вам, Белль, свой самый лучший выстрел...

Вы опустили автомат. Увы!
Мне кажется, что это были вы!
Но я не промахнулся, Генрих Белль!
Я выстрелил. И в прорези прицела
Я увидал, как оседает тело.
Немудрено попасть в такую цель!
1962

КРАСНАЯ ОСЕНЬ

Внезапно в зелень вкрался красный лист,
Как будто сердце леса обнажилось,
Готовое на муку и на риск.

Внезапно в чаще вспыхнул красный куст,
Как будто бы на нем расположилось
Две тысячи полураскрытых уст.

Внезапно красным стал окрестный лес
И облако впитало красный отсвет.
Светился праздник листьев и небес
В своем спокойном благородстве.

И это был такой большой закат,
Какого видеть мне не доводилось.
Как будто вся земля переродилась —
И я по ней шагаю наугад.
1962

НАТАША

Круглый двор
с кринолинами клумб.
Неожиданный клуб
страстей и гостей,
приезжающих цугом.
И откуда-то с полуиспугом —
Наташа,
она,
каблучками стуча,
выбегает, выпархивает —
к Анатолю, к Андрею —
Бог знает к кому! —
на асфальт, на проезд,
под фасетные буркалы автомобилей,
вылетает, выпархивает без усилий
всеми крыльями
девятнадцати лет —

как цветок на паркет,
как букет на подмостки, —
в лоск асфальта
из барского особняка,
чуть испуганная,
словно птица на волю —
не к Андрею,
Бог знает к кому —
к Анатолю!..
Дождь стучит в целлофан
пистолетным свинцом...
А она, не предвидя всего,
что ей выпадет вскоре на долю,
выбегает
с уже обреченным лицом.
1962

* * *

Я рано встал. Не подумав,
Пошел, куда повели,
Не слушая вещих шумов
И гулов своей земли.

Я был веселый и странный,
Кипящий и ледяной,
Готовый и к чести бранной,
И к слабой славе земной.

Не ведающий лукавства,
Доверчивый ко словам,
Плутал я — не заплутался,
Ломал себя — не сломал.

Тогда началась работа
Характера и ума,
Восторг, и пот, и ломота,
Бессонница, и луна.

И му́ка простого помола
Под тяжким, как жернов, пером,
И возле длинного мола —
Волны зеленой излом...

И солоно все, и круто,
И грубо стало во мне.
И даже счастья минута.
И ночь. И звезды в окне.
1962

* * *

О Господи, конечно, все мы грешны,
Живем, мельчась и мельтеша.
Но жаль, что, словно косточка в черешне,
Затвердевает камешком душа.
Жаль, что ее смятенье слишком жестко,
Что в нас бушуют кровь и плоть,
Что грубого сомнения подростка
Душа не в силах побороть.
И все затвердевает: руки — в слепок,
Нога — в костыль и в маску — голова,
И, как рабыня в азиатских склепах,
Одна душа живет едва-едва.
1962

* * *

Музыка, закрученная туго
в иссиня-черные пластинки, —
так закручивают черные косы
в пучок мексиканки и кубинки, —
музыка, закрученная туго,
отливающая крылом вороньим, —
тупо-тупо подыгрывает туба
расхлябанным пунктирам контрабаса.
Это значит — можно все, что можно,
это значит — очень осторожно
расплетается жесткий и черный
конский волос, канифолью тертый.
Это значит — в визге канифоли
приближающаяся поневоле,
обнимаемая против воли,
понукаемая еле-еле
в папиросном дыме, в алкоголе
желтом, выпученном и прозрачном,
движется она, припав к плечу чужому,
отчужденно и ненапряженно,
осчастливленная высшим даром
и уже печальная навеки...
Музыка, закрученная туго,
отделяющая друг от друга.
1962

* * *

Странно стариться,
Очень странно.
Недоступно то, что желанно.
Но зато бесплотное весомо —
Мысль, любовь и дальний отзвук грома.
Тяжелы, как медные монеты,
Слезы, дождь. Не в тишине, а в звоне
Чьи-то судьбы сквозь меня продеты.
Тяжела ладонь на ладони.
Даже эта легкая ладошка
Ношей кажется мне непосильной.
Непосильной,
Даже для двужильной,
Суетной судьбы моей... Вот эта,
В синих детских жилках у запястья,
Легче крылышка, легче пряжи,
Эта легкая ладошка даже
Давит, давит, словно колокольня...
Раздавила руки, губы, сердце,
Маленькая, словно птичье тельце.
1962

* * *

Давай поедем в город,
Где мы с тобой бывали.
Года, как чемоданы,
Оставим на вокзале.

Года пускай хранятся,
А нам храниться поздно.
Нам будет чуть печально,
Но бодро и морозно.

Уже дозрела осень
До синего налива.
Дым, облако и птица
Летят неторопливо.

Ждут снега. Листопады
Недавно отшуршали.
Огромно и просторно
В осеннем полушарье.

И все, что было зыбко,
Растрепано и розно,
Мороз скрепил слюною,
Как ласточкины гнезда.

И вот ноябрь на свете,
Огромный, просветленный,
И кажется, что город
Стоит ненаселенный, —

Так много сверху неба,
Садов и гнезд вороньих,
Что и не замечаешь
Людей, как посторонних.

О, как я поздно понял,
Зачем я существую!
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую.

И что порой напрасно
Давал страстям улечься!..
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься...
1962

* * *

Становлюсь постепенно поэтом.
Двадцать лет привыкаю к тому,
Чтоб не зеркалом быть и не эхом,
И не тетеревом на току.

Двадцать лет от беспамятства злого
Я лечусь и упрямо учу
Три единственно внятные слова:
Понимаю, люблю и хочу.
1962

* * *

Не верь ученикам! Они испортят дело!
Разнимут, раскрадут, растащат по частям.
И опозорят дух, и похоронят тело,
И не дадут в земле спокойно тлеть костям.

Не верь ученикам! За дверь их мирно выставь!
Им посох вслед швырни! Сложи с себя свой сан!
Бунтуйся же, Христос! Гони евангелистов,
И на Голгофу поднимайся сам!
1962

ЖАВОРОНОК

Шли мимо Молчановок,
а после — по Сивцеву.
О, маленький жаворонок,
как чисто высвистывает!
О, жаворонок желобов
из кровельной жести, —
не жалоб, а холода
прозрений, предвестий,
предчувствий.
О, жаворонок
Арбатов, Молчановок,
догадок и чаяний,
и призрачных сумерек...
И — локоть в ладони —
Чуть взвешенный локоть.
И сло́ва в гортани
округлая легкость.
И диск телефонный,
мурлычащий в будочке —
о худшем? о лучшем?
о прошлом? о будущем?
Рулетка. Орел или решка.
— Нет дома? как жалко. —
Шарманка. Или скворешня.
Скворешня для жаворонка —
стеклянная будочка.
— К вам можно? Не поздно?
Арбатские улочки
витые, как гнезда.
И локоть, как крылышко легкий,
И холод в подъезде —
прозрений, предчувствий,
догадок, предвестий...

Около 1962—1963

РУБКА ЛЕСА

Слыхали, как летит лесина,
Всем опереньем трепеща,
Как режет синь ее вершина,
Подобьем острого бича?

Отшатываются деревья,
Когда, сбивая с них листву,
Трепещущее оперенье
Прочесывает синеву.

И ствол поверженной колонной
Вдруг падает под топоры.
И долго кружит прах зеленый
И слюдяная пыль коры.

Пила поет, пила играет,
Подыгрывает топору.
И лес тихонько умирает
Под их веселую игру.
1963

* * *

Стройность чувств. Их свободные речи.
И в мазут Патриарших прудов
Опрокинут мерцающий глетчер,
Звездный брус городских холодов.

В эту ночь окончанья сезона,
Когда лебеди странно вопят,
До сухого и нежного звона
Доведен городской листопад.

И почти одинаково ярки
Фонари, что в аллее горят,
И высокие тополи в парке,
Сохранившие желтый наряд.

На пустынной аллее садовой
Мне сулит этот лиственный звон
Приближение музыки новой
И конец переходных времен.

Пруд лоснится, как черное масло,
И как легкое пахнет вино.
И бессонница наша прекрасна —
Так все молодо, так ледяно!..
1963

* * *

Плетенье чепухи люблю,
Разбросанность застольных разговоров
И позднее хожденье по Кремлю,
Где спят застенчивые голуби соборов.
Там грешный хор
моих нестройных чувств
Вдруг осеняет ангельская стройность.
И мысль приобретает обостренность,
Но, впрочем, не опасную ничуть.
1963

АННЕ АХМАТОВОЙ

Учусь у вас достоинству и трудной
Науке быть всегда самим собой.
Ни гул молвы, ни славы голос трубный
Не правят вашей медленной судьбой.

И где-то там, в подкожных ваших соках
Течет печаль и мудрость разлита
И трудно вам дышать азотом кратких сроков
И пылью типографского шрифта.

Но все-таки, какое это благо —
Когда последний сломан карандаш,
Когда молчит перо, безмолвствует бумага,
И только слышен вещий шепот ваш.
1963

РОЖДЕНИЕ

Как странно, что за сорок с лишним лет
Не накопил я опыта. Впервые
Глаза протер. Встаю. Ломаю хлеб.
Снег за окном. Деревья неживые.

Впервые припадаю к молоку.
Впервые поднимаю груз измены,
Впервые пью вино, впервые лгу,
Себе впервые вспарываю вены.

Впервые знаю: жизнь не удалась.
Захлебываясь, воду пью из горсти.
Впервые умираю. Первый раз
Покорно истлеваю на погосте.

Я прах впервые. Я впервые тень.
Впервые, грешный, я молю прощенья...
Смятенье, колыбель, сирень, метель —
Какая щедрость перевоплощенья!

Какая первородная игра!
Впервой... впервые... завтра... накануне..
Трещит доска... Ломается игла...
И я опять рождаюсь — как в июне.
1963

* * *

Лицо подушки смятой
Тревожно, потому
Что ей мои виденья
Весь день, наверно, снятся.
А я проснусь, умоюсь,
Забуду, потону
В заботах и о том
Не стану изъясняться.

Ах, смятая постель,
Где я запечатлен,
Как тело в глубине
Пустот помпейской лавы!
Гипс белой простыни,
Окаменевший лен!
Как здесь мои черты мои
Изменчивы и слабы.

Вот так мы оставляем
На всем свой беглый след:
В деревьях, в зеркалах,
В изложницах Помпеи,
В ручьях, в колоколах,
На грубом камне лет,
На легкой пыли книг
В глубинах эпопеи.

Не надо сожалеть,
Что камень слишком груб,
Что глина заплывет
И распрямятся травы,
Что неприметен след,
Как дуновенье губ,
Что слава — пустота
Внутри помпейской лавы.
1963

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ВПОЛГОЛОСА

Ну вот, сыночек, спать пора,
Вокруг деревья потемнели.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.
Закрой глаза. Вверху луна,
Как рог на свадьбе кахетинца.
Кричит, кричит ночная птица
До помрачения ума.

Усни скорее. Тополя
От ветра горько заскрипели.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.

Все засыпает. Из-под век
Взирают тусклые болотца.
Закуривает и смеется
Во тьме прохожий человек.

Березы, словно купола,
Видны в потемках еле-еле.
Черней вороньего пера
Ночное оперенье ели.
1963

ДВОРИК МИЦКЕВИЧА

Здесь жил Мицкевич. Как молитва
Звучит пленительное: Litwo,
Ojczyzno moja. Словно море
Накатывается: О, Litwo,
Ojczyzno moja.
Квадратный дворик. Монолитно,
Как шаг в забое,
Звучит звенящее: О, Litwo,
Ojczyzno moja!
И как любовь, как укоризна,
Как признак боли,
Звучит печальное: Ojczyzno,
Ojczyzno moja.
Мицкевич из того окошка
Глядел на дворик,
Поэт, он выглядел роскошно,
Но взгляд был горек.
Он слышал зарожденье ритма.
Еще глухое,
Еще далекое: О, Litwo,
Ojczyzno moja!
1963

УТРО. СТАРАЯ ВИЛЬНА

Когда еще над старой Вильной
Не слышен гром автомобильный,
Как будто прячась от людей,
Старуха кормит голубей.
Дурак в окне, не слыша фальши,
Чуть свет разыгрывает марши,
Угрюмо выпятив губу,
Играет в медную трубу.

На красной мостовой кирпичной
Сияет отблеск необычный
И, черная от всех скорбей,
Старуха кормит голубей...

Воркует голубь толстый, сытый
Над мостовой, дождем промытой.
Играет дурень: до-ре-ми!
Дудит над спящими людьми.

Так было и при Гедимине:
Дымился огонек в камине,
И толстый голубь ворковал,
И парень девку целовал.
И дул в трубу дурак упорный,
И та старуха в шали черной
Кормила смирных голубей
Или качала колыбель...

И вправду, много ль мы постигли
С тех пор, когда варился в тигле
Волшебный корень колдуна?
Брела зеленая луна

Над старым университетом,
И, помолясь перед рассветом,
Брела старуха по двору.
А дурень дул: туру-туру!
1963

ФОТОГРАФ-ЛЮБИТЕЛЬ

Фотографирует себя
С девицей, с другом и соседом,
С гармоникой, с велосипедом,
За ужином и за обедом,
Себя — за праздничным столом,
Себя — по окончанье школы,
На фоне дома и стены,
Забора, бора и собора,
Себя — на фоне скакуна,
Царь-пушки, башни, колоннады,
На фоне Пушкина — себя,
На фоне грота и фонтана,
Ворот, гробницы Тамерлана,
В компании и одного —
Себя, себя. А для чего?

Он пишет, бедный человек,
Свою историю простую,
Без замысла, почти впустую
Он запечатлевает век.

А сам живет на фоне звезд.
На фоне снега и дождей,
На фоне слов, на фоне страхов,
На фоне снов, на фоне ахов!
Ах! — миг один, — и нет его.
Запечатлел, потом — истлел
Тот самый, что неприхотливо
Посредством линз и негатива
Познать бессмертье захотел.
А он ведь жил на фоне звезд.
И сам был маленькой вселенной,
Божественной и совершенной!
Одно беда — был слишком прост!
И стал он капелькой дождя...

Кто научил его томиться,
К бессмертью громкому стремиться,
В бессмертье скромное входя?
1963

* * *

Ах, что-нибудь меня погубит —
Вино, стихи иль суета,
И то, что женщина не любит,
И то, что любит, но не та.

Или перед внезапной бездной
Однажды не сдержу коней...
А может быть, совет полезный
Меня убьет всего верней.
1963

ОПРАВДАНИЕ ГАМЛЕТА

Врут про Гамлета,
Что он нерешителен.
Он решителен, груб и умен.
Но когда клинок занесен,
Гамлет медлит быть разрушителем
И глядит в перископ времен.

Не помедлив стреляют злодеи
В сердце Лермонтова или Пушкина.
Не помедлив рубит гвардеец,
Образцовый, шикарный воин.
Не помедлив бьют браконьеры,
Не жалея, что пуля пущена.

Гамлет медлит,
Глаза прищурив
И нацеливая клинок,

Гамлет медлит.
И этот миг
Удивителен и велик.
Миг молчания, страсти и опыта,
Водопада застывшего миг.
Миг всего, что отринуто, проклято.
И всего, что познал и постиг.

Ах, он знает, что там за портьерой,
Ты, Полоний, плоский хитрец.
Гамлет медлит застывшей пантерой,
Ибо знает законы сердец,
Ибо знает причины и следствия,
Видит даль за ударом клинка,

Смерть Офелии, слабую месть ее —
Все, что будет потом.
На века.

Бей же, Гамлет! Бей без промашки!
Не жалей загнивших кровей!
Быть — не быть — лепестки ромашки,
Бить так бить! Бей, не робей!
Не от злобы, не от угару,
Не со страху, унявши дрожь,—
Доверяй своему удару,
Даже
        если
                себя
                        убьешь!

1963

КРАСОТА

Она как скрипка на моем плече.
И я ее, подобно скрипачу,
К себе рукою прижимаю.
И волосы струятся по плечу,
Как музыка немая.

Она как скрипка на моем плече.
Что знает скрипка о высоком пенье?
Что я о ней? Что пламя о свече?
И сам Господь — что знает о творенье?

Ведь высший дар себя не узнает.
А красота превыше дарований —
Она себя являет без стараний
И одарять собой не устает.

Она как скрипка на моем плече.
И очень сложен смысл ее гармоний.
Но внятен всем. И каждого томит.
И для нее никто не посторонний.

И, отрешась от распрей и забот,
Мы слушаем в минуту просветленья
То долгое и медленное пенье
И узнаем в нем высшее значенье,
Которое себя не узнает.
1963

В ДЕРЕВНЕ

В деревне благодарен дому
И благодарен кровле, благодарен печке,
Особенно когда деревья гнутся долу
И ветер гасит звезды, словно свечки.

Сверчку в деревне благодарен,
И фитилю, и керосину.
Особенно когда пурга ударит
Во всю медвежью голосину.

Соседу благодарен и соседке,
Сторожевой собаке.
Особенно когда луна сквозь ветки
Глядит во мраке.

И благодарен верному уму
И доброму письму в деревне...
Любви благодаренье и всему,
Всему — благодаренье!
Не позднее 1964

* * *

Та война, что когда-нибудь будет, —
Не моя это будет война.
Не мою она душу загубит
И не мне принесет ордена.

Я уже не пойму ее целей,
Оправдания ей не найду.
Лишь верхушки простреленных елей
Будут, как в сорок первом году.

Та война, что когда-нибудь грянет,
Не нужна мне. Отвоевал.
И меня уже пуля не ранит,
А, настигнув, убьет наповал.

Но, скорей, не дождусь я и пули,
Потому что не нужен врагу.
Просто в том оглушающем гуле
Я, наверное, жить не смогу.

Та война, что случится не скоро, —
Мне не надо готовиться к ней.
Никогда не приму от каптера
Свежепахнущих, хрустких ремней.

Та война, что меня уничтожит,
Осторожно и тихо идет.
Все сначала она подытожит,
А потом потихоньку убьет.
1964

СВОБОДНЫЙ СТИХ

Профессор Уильям Росс Эшби
Считает мозг негибкой системой.
Профессор, наверное, прав.
Ведь если бы мозг был гибкой системой,
Конечно, он давно бы прогнулся,
Он бы прогнулся, как лист жести, —
От городского гула, от скоростей,
От крика динамиков, от новостей,
От телевидения, от похорон,
От артиллерии, от прений сторон,
От угроз, от ложных учений,
Детективных историй, разоблачений,
Прогресса наук, семейных дрязг,
Отсутствия денег, актерских масок,
Понятия о бесконечности, успеха поэзии,
Законодательства, профессии,
Нового в медицине, неразделенной любви,
Несовершенства.
Но мозг не гибок. И оттого
Стоит, как телеграфный столб,
И только гудит под страшным напором,
И все-таки остается прямым.
Мне хочется верить профессору Эшби
И не хочется верить писателю Кафке.
Пожалуйста, выберите время,
Выключите радио, отоспитесь
И почувствуйте в себе наличие мозга,
Этой мощной и негибкой системы.
1964

ГОЛОСА

Здесь дерево качается: — Прощай! —
Там дом зовет: — Остановись, прохожий! —
Дорога простирается: — Пластай
Меня и по дубленой коже
Моей шагай, топчи меня пятой,
Не верь домам, зовущим поселиться.
Верь дереву и мне. —
А дом: — Постой! —
Дом желтой дверью свищет, как синица.
А дерево опять: — Ступай, ступай,
Не оборачивайся. —
А дорога:
— Топчи пятой, подошвою строгай.
Я пыльная, но я веду до Бога! —
Где пыль, там Бог.
Где Бог, там дух и прах.
А я живу не духом, а соблазном.
А я живу, качаясь в двух мирах,
В борении моем однообразном.
А дерево опять: — Ну, уходи,
Не медли, как любовник надоевший! —
Опять дорога мне: — Не тяготи!
Ступай отсюда, конный или пеший. —
А дом — оконной плачет он слезой.
А дерево опять ко мне с поклоном.
Стою, обвит страстями, как лозой,
Перед дорогой, деревом и домом.
1964

С ЭСТРАДЫ

Вот я перед вами стою. Я один.
Вы ждете какого-то слова и знанья,
А может — забавы. Мол, мы поглядим,
Здесь львиная мощь или прыть обезьянья.

А я перед вами гол как сокол.
И нет у меня ни ключа, ни отмычки.
И нету рецепта от бед и от зол.
Стою перед вами, как в анатомичке.

Учитесь на мне. Изучайте на мне
Свои неудачи, удачи, тревоги.
Ведь мы же не клоуны,
но мы и не боги.
И редко случается быть на коне!

Вот я перед вами стою. Я один.
Не жду одобрения или награды.
Стою у опасного края эстрады,
У края, который непереходим.
1964

СМЕРТЬ ДИРИЖЕРА

Дирижер, дирижер —
Черный фрак,
Командир оркестровых атак,
Альпинист оркестровых высот,
Оркестровых садов садовод,
Оркестровых ручьев
Рыболов,
Как ты властен и большеголов!

Дирижер, дирижер —
Демиург,
Повелитель движений и рук,
Рук, покорно ведущих смычки,
Рук, прижавших фанфары к губам,
Рук, впускающих ветер в орган,
Рук, которые бьют в барабан,
Рук, которые ждут на хорах,
Притаив голубей в рукавах.

Дирижер,
Береги скрипачей,
Трубачей береги, дирижер,
И высокую виолончель,
И кларнет, и корнет, и фагот,
И минор береги, и мажор,
И басы, и звенящую трель,
И смычок береги, и струну —
Дирижер, береги тишину!

Береги тишину, дирижер,
Альпинист оркестровых высот,
Оркестровых коней коновод,
Командир оркестровых атак,
Потому что случается так:
Барабан превратится в набат,
И смычки превратятся в клинки,
И фанфары не в лад вострубят,
Неподвластные взмаху руки,
И внезапно ощерится зал,
Оркестранты покинут места,

И умолкнет музыка твоя,
И тогда загремит пустота —
И последний мучительный жест —
И — ничком — как под поезд — в оркестр!
1964

* * *

Весь лес листвою переполнен,
Он весь кричит: тону! тону!
И мы уже почти не помним,
Каким он был семь дней тому.

Как забывается дурное!
А память о счастливом дне,
Как излученье роковое,
Накапливается во мне.

Накапливается, как стронций
В крови. И жжет меня дотла —
Лицо, улыбка, листья, солнце.
О горе! Я не помню зла!
1964

* * *

Современность, прущая на рожон,
Современность, пахнущая гаражом,
Говорящая в стихах, как лабух,
Современность — достоянье слабых.
Хлесткий дух, Рахметов на пуху.
Говори со мной как на духу.

Современность! Встань на голой сцене,
Выключи юпитеры кино.
Возвратимся вновь к извечной теме
И узнаешь, что тебе дано.
1964

* * *

Пора бы поэзию бросить
И с ней рассчитаться добром,
Итак, в волосах уже проседь
И бес засвербил под ребром.

Пустые все это потуги
Срифмовывать нечет и чет,
Ведь кровь, как вода по Ахтубе,
Все медленней в жилах течет.

И строки забот и несчастий
Вязать все трудней и трудней.
И я высыхаю, как Каспий,
И все становлюсь солоней.

Да здравствует грубая проза,
Свалявшаяся, как пимы,
В предутреннем скрипе мороза
Шершавая обувь зимы.
1964

* * *

Все реже думаю о том,
Кому понравлюсь, как понравлюсь.
Все чаще думаю о том,
Куда пойду, куда направлюсь.

Пусть те, кто каменно-тверды,
Своим всезнанием гордятся.
Стою. Потеряны следы.
Куда пойти? Куда податься?

Где путь меж добротой и злобой?
И где граничат свет и тьма?
И где он, этот мир особый
Успокоенья и ума?

Когда обманчивая внешность
Обескураживает всех,
Где эти мужество и нежность,
Вернейшие из наших вех?

И нет священной злобы, нет,
Не может быть священной злоба.
Зачем, губительный стилет,
Тебе уподобляют слово!

Кто прикасается к словам,
Не должен прикасаться к стали.
На верность добрым божествам
Не надо клясться на кинжале!

Отдай кинжал тому, кто слаб,
Чье слово лживо или слабо.
У нас иной и лад, и склад.
И все. И большего не надо.
1964

ПОЗДНЕЕ ЛЕТО

Вы меня берегите, подмосковные срубы,
Деревянные ульи медового лета.
Я люблю этих сосен гудящие струны
И парного тумана душистое млеко.

Чем унять теребящую горечь рябины,
Этот вяжущий вкус предосеннего сока?
И смородинных листьев непреоборимый
Запах? Чувствуют — им увядать недалеко.

Промелькнет паутинка, как первая проседь,
Прокричит на сосне одинокая птица.
И пора уже прозу презренную бросить,
Заодно от поэзии освободиться.
1964

МОРЕ

Сначала только пальцем
Покатывало гальку
И плотно, словно панцирь,
Полнеба облегало.

Потом луна в барашках
Сверкала белым кварцем.
Потом пошло качаться.
И наконец взыграло.

Когда взыграло море,
Душа возликовала,
Душа возликовала
И неба захотела,
И захотела ветра,
И грома, и обвала.
А чем она владела —
Того ей было мало!..
1964

ПЕРЕД СНЕГОМ

И начинает уставать вода.
И это означает близость снега.
Вода устала быть ручьями, быть дождем,
По корню подниматься, падать с неба.
Вода устала петь, устала течь,
Сиять, струиться и переливаться.
Ей хочется утратить речь, залечь
И там, где залегла, там оставаться.

Под низким небом, тяжелей свинца,
Усталая вода сияет тускло.
Она устала быть самой собой.
Но предстоит еще утратить чувства,
Но предстоит еще заледенеть
И уж не петь, а, как броня, звенеть.

Ну а покуда в мире тишина.
Торчат кустов безлиственные прутья.
Распутица кончается. Распутья
Подмерзли. Но земля еще черна.
Вот-вот повалит первый снег.
1964

ПАМЯТЬ

Е. Л.

Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.

И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.

Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
1964

* * *

Я переполненный тобой
Всю ночь хотел бродить у моря,
Где берега громил прибой,
Моим воспоминаньям вторя.

Его огромную игру
Я понимал наполовину...
Люби меня, не то умру,
Люби меня, не то я сгину.
1964

* * *

Казните ангела, художник,
Убейте голубя, поэт!
Не надо вам кумиров ложных,
Ну а иных кумиров нет!

В вину вам это не вменяют —
Бей по друзьям, как по врагам.
И ангел крылышки роняет,
И голубь падает к ногам.

Ах, сколько нас, неосторожных,
Перемешавших тьму и свет.
Казните ангела, художник,
Убейте голубя, поэт!
1964

* * *

Не хочется идти в журнал,
Жаль расставаться со стихами,
Чтоб их редактор обминал
И цензор мучил пустяками.

Но разве их упрячешь в стол,
Как первых детских кудрей прядку,
Когда своей иглой глагол
Прошил заветную тетрадку.
1964

ПОДРОСТОК

Подросток! Как по нежному лекалу
Прочерчен шеи робкий поворот.
И первому чекану и закалу
Еще подвергнут не был этот рот.

В ней красота не обрела решенья,
А истина не отлилась в слова.
В ней лишь мольба, и дар, и приношенье.
И утра свет. И неба синева.
1964

КОНЕЦ ПУГАЧЕВА

Вьются тучи, как знамена,
Небо — цвета кумача.
Мчится конная колонна
Бить Емельку Пугача.

А Емелька, царь Емелька,
Страхолюдина-бандит,
Бородатый, пьяный в стельку,
В чистой горнице сидит.

Говорит: «У всех достану
Требушину из пупа.
Одного губить не стану
Православного попа.

Ну-ка, батя, сядь-ка в хате,
Кружку браги раздави.
И мои степные рати
В правый бой благослови...»

Поп ему: «Послушай, сыне!
По степям копытный звон.
Слушай, сыне, ты отныне
На погибель обречен...»

Как поднялся царь Емеля:
«Гей вы, бражники-друзья!
Или силой оскудели,
Мои князи и графья?»

Как он гаркнул: «Где вы, князи?!»
Как ударил кулаком,
Конь всхрапнул у коновязи
Под ковровым черпаком.

Как прощался он с Устиньей,
Как коснулся алых губ,
Разорвал он ворот синий
И заплакал, душегуб.

«Ты зови меня Емелькой,
Не зови меня Петром.
Был, мужик, я птахой мелкой,
Возмечтал парить орлом.

Предадут меня сегодня,
Слава Богу — предадут.
Быть (на это власть Господня!)
Государем не дадут...»

Как его бояре встали
От тесового стола.
«Ну, вяжи его, — сказали, —
Снова наша не взяла».
1964

Благодарите судьбу, поэты...

1965—1975

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Только тебе

1

Таллин — тайное обиталище,
Год сегодняшний, год вчерашний.
Снег летящий, медленно тающий
Над деревьями и над башней.

Таллин — временное прибежище,
Молчаливый и стерегущий.
День, за окнами тихо брезжущий,
День прошедший и день грядущий.

Таллин — тайное обиталище,
Год минувший и год пришедший.
Поезд, медленно подъезжающий,
Поезд, медленно отошедший.

Таллин — временное прибежище,
Сонный снег, смежающий веки...
Вопрошающий: где же? Где ж еще?
Неужели — совсем? Навеки?

2

Похожи — стремленьем к разлукам,
Бессильем и силой похожи.
Сердечным разбуженный стуком,
О Боже, твержу я, о Боже!

Как странно и как совершенно
С тобою мы созданы оба.
Прошедшее наше — блаженно,
Блаженно, а может — убого?

В том парке, что черным на белом —
Углем на снегу нарисован,
А может — на грифеле мелом,
На белой бумаге — свинцовым, —

В том парке, который впечатан
В меня узловатым офортом,
В том городе узком, стрельчатом
И оловом серым натертом,

В том городе — только прощанье
И запах горючего сланца.
Счастливы мы или печальны?
Как знать? И откуда дознаться?
1965

* * *

Вновь стою пред лицом событий,
Перед морем, сушей и твердью,
Целый день, как гений в зените,
Полон пламени и бессмертья.

Потому что чувства бессмертны,
И когда истлевают цели,
Стая чувств, шумна и несметна,
Как в скале, гнездуется в теле.
1965

НАЗВАНЬЯ ЗИМ

У зим бывают имена.
Одна из них звалась Наталья.
И было в ней мерцанье, тайна,
И холод, и голубизна.

Еленою звалась зима,
И Марфою, и Катериной.
И я порою зимней, длинной
Влюблялся и сходил с ума.

И были дни, и падал снег,
Как теплый пух зимы туманной...
А эту зиму звали Анной,
Она была прекрасней всех.
1965

* * *

Не надо спать, не надо глаз смыкать,
Отсутствовать при этакой погоде,
Когда кругом такая благодать —
Во мне самом, а может быть, в природе.

Нет зла. Есть снег и солнце. Ты и я.
Коварства нет. Есть дом с надежной дверью.
Есть белизна постели. Нет вранья.
Есть ты и я. И снег. И нет неверья.

Есть ты и я. И снег. И лес. И дом.
Дорога. Сани. Белизна постели.
Печные трубы. Реки подо льдом.
Колодцы. Шубы. Нежные метели.

И валенки. И круглые следы.
И псы. И кони. Избы. И деревья.
Есть ты и я. И сны. И нет вражды.
Нет зла. Коварства нет. И нет неверья.
1965

* * *

Вода моя! Где тайники твои,
Где ледники, где глубина подвала?
Струи ручья всю ночь, как соловьи,
Рокочут в темной чаще краснотала.

Ах, утоли меня, вода ручья,
Кинь в губы мне семь звезд, семь терпких ягод,
Кинь, в краснотале черном рокоча,
Семь звезд, что предо мной созвездьем лягут.

Я притаюсь, притихну, как стрелок,
Боящийся спугнуть семью оленей.
Ручей лизнет мне руку, как телок,
И притулится у моих коленей.
1965

ПЕСТЕЛЬ, ПОЭТ И АННА

Там Анна пела с самого утра
И что-то шила или вышивала.
И песня, долетая со двора,
Ему невольно сердце волновала.

А Пестель думал: «Ах, как он рассеян!
Как на иголках! Мог бы хоть присесть!
Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.
И молод. И не станет фарисеем».
Он думал: «И, конечно, расцветет
Его талант, при должном направленье,
Когда себе Россия обретет
Свободу и достойное правленье».
— Позвольте мне чубук, я закурю.
— Пожалуйте огня.
— Благодарю.

А Пушкин думал: «Он весьма умен
И крепок духом. Видно, метит в Бруты.
Но времена для Брутов слишком круты.
И не из Брутов ли Наполеон?»

Шел разговор о равенстве сословий.
— Как всех равнять? Народы так бедны, —
Заметил Пушкин, — что и в наши дни
Для равенства достойных нет условий.
И посему дворянства назначенье —
Хранить народа честь и просвещенье.
— О да, — ответил Пестель, — если трон
Находится в стране в руках деспота,
Тогда дворянства первая забота
Сменить основы власти и закон.
— Увы, — ответил Пушкин, — тех основ
Не пожалеет разве Пугачев...
— Мужицкий бунт бессмыслен... —
За окном
Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдавана
Бараньей шкурой, хлевом и вином.

День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется.
А Пушкин думал: «Анна! Боже мой!»

— Но, не борясь, мы потакаем злу, —
Заметил Пестель, — бережем тиранство.
— Ах, русское тиранство — дилетантство,
Я бы учил тиранов ремеслу, —
Ответил Пушкин.
«Что за резвый ум, —
Подумал Пестель, — столько наблюдений
И мало основательных идей».
— Но тупость рабства сокрушает гений!
— В политике кто гений — тот злодей, —
Ответил Пушкин.
Впрочем, разговор
Был славный. Говорили о Ликурге,
И о Солоне, и о Петербурге,
И что Россия рвется на простор.
Об Азии, Кавказе, и о Данте,
И о движенье князя Ипсиланти.

Заговорили о любви.
— Она, —
Заметил Пушкин, — с вашей точки зренья
Полезна лишь для граждан умноженья
И, значит, тоже в рамки введена. —
Тут Пестель улыбнулся.
— Я душой
Матерьялист, но протестует разум. —
С улыбкой он казался светлоглазым.
И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!»

Они простились. Пестель уходил
По улице разъезженной и грязной,
И Александр, разнеженный и праздный,
Рассеянно в окно за ним следил.
Шел русский Брут. Глядел вослед ему
Российский гений с грустью без причины.

Деревья, как зеленые кувшины,
Хранили утра хлад и синеву.
Он эту фразу записал в дневник —
О разуме и сердце. Лоб наморщив,
Сказал себе: «Он тоже заговорщик.
И некуда податься, кроме них».

В соседний двор вползла каруца цугом,
Залаял пес. На воздухе упругом
Качались ветки, полные листвой.
Стоял апрель. И жизнь была желанна.
Он вновь услышал — распевает Анна.
И задохнулся:
«Анна! Боже мой!»
1965

* * *

И всех, кого любил,
Я разлюбить уже не в силах!
А легкая любовь
Вдруг тяжелеет
И опускается на дно.

И там, на дне души, загустевает,
Как в погребе зарытое вино.

Не смей, не смей из глуби доставать
Все то, что там скопилось и окрепло!
Пускай хранится глухо, немо, слепо,
Пускай! А если вырвется из склепа,
Я предпочел бы не существовать,
Не быть...
1965

ЧИТАЯ ФАНТАСТА

С. Л.

Что, если море — мыслящее существо,
А волны — это мысли моря,
И зыбкое зеленое стекло
Подвижная пронизывает воля?

Тогда мне страшен мудрый океан
И буйное его воображенье.
И что такое лютня, и кимвал,
И стон, и необузданное пенье?

Как страшно быть смятением земли,
Быть мозгом всеобъемлющим и диким,
Топить в себе мечты и корабли —
Быть океаном — Тихим и Великим!
1965

НЕОРЕАЛИЗМ

Жизнь одинокого мужчины,
Интеллигентного таксиста,
Как будто из кинокартины
Во вкусе неореалиста.

Осенний вечер. Час десятый.
От фонарей не много свету.
Закуривает сигарету,
Достав ее из пачки мятой.

Подкидывает на ладони
На счастье мелкую монету.
Поднявши воротник болоньи,
Закуривает сигарету.

Заходит в бар. Берет газету
И улыбается скрипачке.
Закуривает сигарету,
Достав ее из мятой пачки.

Он пьет, чего-то ожидает,
Глядит с улыбкой виноватой.
И сигарету зажигает,
Достав ее из пачки мятой.

Вновь выпивает напоследок.
Сереет. Близится к рассвету.
— Ну что же, можно жить и эдак! —
Закуривает сигарету.
1965

ЗИМА НАСТАЛА

В первую неделю
Остекленели
Глаза воды.
Во вторую неделю
Закоченели
Плечи земли.

В третью неделю
Загудели
Метели
Зимы.

В первую неделю
Я духом пал.
Во вторую неделю
Я чуда ждал.
А в третью неделю,
Как снег упал,
Хорошо мне стало.
Зима настала.
1965

* * *

В огромном разобщении людей
Одна любовь кричит о единенье,
И потому благодаренье ей!
Благодаренье ей! Благодаренье!

Мы — бедные земные существа,
Нас разделяют классы, расы, мненья,
За то, что возвращает нам права,
Благодаренье ей! Благодаренье!

Пусть робкая — пускай на миг, на час,
До первых слов, до первого сомненья,
За то, что не разъединяет нас —
Благодаренье ей, благодаренье.

Так волю убегающих планет
Всемирное смиряет тяготенье.
За то, что дарит нам блаженный свет —
Благодаренье ей, благодаренье!
1965

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Раньше нужно было умирать
Постепенно или лучше — сразу.
А теперь — существовать, желать,
Изживать погибель как заразу.

Думать и про это, и про то,
Вновь плутать среди проблем нелегких,
Осторожно кутаться в пальто
И прислушиваться к хрипу легких.

Слушать все, всему внимать,
Натыкаться, как на острый бивень.
А тогда мне — ни жена, ни мать,
Ничего, никто — одна погибель.

Я смирился было. Я постиг,
Что не страшно перевоплощенье.
Я руками слабыми настиг
Всеприятие и всепрощенье.

А теперь сначала. Каждый грамм
Погружать в себя, пока не станет тонна.
Стать опять помостками для драм,
Облегчения не ждать от стона.

И опять понять, что я —
Продолжающееся явленье.
Непосилен груз выздоровленья,
Непосильно счастье бытия.
1965

СИГЛИГЕТ

В той Венгрии, куда мое везенье
Меня так осторожно привело,
Чтоб я забыл на время угрызенья
И мною совершаемое зло,

В том Сиглигете возле Балатона,
В том парке, огороженном стеной,
Где горлинки воркуют монотонно, —
Мое смятенье спорит с тишиной.

Мне кажется, что вы — оживший образ
Той тишины, что вы ее родня.
Не потому ли каждая подробность,
Любое слово мучают меня.

И даже, может быть, разноязычье
Не угнетает в этой тишине,
Ведь не людская речь, а пенье птичье
Нужней сегодня было вам и мне.
1965

В ОБЩЕЖИТИИ СЛЕПЫХ

В общежитии поют разноголосо,
Но не зажигают свет.
В общежитии слепых поют «Бандьера росса»,
Но не знают, что такое цвет.

А лицо слепое ввысь воздето,
И поют, припав лицом к клюке.
Вероятно, есть идея цвета,
Даже если света нет в зрачке.

Вероятно, есть идея взлета
Даже у прикованных к земле.
Вероятно, есть на свете что-то,
Повествующее о добре и зле.

Даже у незрячих от рожденья,
Тех, кого обидела судьба,
Вероятно, есть идея зренья,
Как идея воли — у раба.
1965

* * *

Ю. Л.

Есть мера чувств и действий мера
У пользующихся умело
Жестоким опытом своим.
Без этой меры мир — химера
И смысл его неуловим.

В любом клубке противоречий,
Где страсти затемняют суть,
Усердный опыт человечий
Себе прокладывает путь.

И надо лишь в цепи сомненья
Разбить всего одно звено.
Тогда падут другие звенья.
Но это требует уменья
С долготерпеньем заодно.

И ты снимай с себя заклятья,
И ты сверяй свои понятья
С жестоким опытом своим.
Иначе мы не устоим.
Середина 1960-х

РЯБИНА

Так бы длинно думать,
Как гуси летят.
Так бы длинно верить,
Как листья шелестят.
Так бы длинно любить,
Как реки текут...
Руки так заломить,
Как рябиновый куст.
1966

* * *

Химера самосохраненья!
О, разве можно сохранить
Невыветренными каменья
И незапутанною нить!

Но ежели по чьей-то воле
Убережешься ты один
От ярости и алкоголя,
Рождающих холестерин;

От совести, от никотина,
От каверзы и от ружья, —
Ведь все равно невозвратима
Незамутненность бытия.

Но есть возвышенная старость,
Что грозно вызревает в нас,
И всю накопленную ярость
Приберегает про запас,

Что ждет назначенного срока
И вдруг отбрасывает щит.
И тычет в нас перстом пророка,
И хриплым голосом кричит.
1966

* * *

Снег сухой, как зубной порошок,
Он не с неба падает, а с веток.
Написать бы об этом стишок...
То ли так написать, то ли эдак.

Старый тополь стоит, как шандал,
Угасая на зимнем рассвете.
И об этом бы я написал...
С тем сравнил бы, а может, и с этим.

Избы из-под угрюмых чепцов
Смотрят в бледные зарева стужи.
И об этом в конце концов
Написал бы я лучше иль хуже...

Не тащите предметы в стихи,
Не ломайте, поэты, предметы,
Не расходуйте на пустяки,
Не растрачивайте на приметы!

Снег сухой, или тополь прямой,
Или бледные зарева стужи —
Это признаки жизни самой,
А не прихоти рифмы досужей.

Если снег запоет в тополях,
Если звонкая стужа ударит
И метель в подмосковных полях
Белый пчельник бесшумно заварит —

Значит, что-то свершается в нас,
В атмосфере души и в природе.
И летит, ошарашен, Парнас,
Подчиняясь земной непогоде.
1966

* * *

Получил письмо издалека,
Гордое, безумное и женское.
Но пока оно свершало шествие,
Между нами пролегли века.

Выросли деревья, смолкли речи,
Отгремели времена.
Но опять прошу я издалече:
Анна! Защити меня!

Реки утекли, умчались птицы,
Заросли дороги. Свет погас.
Но тебе порой мой голос снится:
Анна! Защити обоих нас!
1966

* * *

Расставанье,
Век спустя после прощанья,
Ты звучишь во мне, как длинное стенанье,
Как стенанье ветра за стеной.
Расставанье,
Мне уже не нужное,
Стонешь ты, как женщина недужная,
Где-то за туманной пеленой.

Пробуждаюсь.
Вместе с пробужденьем
Оборвался звук. Но странным пеньем
Я разбужен был. Так где оно?
Я однажды в детстве слышал это:

Женский вопль далеко до рассвета,
Замиравший медленно вдали.
Мне казалось — это похищенье
Женщины. Куда ее влекли?

Так со мной бывает спозаранок,
Когда что-то нарушает сон.
Слышу похищенье сабинянок —
Длинный, удаляющийся стон.
1966

ДВОР МОЕГО ДЕТСТВА

Еще я помню уличных гимнастов,
Шарманщиков, медведей и цыган,
И помню развеселый балаган
Петрушек голосистых и носастых.
У нас был двор квадратный. А над ним
Висело небо — в тучах или звездах.
В сарае у матрасника на козлах
Вились пружины, как железный дым.
Ириски продавали нам с лотка.
И жизнь была приятна и сладка...
И в той Москве, которой нет почти
И от которой лишь осталось чувство,
Про бедность и величие искусства
Я узнавал, наверно, лет с пяти.

Я б вас позвал с собой в мой старый дом...
(Шарманщики, петрушка — что за чудо!)
Но как припомню долгий путь оттуда —
Не надо! Нет!.. Уж лучше не пойдем!..
1966

* * *

Будь счастлив, сын, мечтой о лете
В дни снегопада, в феврале,
Покуда снег, как лебедь к Леде,
Слетает медленно к земле.

Будь счастлив, сын, мечтой о юге,
В час серой скуки зимним днем,
Когда туман бинтует руки
Садов белесым полотном.

Будь счастлив, сын, мечтой о море
В глуши февральского житья,
Где сгинут снег, туман и горе
И будет море, ты и я.
1966

ВЕТРЕНЫЙ ВЕЧЕР

Взлетает пернатая птица,
И ветер пернатый щебечет,
Пернатое дерево мчится
И перья горючие мечет.

И ветер снимается с места
И наискось мчит к небосклону.
Как огненный кочет с насеста,
Слетают багряные клены.

Слетают багровые тучи,
Взлетают лиловые дымы.
Предметы легки и летучи,
Свистящи и неудержимы.

Наверное это везенье
Однажды от спячки проснуться,
Увидеть основ потрясенье,
В него с головой окунуться.
1966

* * *

Пью водку под хрустящую капустку.
В окне луна. Снаружи слышен хруст
Задумчивых шагов по первопутку.
Все это вместе навевает грусть.

Пью. Наливаю. По второй, по третьей.
Шаги затихли. Вечер снова тих.
И опыт четырех десятилетий
Понуро и печально входит в стих.

Я понимаю, если бы не юмор,
Зарезаться бы надо огурцом.
Но если вышло так, что ты не умер —
Сиди и пей с потерянным лицом.

Пью. Наливаю. Пятую. Шестую.
Закусываю, глядя на луну.
И все живу. И все же существую.
А хорошо бы снова на войну.
1966

СМЕРТЬ ПОЭТА

Что ж ты заводишь
Песню военну,
Флейте подобно,
Милый снегирь?
Державин

Я не знал в этот вечер в деревне,
Об успении Анны Андревны,
Но меня одолела тоска.
Деревянные дудки скворешен
Распевали. И месяц навешен
Был на голые ветки леска.

Провода электрички чертили
В небесах невесомые кубы.
А ее уже славой почтили
Не колонные залы и клубы,
А лесов деревянные трубы,
Деревянные дудки скворешен.
Потому я и был безутешен,
Хоть в тот вечер не думал о ней.

Это было предчувствием боли,
Как бывает у птиц и зверей.

Просыревшей тропинкою в поле,
Меж сугробами, в странном уборе
Шла старуха всех смертных старей.
Шла старуха в каком-то капоте,
Что свисал, как два ветхих крыла.
Я спросил ее: «Как вы живете?»
А она мне: «Уже отжила...»

В этот вечер ветрами отпето
Было дивное дело поэта.
И мне чудилось пенье и звон.
В этот вечер мне чудились в лесе
Красота похоронных процессий
И торжественный шум похорон.

С Шереметьевского аэродрома
Доносилось подобие грома.
Рядом пели деревья земли:
«Мы ее берегли от удачи,
От успеха, богатства и славы,
Мы, земные деревья и травы,
От всего мы ее берегли».

И не ведал я, было ли это
Отпеванием времени года,
Воспеваньем страны и народа
Или просто кончиной поэта.
Ведь еще не успели стихи,
Те, которыми нас одаряли,
Стать гневливой волною в Дарьяле
Или ветром в молдавской степи.

Стать туманом, птицей, звездою,
Иль в степи полосатой верстою
Суждено не любому из нас.
Стихотворства тяжелое бремя
Прославляет стоустое время.
Но за это почтут не сейчас.

Ведь она за свое воплощенье
В снегиря царскосельского сада
Десять раз заплатила сполна.

Ведь за это пройти было надо
Все ступени беззвучного ада,
Чтоб себя превратить в певуна.

Все на свете рождается в муке —
И деревья, и птицы, и звуки.
И Кавказ. И Урал. И Сибирь.
И поэта смежаются веки.
И еще не очнулся на ветке
Зоревой царскосельский снегирь.
1966

* * *

Была туманная луна,
И были нежные березы...
О март-апрель, какие слезы!
Во сне какие имена!

Туман весны, туман страстей,
Рассудка тайные угрозы...
О март-апрель, какие слезы —
Спросонья, словно у детей!..

Как корочку, хрустящий след
Жуют рассветные морозы...
О март-апрель, какие слезы —
Причины и названья нет!

Вдали, за гранью голубой,
Гудят в тумане тепловозы...
О март-апрель, какие слезы!
О чем ты плачешь? Бог с тобой!
1966

В Ы Е З Д

Помню — папа еще молодой.
Помню выезд, какие-то сборы.
И извозчик — лихой, завитой.
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.

А в Москве — допотопный трамвай,
Где прицепом старинная конка.
А над Екатерининским — грай.
Все впечаталось в память ребенка.

Помню — мама еще молода,
Улыбается нашим соседям.
И куда-то мы едем. Куда?
Ах, куда-то, зачем-то мы едем!

А Москва высока и светла.
Суматоха Охотного ряда.
А потом — купола, купола.
И мы едем, все едем куда-то.

Звонко цокает кованый конь
О булыжник в каком-то проезде.
Куполов угасает огонь,
Зажигаются свечи созвездий,

Папа молод. И мать молода.
Конь горяч. И пролетка крылата.
И мы едем, незнамо куда, —
Все мы едем и едем куда-то.
1966

ПРЕДМЕСТЬЕ

Там наконец, как пуля из ствола,
Поезд метро вылетает из-под земли.
И вся округа наклонена.

Там дивная церковь,
Оранжевая с белым,
Слегка накренясь, как в танце на льду,
Медленно откатывается вбок.

Там, в поредевших рощах,
Белые дома —
Макеты рационального воображения.
Но земля не занята городом.

Там воздух лиственен.
Там иволга садится на балкон.

Там балконные двери —
Летки человеческого пчельника.
Вечером светятся окна
Пузырьками искусственных сотов.

Там ветер намывает флаг,
И свежее полотнище, пахнущее арбузом,
Хлобыщет небо.
1966

НА ДУНАЕ

О, краткое очарованье
Плывущих мимо кораблей!
А после разочарованье
От бронзы бывших королей.

Сидят державные солдаты,
Как задремавшие орлы.
А корабли плывут куда-то,
Как освещенные балы.

Здесь варвары на земли Рима
Запечатлели свой набег.
Но все равно — плывущий мимо
Прекрасней ставшего на брег.
1966

МАРИИ

М. К.

Прекрасно рисует Мария,
Особенно белку и лиса,
Особенно птицу и рыбу,
Особенно листья и лица.

Хотел бы и я поселиться
В том маленьком мире Марии,
Где славные звери такие,
Такие хорошие листья,
Такие хорошие лица!
1966

СОЛОВЬИ ИЛЬДЕФОНСА-КОНСТАНТЫ

Ильдефонс-Константы Галчинский дирижирует соловьями:
Пиано, пианиссимо, форте, аллегро, престо!
Время действия — ночь. Она же и место.
Сосны вплывают в небо романтическими кораблями.

Ильдефонс играет на скрипке, потом на гитаре,
И снова на скрипке играет Ильдефонс-Константы Галчинский.
Ночь соловьиную трель прокатывает в гортани.
В честь прекрасной Натальи соловьи поют по-грузински.

Начинается бог знает что: хиромантия, волхованье!
Зачарованы люди, кони, звезды. Даже редактор,
Хлюпая носом, платок нашаривает в кармане,
Потому что еще никогда не встречался с подобным фактом.

Плачет редактор. За ним расплакался цензор.
Плачет директор издательства и все его консультанты.
«Зачем я его правил! Зачем я его резал!
Что он делает с нами! Ах, Ильдефонс-Константы!»

Константы их утешает: «Ну что распустили нюни!
Ничего не случилось. И вообще ничего не случится!
Просто бушуют в кустах соловьи в начале июня.
Как они чисто поют! Послушайте: ах, как чисто!»

Ильдефонс забирает гитару, обнимает Наталью,
И уходит сквозь сиреневый куст, и про себя судачит:
«Это все соловьи. Вишь, какие канальи!
Плачут, черт побери. Хотят — не хотят, а плачут!..»
1966

ТАЛЛИНСКАЯ ПЕСЕНКА

Хорошо уехать в Таллин,
Что уже снежком завален
И уже зимой застелен.
И увидеть Элен с Яном,
Да, увидеть Яна с Элен.

Мне ведь многого не надо,
Мой приезд почти бесцелен:
Побродить по ресторанам,
Постоять под снегопадом
И увидеть Яна с Элен,
Да, увидеть Элен с Яном,

И прислушаться к метелям,
Что шуруют о фрамугу,
И увидеть: Ян и Элен,
Да, увидеть — Ян и Элен
Улыбаются друг другу.

А однажды, утром рано,
Вдруг отъехать от перрона
Прямо в сторону бурана,
Где уже не будет Элен,
Где уже не будет Яна.
Да, ни Элен и ни Яна...
1966 или 1967

НОЧНОЙ СТОРОЖ

В турбазе, недалеко от Тапы,
Был необычный ночной сторож.
Говорили, что ночью он пишет ноты
И в котельной играет на гобое.
Однажды мы с ним разговорились
О Глюке, о Моцарте и о Гайдне.
Сторож достал небольшой футлярчик
И показал мне гобой.
Гобой лежал, погруженный в бархат,
Разъятый на три неравные части,
Черный, лоснящийся и холеный,
Как вороные в серебряной сбруе.
Сторож соединил трубки,
И черное дерево инструмента
Отозвалось камергерскому блеску
Серебряных клапанов и регистров.
Я попросил сыграть. И сторож
Выдул с легкостью стеклодува
Несколько негромких пассажей...
Потом он встал в концертную позу
И заиграл легко, как маэстро,
Начало моцартовского квартета.
Но вдруг гобой задохнулся и пискнул.
И сторож небрежно сказал: «Довольно!»

Он не мог играть на гобое,
Потому что нутро у него отбито
И легкие обожжены Сибирью.
Он отдышался и закурил...
Вот почему ночной сторож
Играет по ночам в котельной,
А не в каком-нибудь скромном джазе
Где-нибудь в загородном ресторане.

Благодарите судьбу, поэты,
За то, что вам не нужно легких,
Чтоб дуть в мундштук гобоя и флейты,
Что вам не нужно беглости пальцев,
Чтоб не спотыкаться на фортепиано,
Что вам почти ничего не нужно, —
А все, что нужно,
Всегда при вас.
1966— 1967

* * *

Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.
1967

* * *

Играет март на скрипочке,
Не хочет замолчать:
— Ошибочки, ошибочки
Положено прощать.
Простите нам ошибочки,
Как мы прощали вам,
И выпьемте наливочки
За дружбу по сто грамм.

Простите нам трюкачество,
Картинки и стишки.
А мы простим палачества
И прочие грешки.
1966—1967

* * *

Надо жить не от года к году,
Не из месяца в месяц,
А день ото дня,
Переменчивую погоду
Не оспаривая, не браня.

Ведь грядущее невыносимо
Тем, кто так уповал на него.
И уже добровольная схима
Не упрячет нас под крыло.
1967

* * *

Был ливень. И вызвездил крону.
А по иссякании вод,
Подобно огромному клену,
Вверху замерцал небосвод.

Вкруг дерева ночи чернейшей
Легла золотая стезя.
И — молнии в мокрой черешне —
Глаза.
1967

РОЖДЕСТВО АЛЕКСАНДРА БЛОКА

В тумане старые дворцы
Хирели,
Красногвардейские костры
Горели.
Он вновь увидел на мосту
И ангела, и высоту.
Он вновь услышал чистоту
Свирели.

Не музыка военных флейт,
Не звездный отблеск эполет,
Не падший ангел, в кабарет
Влетевший — сбросить перья...
Он видел ангела, звезду,
Он слышал флейту, и на льду
Невы он видел полынью
Рождественской купелью.

Да, странным было для него
То ледяное рождество,
Когда солдатские костры
Всю ночь во тьме не гасли.
Он не хотел ни слов, ни встреч,
Немела речь,
Не грела печь,
Студеный ветер продувал
Евангельские ясли.

Волхвы, забившись в закутки,
Сидели, кутаясь в платки, —
Пережидали хаос.

И взглядывали из-за штор,
Как полыхал ночной костер,
Как пламя колыхалось.

«Волхвы! Я понимаю вас,
Как трудно в этот грозный час
Хранить свои богатства,
Когда веселый бунтовщик
К вам в двери всовывает штык
Во имя власти и земли,
Республики и братства.

Дары искусства и наук,
Сибирских руд, сердечных мук,
Ума и совести недуг —
Вы этим всем владели.
Но это все не навсегда.
Есть только ангел и звезда,
Пустые ясли и напев
Той, ледяной свирели.

Увы! Мы были хороши,
Когда свершался бунт души,
Росли богатства духа.
Сегодня нам отдать их жаль,
Когда возмездья просит сталь
И выстрел ветреную даль
Простегивает глухо!»

Да, странным было для него
То ледяное рождество
Семнадцатого года.

Он шел и что-то вспоминал,
А ветер на мосту стенал,
И ангел в небе распевал:
«Да здравствует свобода!»

У моста грелись мужики,
Веселые бунтовщики.
Их тени были велики.
И уходили патрули
Вершить большое дело.
Звезда сияла. И во мгле
Вдали тревогу пел сигнал.
А рядом «Интернационал»
Свирель тревожно пела.

Шагал патруль. Вот так же шли
В ту ночь седые пастухи
За ангелом и за звездой,
Твердя чужое имя.
Да, странным было для него
То ледяное рождество,
Когда солому ветер греб
Над яслями пустыми.

Полз броневик. Потом солдат
Угрюмо спрашивал мандат.
Куда-то прошагал отряд.
В котле еда дымилась.
На город с юга шла метель.
Замолкли ангел и свирель.
Снег запорошивал купель.
Потом звезда затмилась...
1967

* * *

Дай выстрадать стихотворенье!
Дай вышагать его! Потом,
Как потрясенное растенье,
Я буду шелестеть листом.

Я только завтра буду мастер
И только завтра я пойму,
Какое привалило счастье
Глупцу, шуту, бог весть кому, —

Большую повесть поколенья
Шептать, нащупывая звук,
Шептать, дрожа от изумленья
И слезы слизывая с губ.
1967

* * *

Был вечер, полный отвращенья,
Где в пустоту лилось вино,
Слова, лишенные значенья,
Плели мы, как заведено.

Светало. И хозяин дома,
Честолюбивый старый шут,
Нас вывел в город незнакомый
Под купол неба, как на суд.

Плелись мы улочкою странной —
Сады и нет почти жилья,
И вдруг во тьме, как дар нежданный,
Раздался голос соловья.

В нем только страсть. В нем нет
порыва,
В нем только суть, в нем только страсть,
Но этот голос нам на диво
В ту ночь не дал нам запропасть.

Та ночь была началом ритма,
Началом Анны и любви
И выходом из лабиринта,
Нить Ариадны — соловьи.

Зачем, зачем в ту ночь святую
Я не поверил, что спасен,
Что полюбил, что существую,
Что жив, что это все не сон.

Был день рожденья, поезд, розы,
И страх — она не та, не та...
И снова ритм вагонной прозы:
Та-та, та-та, та-та, та-та.

А после — жар, подстать простуде,
Озноб, недомоганье, дрожь...
И вот вокруг — чужие люди
И Анны больше не найдешь...

И все уже невозвратимо.
Нет Анны и ушли года.
Чужие руки... Запах дыма...
Какая жизнь!.. Беда! Беда!
1967

СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Вот сюда везли жандармы
Тело Пушкина. (О, милость
Государя!) Чтоб скорей,
Чтоб скорей соединилось
Тело Пушкина с душой
И навек угомонилось.

Здесь, совсем недалеко
От Михайловского сада,
Мертвым быть ему легко,
Ибо жить нигде не надо.
Слава Богу, что конец
Императорской приязни
И что можно без боязни
Ждать иных, грядущих дней.
Здесь, совсем недалеко
От Михайловского дома,
Знать, что время невесомо,
А земля всего родней, —
Здесь, совсем невдалеке
От заснеженной поляны,
От Тригорского и Анны,
От мгновенья Анны Керн;
Здесь — на шаг от злой судьбы,
От легенд о счастье мнимом,
И от кухни, полной дымом,
И от девичьей избы.

Ах, он мыслил об ином,
И тесна казалась клетка...
Смерть! Одна ты домоседка
Со своим веретеном!

Вот сюда везли жандармы
Тело Пушкина... Ну что ж!
Пусть нам служит утешеньем
После выплывшая ложь,
Что его пленяла ширь,
Что изгнанье не томило...
Здесь опала. Здесь могила.
Святогорский монастырь.
1967—1968

ТАЙНЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Вот мое милое дело,
Мой дом, мой замок...
Месяц белее мела
В оконных рамах.

Значит, довольно поздно.
Задвину шторку.
День отдается прозе.
А ночь — восторгу.

Я летописец тайный,
Судья, присяжный,
Следователь чрезвычайный,
Истец отважный.

Месяц белее мела
В оконных рамах.
Вот мое милое дело —
Писать о драмах.

Я недобитый Нестор,
Трусливый Пимен.
Пусть мы сейчас безвестны,
Но мы не сгинем.

Нас миновала плаха
Истины ради.
Будем дрожать от страха,
Но лжи ни пяди.

Будем все дни томиться
И прятать очи.
Хватит для летописца
И темной ночи.

И никакой не надо
За то награды.
Но трепещите, каты,
Дрожите, гады.
1966— 1968

ОСЕНЬ

Я потерял богатство.
Лампа моя погасла.
Пусты мои владенья.
Осень и запустенье.

Шелест истлевших кружев.
Таянье чахлой пены.
Неизреченный ужас.
Ужас неизреченный.

Стонет, как с перепою,
Дерево, занедужась.
Перед самим собою
Неизреченный ужас.
1968

АПРЕЛЬСКИЙ ЛЕС

Давайте каждый день приумножать богатство
Апрельской тишины в безлиственном лесу.
Не надо торопить. Не надо домогаться,
Чтоб отроческий лес скорей отер слезу.

Ведь нынче та пора, редчайший час сезона,
Когда и время — вспять и будет молодеть,
Когда всего шальней растрепанная крона
И шапку не торопится надеть.

О этот странный час обратного движенья
Из старости!.. Куда?.. Куда — не все ль равно!
Как будто корешок волшебного женьшеня
Подмешан был вчера в холодное вино.

Апрельский лес спешит из отрочества в детство.
И воды вспять текут по талому ручью.
И птицы вспять летят... Мы из того же теста —
К начальному, назад, спешим небытию...
1968

ФЕЙЕРВЕРК

Музыкантам, музыкантам
Было весело играть.
И под небом предзакатным
Трубам весело сиять.

Но окрестности темнели,
Угасал латунный сверк.
И, когда сомкнулись ели,
Вдруг ударил фейерверк.

С треском, выстрелом и шипом
Он распался на сто звезд.
Парни в танце с диким шиком
Мяли девушек, как воск.

И опять взлетел над парком
Фейерверк и прянул вниз.
И тогда с тревожным карком
Галки стаями взвились.

И рассыпалися черным
Фейерверком, прянув вверх.
Но хвостом разгоряченным
Вновь распался фейерверк.

Светла начали крутиться,
Поднимаясь к небесам.
И тогда другие птицы
Заметались по кустам.

Ослепленные пичуги
Устремлялись от огней,
Трепыхаясь словно чубы
Перепуганных коней.

И тогда взлетел Огромный,
Словно лопнуло стекло.
И сияющей короной
Всплыло нежное Светло.

Как шатер оно снижалось,
Озаряя небеса.
С тенью тень перемежалась,
Словно спицы колеса.

И последняя шутиха
Где-то канула на дно.
И тогда настало Тихо,
И надвинулось Темно.

Мы стояли, рот разинув,
И глядели долго вверх.
И как битву исполинов
Вспоминали фейерверк.
1968

РОМАНТИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Дремлет в будке пес-собакин,
Дремлет в будке и сопит.
А Матвей Петрович Хрякин
У себя в постели спит.

У себя, с гулящей бабой,
Спит Матвей и хоть бы хны.
В это время ангел слабый
Сочиняет ему сны.

Сны Матвея слишком хрупки.
Он не может их понять.
В нем какие-то голубки
Не устали ворковать.

Но Матвей ружье хватает
И, прицелившись, — ба-бах! —
Ангел с неба упадает
С нежной пеной на губах.

Пес-собакин, хрипло воя,
Горло голубя грызет.
Тело ангела живое
Испаряется, как лед.

И кричит в тумане тополь
Ломким голосом ветвей:
— Что ж ты ангела ухлопал,
Что наделал ты, Матвей!

Ты небесное созданье
Меткой пулей уложил
Лишь за то, что в подсознанье
Он твоем безгрешно жил! —

Баба Хрякина проснулась,
На его взглянула лик
И мгновенно ужаснулась,
Так он страшен был и дик.

Он лежал лохмат, как битник,
Лоб его пылал огнем...
И висел, как белый бинтик,
Мертвый ангел за окном.
1968

БЕРЕГ МЕРТВЫХ

Поплывем с тобой
На белом, белом, белом
Теплоходе,
По реке большой, большой,
Станем мы единым телом
И одной душой.

Потому что та река большая
Нам чужая,
Всем чужая —
Та река богов,
Медленно течет,
Не утешая,
Вдоль пустынных берегов.

И на тех, на берегах пустынных
Нет растений,
Птицы не живут,
Там лишь бродят, бродят, бродят
Чьи-то тени
И кого-то издали зовут.

Там я видел и отца и друга,
И отца и друга,
Сына и жену,

Там я видел отдаленность луга,
Даль и тишину.

Я хочу спуститься с теплохода,
В тусклом свете полдня
К ним направить челн
И бродить меж ними
Год от года —
Ничего не помня
И не зная ни о чем.
1968

* * *

Скрежещет ветка о стекло,
Когда на сердце тяжело,
Иначе я ее не слышу.
Все чаще слышу этот скрип
И ветра стон, деревьев всхлип,
И дождь, топочущий о крышу.

Как хорошо, когда одну
В себе звучащую струну
Ты неизменно ощущаешь.
И где-то дальнюю войну,
Суда, идущие ко дну,
И гром, и смерть, и тишину
В себе самом ты замечаешь.

Но ежели ты болен сам,
То всем вселенским голосам
Твой слух открыт. И где защита?

И бури стонут по лесам,
Гуляет гром по небесам.
И этим страшным голосам
Твое безумие открыто.
1968

* * *

Еще одно грехопаденье сил.
Грехопаденье сил — уже бессилье.
В кристаллы выпал дух.
Железо легковесно, словно пух.
Вздохни поглубже. Сдунь его.
Засим
Кончается его засилье.
Из стихов 1962 года

Не бойтесь! Умираем только мы!
Пора уж узел затянуть на глотке,
Принять снотворного, опиться водки.
Нет сил для виселицы и тюрьмы.

Наш тонкий слух, наш изощренный глаз,
И гибкое, испытанное слово
Ничто пред слухом вашего глухого
И перед словом каждого из вас.

Но если вы обманете — беда!
Какое будет всем самопрощенье...
Вся сволота потребует отмщенья...
И жизнь и смерть бессмысленны тогда!
1968

* * *

Вот дерево перед окном
Сгорает медленным огнем
Осенней желтизны.
И с каждым днем оно желтей.
А пальцы угольных ветвей
Печальны и нежны.

И каждый день оно и я,
Как разлученные друзья,
Киваем издали.
И кто печальнее из нас?
Какой еще заглянет глаз
В сии монастыри?

Из отдаления ясней
Простая связь причин,
И все, о чем мы говорим.
И то, о чем молчим.
Но с каждым днем трудней
молчать
И с каждым днем трудней
прощать.

1968

ПУСТЫРЬ

Подвыпившие оркестранты,
Однообразный цок подков.
А мне казалось — там пространство,
За садом баронессы Корф.

Там были пустыри, бараки,
И под кладбищенской стеной
Храпели пыльные бродяги,
Не уходившие домой.

А кладбище цвело и пело
И было островом травы.
Туда бесчувственное тело
Везли под грузный вздох трубы.

Но дальше уходили трубы
Вдоль белокаменной стены,
И марши не казались грубы,
А вдохновенны и нежны.

Над белым куполом церковным
Вдруг поднималось воронье.
А дальше — в свете безгреховном
Пространство и небытие.

И светом странным и заветным
Меня пронизывал дотла
При звуках музыки посмертной
Осколок битого стекла.
1968

* * *

Я ехал по хóлмам Богемии,
Где хмель зеленел вдоль шоссе,
И слушал, что хмеля цветение
Моей говорило душе.

Та почва тяжелая, красная
И хмеля зеленый дымок
Тогда говорили про разное,
Про то, что понять я не мог.

Я ехал по хóлмам Богемии,
Вкушая движенье и цвет,
И был я намного блаженнее
В неведенье будущих бед.
1968

* * *

В этой Праге золотой
Возле Града — возле Градчан,
Оплеснись живой водой
И — незрячий — станешь зрячим.

Будешь видеть все ясней —
Что такое дело чести —
С розой встать на лобном месте —
Не за Прагу — рядом с ней.
1968

СТАРЫЙ САД

Забор крапивою зарос,
Но, несмотря на весь разор,
Необычайно свеж рассол
Настоянных на росах зорь.

Здесь был когда-то барский сад,
Где молодой славянофил
Следил, как закипает таз
Варенья из лиловых слив.

Он рассуждал: «Недаром нить
Времен у нас еще крепка».
И отпирал старинный шкап,
Где красовался Ламартин.

Читал. Под деревенский гул
Вдруг засыпал. Чадил ночник.
И долго слышен был чекан
Кузнечика в ночном лугу.
1968

* * *

Не у кого просить пощады
И не за что просить прощенья.
Все адские чаны и чады
Почтеннее, чем отвращенье.

И как перед собой ни ахай
И как внутри себя ни ной,
Но выбор меж пивной и плахой
Всегда кончается пивной.
1968

Т И Ш И Н А

На толстых ветках шапки снега.
И это самый синий час.
И долгожданная беседа
Не начинается у нас.

Пустое слово не сорвется,
Снежинка не слетит с вершин.
И только синий час прольется
Не тронут отзвуком чужим.

Ступай, дитя! Крепи свой дух,
Лети, заносчивый и вздорный!
Ты скоро сменишь желтый пух
На крыльев шелк высокогорный.

Ступай! Ни истину, ни ложь
Не стану я внушать потомку,
Ступай! А если упадешь,
Не мне стелить тебе соломку.

Я буду лишь следить, грустя
И зная, что тебя теряю —
Следить, слезы не отирая...
Ступай, дитя! Ступай, дитя!
Начало 1960-х — 1968 или 1969

* * *

Проснись однажды утром,
Обидам крикни: «Брысь!»
Гляди, как лес разубран,
И так же приберись.

Гляди, как свежи срубы,
И новый частокол
Начищен, словно зубы
прохладным порошком.

Гляди — белей пороша
Бумажного листа.
И может быть, под прошлым
Подведена черта.

И можно без заминки
Приняться за труды —
Протаптывать тропинки,
прокладывать следы.

Два первых трудных шага,
А там — гуляй пешком...
Чтоб пахнула бумага
Прохладным порошком.
1969

ЗИМНИЕ ПТИЦЫ

Задувает снегодуй,
Завевает вьюговей,
Запевает свистопляс —
Ледовитый соловей.

Воет, воет — вью да вью! —
Вьюга, как пустой горшок.

Подпевает соловью
Снеговитый петушок.

Режет так, что прячь лицо,
Но такая благодать!..
Вьюга катит колесо,
А куда — не угадать.
1969

ЛЕГКАЯ САТИРА

Торопимся, борясь за справедливость,
Позабывая про стыдливость
Исконных в нас, немых основ,
Которые причина снов.
Порой душой командуя, как телом,
Считаем покаянье главным делом
И, может, даже посрамленьем зла.
И тут закусываем удила.
Хоть собственной души несовершенство
Вкушаем, как особое блаженство.
Тогда природа помогает нам
И особливо чижики и дятлы
Или сосны растрепанные патлы.
И мы приходим к ним, как в Божий храм.
Нас восхваляет критик наш румяный,
Метафоры любитель и ловец.
И наконец покровы истины туманной
Слетают с ясной стройности словес.
1969

* * *

Вдруг обоймут большие шумы леса
И упадет к ногам кусок коры.
И февраля неистовая месса
На полнедели разведет хоры.

Такой зимы давно не выдавалось,
Подобной стужи не было давно,
Так широко и шумно не вздувалось
Деревьев грубошерстное рядно.

Давно и я не жил, забившись в угол,
Темно, как волопас или овчар.
И лишь в смешенье выдохов и гулов
Какое-то движенье различал.

Порой срывало провода с фаянса,
И нам светили печка и свеча.
Мой пес пространства дымного боялся
И в конуре ворочался рыча.

А лес, как бесконечный скорый поезд,
Летел, не удаляясь в темноту.
Я, наконец, со скоростью освоясь,
В него вбегал, как в поезд на ходу.

И мы летели в страшном напряженье,
Почти непостижимые уму.
Но только гулом было то движенье
И устремленьем дерева во тьму.
1969

* * *

Листвой наполнены деревья,
Деревьями наполнен сад,
А где-то в высшем измеренье
Садами полнится закат.

Но так бывает слишком редко
И если сильно повезет,
Чтоб смыслы высшего порядка
Загромождали горизонт.

А чаще нерадивый кравчий
Не льет нам чашу дополна...
И тщетно бьется лист, приставший
К стеклу туманного окна.
1969

ВЕСЕННИЙ ГРОМ

За горой открывается Павшино,
А оттуда — по левой руке —
Стоэтажно, победно и башенно
Встало облако невдалеке.

Так высоко оно и расправлено,
И такая в нем гордая стать,
Что роскошную оду Державина
Начинаешь невольно читать.

И на облачном светлом нагории
Поднимаются, полные сил,
Алексеи, Платоны, Григории
В белизне полотна и лосин,

Чтоб с громами зелеными, юными
Сдвинуть чары курчавых пиров
И злащеными грянуть перунами
По листве красногорских дубров.
1969

РЕМ И РОМУЛ

Когда совсем свихнутся люди
И что-то страшное случится —
Тогда опять подставит груди
Двум новым близнецам волчица.

И, выкормленные волчицей,
Какие-нибудь Рем и Ромул
Замыслят снова причаститься
Новейшей из вселенских формул...

Был первый Рим, второй и третий,
И все они в пыли простерты.
И на крутом краю столетий
Уже качается четвертый.

Но лунный рог взойдет над веком
И близнецы, подстать волчатам,
Насытясь материнским млеком,
Мечтать начнут о Риме пятом.

Там будет пахнуть волчьей шерстью
И кровью заячьей и лисьей
И стадо туров в чернолесье
Спускаться будет с горных высей.

Пойдут, плутая в диких травах,
Отъяты от сосцов обильных,
Поняв, что единеньем слабых
Побьют разъединенье сильных.

И стенами им станут кущи,
И кровлей — придорожный явор.
Но Рим построят, потому что
Без Рима торжествует варвар.

Над ними будет крик гусиный,
Пред ними будет край безлесый,
А впереди их — путь пустынный.
Но на устах язык вселенский.

И лягут и, смежив ресницы,
Заснут, счастливые, как боги.
И сон один двоим приснится
На середине их дороги.
1969

БЕРЕЗНЯК

Так березняк беспечен, словно он
К российским бедам не причастен,
Воронами от зла заговорен
И над своей судьбой свободно властен.

Роскошный иней украшает лес.
Еще светлей березовая роща.
Как будто псковичи с резных крылец
Сошли на вечевую площадь.

Ах, это вече! Русская мечта,
Похищенная из ганзейских вотчин!
Перед бесчинством царского меча
Как колокол березовый непрочен.

И наша деревенская судьба,
Еще не став судьбою городскою,
Одним нас наградила навсегда —
Серебряной березовой мечтою!..

О жаркая, о снежная березка!
Мое поленце, веничек и розга!..
1969

* * *

Распутица. Разъезжено. Размято.
На десять дней в природу входа нет.
Лишь перелесков утренняя мята
Студит во рту. Преобладает свет.
Свет беспощадный, ярый свет весны,
Срыватель тайн с морщинок и веснушек,
Припухших век, очей полузаснувших,
С болезненной и страстной желтизны.
Свет. Ярое преображенье духа.
Размяты в тюрю колеи дорог.
Невнятица, распутица, разруха.
А там — опушек тюлевый дымок.
1969

* * *

Ты, Боян, золотой соловей,
Сочетал в рокотании славы
Суховей половецких полей
И туманное облако Лабы.

И не смыслит злосчастная чернь
В том, как древле в степи стоязыкой
Сопрягалась славянская речь
И наречья Монголии дикой.

Смесь словес, и понятий, и скул
Навсегда сохранились в народе.
И прекрасен сей смешанный гул
В женских лицах и варварской оде.
1969

* * *

Выстраивается столетье
Почти что на глазах.
С его последней третью
Бывал я не в ладах.

С его последней сутью
Почти что я в ладу.
В него с размаху грудью
Однажды упаду.
1969

* * *

Тот дивный, давний спор
Приходит мне на память...
Довольно ум тиранить!
Сто лет прошло с тех пор!

Тот спор кипел тогда
Так молод, смел и страстен!
Он был, скорей, согласьем,
Но в этом ли беда?

Беда пришла потом,
Когда не стало спора.
И — спорщики — мы скоро
Покинули тот дом.

От спора мы ушли.
И стало все бесспорно...
Но брошенные зерна
Вдруг дерзко проросли.

Порою из-за штор
Я слышу довод ярый,
И перебор гитары,
И дивный, давний спор...
1969

* * *

В отдаленных лугах зазвеневшая осень
Постелила мои берега.
Тяжелеют недели, подобно колосьям
С золотого, литого герба.

Ни любви, ни тоски, ни игры, ни желанья,
Только золото крупных забот.
Ты послушай! Когда уже эта каналья
На расправу меня позовет!
Понимаешь? Когда отдохнешь от боязни,
Отзывается счастье и стон
Облегченья! Нет, этой каналье и язве
Не напрасно и я обречен!
1969

* * *

Старушечье существованье
Зимы под серым колпаком.
И неустанное сновань
Махровых нитей шерстяных.
И даже наше расставань
Махровым обнято чулком.
И теплым было целованье —
Последнее из всех земных.
1969

* * *

Мне снился сон жестокий
Про новую любовь.
Томительно и нежно
Звучавшие слова.
Я видел твое платье,
И туфли, и чулки

И даже голос слышал,
Но не видал лица.

О чем меня просила?
Не помню. Повтори.
Опять с такой же силой
Со мной заговори.
И снова в сновиденье
Случайное вернись.
Не надо завершенья,
Но только повторись!

Ведь в этой жизни смутной,
Которой я живу,
Ты только сон минутный,
А после, наяву —
Не счастье, не страданье,
Не сила, не вина,
А только ожиданье
Томительного сна.
1969

* * *

Лишь изредка родится в нас
Мотив помимо воли,
Как бы вскрывается запас
В нас заточенной боли.

И, вслушиваясь, узнаешь
В нем все пережитое —
Какой-то то́лок, и галдеж,
И гул былых историй.

Довольно, память! Помолчи!
Пускай, свечу задувши,
Я слюнку сладкую в ночи
Почую на подушке.
1969

БАЛЛАДА РАЗЛУК

Когда-нибудь, когда-нибудь, мой друг,
И у тебя сожмется сердце болью,
И ты разлук услышишь дальний звук
Тобою потревоженных невольно.

О, первая разлука! Самаркинд.
Горячей пыли серая патина.
И дерево, летящее в закат.
И робость чувств. И ночь. И Валентина.

Я не об этом буду вспоминать,
Как дважды пересечена Россия...
О, новая разлука. И опять —
И поцелуй. И радость. И Мария.

А дни идут легко и тяжело,
А жизнь течет и страшно и блаженно.
И вновь разлука. Польское село.
И выстрелы. И слезы. И Божена.

Из всех баллад — я полюбил одну
Бессмертную балладу расставаний.
Когда, бывало, воздуха глотну,
Утру слезу — и жизнь еще желанней.

Не берегись, не берегись разлук.
Для них одна лишь молодость пригодна.
Распахиваешь рамы взмахом рук —
Плыви, плыви!.. И впереди свободно...
1969

* * *

Что-то вылепится
Из глины.
Что-то вытешется
Из камня.
Что-то выпишется
Из сердца.
Будь как будет!
Не торопись!
1969

* * *

Неужели всю жизнь надо маяться!
А потом
от тебя
останется —
Не горшок, не гудок, не подкова, —
Может, слово, может, полслова —
Что-то вроде сухого листочка,
Тень взлетевшего с крыши стрижа
И каких-нибудь полглоточка
Эликсира,
который — душа.
1969

* * *

То осень птицы легче
Опустится на плечи
Осиновым листом...
Но это все потом.

И графика пейзажей,
Изображенных сажей
На воздухе пустом...
Но это все потом.

А что было вначале?
Какие-то печали,
Вошедшие в мой дом...
Нет! Это все потом!
1970

* * *

Не мысль, не слово, — а под снегом,
Подобный напряженным слегам,
Отяжелевший вечный смысл
Повелевает мне: — Проснись!

И странно: в ясности речений
Какая-то есть пустота.
И может только свет вечерний
Заполнить общие места.

И трудно спать перед закатом
И просыпаться в странный час,
Когда над снегом розоватым
Березы высятся, светясь.
1970

* * *

Л. Копелеву

Ты — окруженный гарнизон,
Майор Курляндской группировки,
Нет ничего, кроме знамен,
Нет ничего, кроме листовки.

Уже почти добит Рейхстаг,
И мы уж ничему не верим.
А ты в последней из атак,
Идешь, глухой к своим потерям.

Уже почти доспорен спор.
Пора уже отвоеваться!
И Генрих Белль идет сдаваться.
А ты воюй! Воюй, майор!
1970

* * *

Мне снился сон. И в этом трудном сне
Отец, босой, стоял передо мною.
И плакал он. И говорил ко мне:
— Мой милый сын! Что сделалось с тобою!

Он проклинал наш век, людей, судьбу.
И за меня он требовал расплаты.
А я смиренно говорил ему:
— Отец, они ни в чем не виноваты.

И видел я. И понимал вдвойне,
Как буду я стоять перед тобою
С таким же гневом и с такой же болью...
Мой милый сын! Увидь меня во сне!..
1970

* * *

В воздухе есть напряженье
Солнечной грубой зимы.
Может быть, это — бесснежье
Остро почуяли мы.

То, что замыслено где-то,
Осуществляется в нас:
Перемещение света
И уплотнение масс.

Наши бессмертные души
Зреют не в нас, а вовне.
И, загораясь снаружи,
Перегорают во мне.
1969—1970

ВЕРОЯТНО

Я, вероятно, не поэт войны,
Но, вероятно, я войной испытан,
И — черта с два — погибнуть под копытом,
Когда уже дожил до седины.

Я, вероятно, дьявольски силен,
Поскольку выпил две цистерны спирта.
Как это хорошо было распито,
Как был прекрасен пьяный Вавилон.

Теперь я, вероятно, не умру,
Но жить я буду так невероятно,
Что, вероятно, разродятся ядра
Семян, что разбросал я на ветру.

Я, вероятно, не могу развлечь,
Развеселить, расплакать и растрогать,
Но, вероятно, есть какой-то коготь,
Что вас царапает,
как эта речь.

1970

* * *

Хотел бы я жить, как люблю и умею,
Но жить не хочу я и жить не умею.
Когда-то имел я простую идею.
А нету идеи — и я холодею.

Да, я холодею и надо неметь.
Но, Боже, ведь быть не могу бессловесен.
Ведь ты мне вручил колокольную медь,
И пенье, и странную надобность песен.

Хотел бы я жить,
но, увы, не могу!
Хотел бы я верить,
но, Боже, не верю.

Хотел бы не лгать, —
ежедневно я лгу,
Хотел бы терять,
но жалею потерю.

О Боже, о Боже, кто может помочь!
Какой собутыльник приникнет к стакану?
О, как ты желанна мне, вечная ночь,
В которую кану! В которую кану!
1970

* * *

Хочу, чтобы мои сыны
и их друзья
несли мой гроб
в прекрасный праздник погребенья.
Чтобы на их плечах
сосновая ладья
плыла неспешно,
но без промедленья.

Я буду горд и счастлив
в этот миг
переселенья в землю,
что слуха мне не ранит
скорбный крик,
что только небу
внемлю.

Как жаль, что не услышу тех похвал,
и музыки,
и пенья!
Ну что же!

Разве я существовал
в свой день рожденья!

И все ж хочу,
чтоб музыка лилась,
ведь только дважды дух ликует:
когда еще не существует нас,
когда уже не существует.

И буду я лежать
с улыбкой мертвеца
и неподвластный
всем недугам.
И два беспамятства —
начала и конца —
меня обнимут
музыкальным кругом.
1970

МИХАЙЛОВСКОЕ

Деревья пели, кипели,
Переливались, текли,
Качались, как колыбели,
И плыли, как корабли.

Всю ночь, до самого света,
Пока не стало светло,
Качалось сердце поэта —
Кипело, пело, текло.
1970

* * *

Теперь уже знаю:
Стихи потекут.
Их целую стаю
Моей нарекут.

Сего не преложишь,
Как сказано встарь.
Пиши, пока можешь,
Несчастная тварь!
1970

* * *

Кончался август.
Примолкнул лес.
Стозвездный Аргус
Глядел с небес.

А на рассвете
В пустых полях
Усатый ветер
Гулял, как лях.

Еще чуть светел
Вдали рассвет...
Гуляет ветер,
Гуляет Фет.

Среди владений
И по лесам
Последний гений
Гуляет сам.
Не близок полдень,
Далек закат.
А он свободен
От всех плеяд...
1970

ВТОРАЯ ЛЕГКАЯ САТИРА

Мой недоброжелатель! Как ни ползай,
Как ни соизмеряй с своею пользой
Стихи, что я свободно говорю, —
Презрительно тебя благодарю.

Хотя б за то, что твой прискорбный вкус
Расходится с моим пристойным вкусом.
И наш с тобой немыслимый союз
Полезен все ж российским музам.

Ты — лакмус мой. Ты у меня в цене.
Когда, к моим принюхиваясь одам,
Подавишься ты толстым бутербродом,
Тебя я первый стукну по спине.
1970

* * *

Там дуб в богатырские трубы
Играет на сильном холме.
Но светлые, тихие трубы
Звучат на душе и в уме.

И слиться с землею и небом
Мечтает беспечный артист,
С закатом, где тополь над брегом
Так легок, летуч и ветвист.

Какое прекрасное свойство —
Уметь отрешиться от зла,
Бродить, постигая устройство
Пространства, души, ремесла!

Слияния легкая тризна!
Дубы замолкают тогда.
И грозные трубы отчизна
Сменяет на флейту дрозда.
1970

* * *

Настала такая эпоха,
Что все мы желаем итога,
Черта и под ней: итогó.
А что итого? Кроме Бога
Под этой чертой — ничего.

Под этою жирной чертою
Все замыслы, все прожитое:
И если все это сложить,
А после из этого вычесть...
Получится... (Остановитесь!..)
Что просто не стоило жить!
1970

* * *

Осенний вихрь гудит под дверью.
И недалеко от жилья
Срослись (зачем?) береза с елью,
Как несчастливая семья.

Вокруг березы листья вьются
И улетают в ближний путь.
А птицы больше не вернутся,
И до весны не дотянуть.
1970

* * *

Д. К.

Кто устоял в сей жизни трудной,
Тому трубы не страшен судной
Звук безнадежный и нагой.
Вся наша жизнь — самосожженье,
Но сладко медленное тленье
И страшен жертвенный огонь...
1970

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

...не для битв...
...для молитв...
(Рифмы из стихотворения Пушкина)

Поэт
Скажите, гражданин, как здесь пройти
До бани?

Гражданин
Баня нынче выходная.
Зато на Карла Либкнехта — пивная.
Там тоже можно время провести.

Поэт
Ну что ж!

Гражданин
Как раз и я иду туда.
Приезжий?

Поэт
Да.

Гражданин
У нас не скучно!

Поэт
Да.

Гражданин
По делу?

Поэт
Нет.

Гражданин
К родне?.. И я вот к брату
На отпуск собираюсь восемь лет.
То захвораю... Или денег нет.
А прошлым годом прогулял зарплату...
Ты не Петрова брат?

Поэт
Да нет.

Гражданин
Постой!
Давай-ка два рубля. Вон-он магáзин...
А там, в пивной, ее пивком подкрасим...
Я мигом. Вижу — парень ты простой.
Весь в брата.

Поэт
Нету брата у меня.

Гражданин
Ну весь в сестру. Ведь и сестра — родня.
Порядок. На-ка сдачу... Эко горе!
Пивная — елке в корень! — на запоре!..
В столовой пить придется под компот.
Там пива нет!.. А где сестра живет?
Она бы нам поставила закуски.
И вместе погуляли бы по-русски.

Поэт
Да у меня родни и вовсе нет.

Гражданин
Так бы сказал... А сам ты кто?

Поэт

Поэт.

Гражданин

Вот то-то вижу, будто не из наших!
Выходит — пишешь?.. Я люблю читать.
Да время нет... Могу и тему дать!
А ты ее возьмешь на карандашик...
Есенин был поэт! Моя старушка,
Мол, в старомодном ветхом шушуне...
Как сказано!.. А Пушкин? «Где же кружка?..»
Бери себе стакан!

Поэт

Пожалуй, мне
Пора...

Гражданин

И впрямь! Чего сидеть без толку...
Ну, со свиданьицем!.. А ты чего ж?
Тяни... Задумался!.. Уже хорош?
А-а! Выпятил полтинники на Лорку!

Поэт

(очнувшись)

Что? Федерико?..

Гражданин

Ей цена-то грош!
Конечно, все при ней: станочек, грудь...
Эй, Лорочка, товарищу поэту
И мне подай два раза винегрету!
А ты бы рассказал про что-нибудь.

Поэт

А было так. Он на снегу сидел.
А офицера увели куда-то.
Вблизи него стояли два солдата,
Переговариваясь. День скудел.
Слегка смеркалось. Из-за перелесиц
Вступали тучи реденьким гуртом.
И, как рожок, бесплотный полумесяц
Легко висел на воздухе пустом.
Нога не мучила. А только мерзла.
Он даже улыбался. Страх прошел.
Бой утихал вдали. За лесом грозно,
Как Моисеев куст, пылал костел.
Пришел какой-то чин. Но небольшой.
Он так же был небрит, как эти трое.
За лесом выцветали шумы боя.
Хотелось пить. Нога была чужой.
Солдаты сели есть. Один из них
Достал сухарь. И дал ему. Однако
Есть не хотелось. Думал о своих:
Какая неудачная атака!
Он думал о себе, как о ноге:
Душа была чужой, но не болела.
Он сам не мерз. В нем что-то леденело.
Еще вверху плыл месяц налегке,
Но словно наливался. От еды
Они согрелись. Те, что помоложе,
Подначивали третьего. Похоже,
От них не надо было ждать беды.
Тот, третий, подошел. Он был и мал,
И худ, и стар. И что-то он сказал.

Что — непонятно. Пленный без испуга
Соображал. И понял. Было туго
Вставать. И все ж он встал, держа сухарь.
Уже был месяц розов, как янтарь.
Те тоже подошли. И для чего-то
Обшарили его. Достали фото
Жены и сына. Фото было жаль.
Он поднял руки, но держал сухарь.
Разглядывали фото. И вернули.
И он подумал: это хорошо!
Потом его легонько подтолкнули.
Он сразу понял. И с трудом пошел.
Он мог идти. Он отправлялся в путь.
И это вдруг его приободрило.
«Видать, не очень сильно зацепило...
Дойти бы только... Там уж как-нибудь...»
Додумать не успел. Невдалеке
Рвануло эхо. Звук был слишком громок.
Он завизжал. И, дергаясь, как кролик,
Свалился навзничь с сухарем в руке.
Упал. И дернулся последний раз.
И остывал, не закрывая глаз.
Те трое прочь ушли. Еще дымился
Костел. И месяц наверху налился
И косо плыл по дыму, как ладья.

Гражданин
Ты это видел?

Поэт
Это был не я.

1970—1971

* * *

Возвращенье от Анны,
Возвращенье ко мне.
Отпаденье от камня,
Восхожденье к волне.

До свидания, память,
До свиданья, война,
До свидания, камень,
И да будет волна!

Память — смертным отрада,
Камень — мертвым почет.
А благая прохлада
Пусть течет и течет.

До свидания, слава.
До свиданья, беда.
Ведь с волной нету слада,
И она — навсегда.

Память, память, ты — камень,
Ты под стать валуну.
Все равно мы не канем,
Погрузившись в волну.

До свиданья, Державин
И его времена.
До свидания, камень,
И да будет волна!

Нет! Отнюдь не забвенье,
А прозрение в даль.
И другое волненье,
И другая печаль.

И другое сверканье,
И сиянье без дна...
До свидания, камень!
И да будет волна!
1971

ЗАЗДРАВНАЯ ПЕСНЯ

Забудем заботы о хлебе,
Хлебнув молодого вина.
Воспомним заботы о небе,
Где плавает в тучах луна.

Забудем заботы о доме
За этим веселым вином,
Воспомним заботы о громе,
О ливне, о ветре ночном.

Забудем заботы о детях,
Об их беспричинных слезах.
Воспомним заботы об этих
Осинах в осипших лесах.
1971

ПРОЗРЕВАНЬЕ

Слепой прозрел. И что увидел?
Увидел белый, белый день.
Объема выпуклых предметов
Нигде не округляла тень.

Под белым, белым, белым небом
Стояли белые дома.
Деревья были белым снегом,
В них мгла белела, как зима.

И доктор крикнул: Наложите
Ему немедленно бинты,
Не то на свете он не житель
До обретенья черноты.

Чтоб черный цвет смешался с белым,
Что есть основа всех основ,
Чтоб мир ему казался целым
Хотя бы без полутонов.
1959— 1971

* * *

Тоски ледяной гребешок
Штакетником частым отстукан.
Как черт я упрятан в мешок,
Назло современным наукам.

Ведь все из проклятых наук,
Известных с времен Гостомысла,
Гласили, что слово есть звук,
Исполненный здравого смысла.

Но вся сумасшедшая суть
Названий березы и дуба,
Рогами уставившись в грудь,
Бодает тоску словолюба.
1971

* * *

Березы, осины да елки —
Простой подмосковный пейзаж.
Художник в татарской мурмолке
Весенний открыл вернисаж.

Художник, немного раскосый,
С татарской раскладкою скул,
Дымит и дымит папиросой
И слушает внутренний гул.

Из гула рождаются краски,
Из звука является цвет.
Природа плетет без развязки
Один бесконечный сюжет.

Но надо включить его в раму,
И это искусства залог,
Когда бесконечную драму
Врубают в один эпилог.
1971

* * *

Вот в багровой листве и лазури
Перед нами возник Сигнах,
Словно витязь в тигровой шкуре,
Чуть привставший на стременах.

А внизу, в Алазанской долине,
До чреды дагестанских вершин
Мне звучал в багрянце и сини
Грибоедовский клавесин.
1971

* * *

Л. Т.

Здесь, в Таллине, бродили мы с Леоном.
И город становился павильоном
для съемки двух банальных кинодрам.
Банальных! Если бы не смерть артиста!
Мы понимали, как судьба ветвиста,
когда входили в лютеранский храм.

Здесь, в крепости, где городские башни
Рассказывают нелюдские басни
о юности своей сторожевой,
Здесь не орел спускался, а ворона
Слетала, чтоб клевать глаза Леона,
когда он был еще совсем живой.

Здесь, в Вышгороде, как в средневековье
Из адской спеси и совиной крови
варилось приворотное питье.
А мы с Леоном были беззаботны.

И он испил. И зельем приворотным
навеки сердце отравил свое.

И я отравлен был проклятьем мести.
И это страшное мое бесчестье,
но я впервые справедливость чту
Меча и дыбы, и царя Ивана,
И лютого Петра... О, как мне странно
лелеять эту дикую мечту!
1971

* * *

Для себя, а не для другого
Я тебя произвел на свет...
Произвел для грозного Бога —
Сам ты будешь держать ответ.

Ты и радость, ты и страданье,
И любовь моя — малый Петр.
Из тебя ночное рыданье
Колыбельные слезы пьет.
1971

К У П А Л Ь Щ И Ц А

М. К.

Когда бежит через лиловый полдень
Купальщица, ее волнистый бег
Невольным обещанием исполнен
Беспечных радостей и сладких нег.

И вот она уже вступает в волны
И исчезает вдалеке. Она —
Почти как речь поэзии условна
И как язык печали солона.
1971

* * *

Одиночество — пошлая тема
В разговорах каминных вралей.
Ерунда! Одиночество немо
Немотою лесов и полей.

О, тогда уже нам не до шуток!
О, тогда замолчи и терпи!
И взаправду становится жуток
Перестук поездов во степи.
1971

* * *

И осень, которая вдруг началась
Прилежно,
Меня веселит на сей раз
И тешит.
Она мне настолько мила,
Что надо
На время оставить дела
Земные...
Шататься и скуки не знать
Осенней.
Да кто это вздумал пенять
На скуку!

Ленивы мы думать о том,
Что, может,
Последняя осень последним листом
Тревожит.
1971

* * *

Туман, туман, туман...
В неверном освещенье
Явления времян
Яснее ощущенье.

Яснее ощущенье
Явления времян
В неверном освещенье...
Туман. Туман. Туман.
1971

ПРИ ДОЖДЕ

О, так это или иначе,
По чьей неизвестно вине,
Но музыка старой удачи
Откуда-то слышится мне.

Я так ее явственно слышу,
Как в детстве, задувши свечу,
Я слышал, как дождик о крышу
Играет все то, что хочу.

Такое бывало на даче
За лето по нескольку раз.
Но музыку старой удачи
Зачем-то я слышу сейчас.

Все тот же полуночный дождик
Играет мне, что б ни просил,
Как неутомимый художник
В расцвете таланта и сил.
1971

* * *

Меня Анна Андревна Ахматова
За пристрастье к сюжетам корила.
Избегать бы сюжета проклятого
И писать — как она говорила.

А я целую кучу сюжетов
Наваял. И пристрастен к сюжетам.
О, какое быть счастье поэтом!
Никогда не пробиться в поэты.
1972

ЗАВСЕГДАТАЙ

Из всех печей, из всех каминов
Восходит лес курчавых дымов.
А я шагаю, плащ накинув
И шляпу до бровей надвинув.

Спешу в спасительный подвальчик,
Где быстро и неторопливо
Рыжеволосый подавальщик
Приносит пару кружек пива.

Вторая кружка для студента,
Косого дьявола из Тарту,
Который дважды выпил где-то
И починает третью кварту.

Он в сером свитре грубой вязки,
По виду — хват и забияка,
Он пьет и как-то залихватски
Разламывает шейку рака.

Он здешний завсегдатай. Дятел,
Долбящий ресторанный столик.
Он мефистофель и приятель
Буфетчицы и судомоек.

Поклонник Фолкнера и йоги,
Буддизма и Антониони,
Он успокоится в итоге
На ординарном эталоне.

Он не опасен. Пусть он шпарит
Двусмысленные парадоксы
И пусть себе воображает,
Что он силен в стихах и в боксе.

Мне нравится его веселость,
Как он беспечен и нахален,
И даже то, как тычет в соус
Огрызок сигареты «Таллин».

А в круглом блюде груда раков,
Пузырчатый янтарь бокала,
И туч и дымов странный ракурс
В крутом окне полуподвала.
1972

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Чадаев, помнишь ли былое?
А. Пушкин

Наконец я познал свободу.
Все равно, какую погоду
За окном предвещает ночь.

Дом по крышу снегом укутан.
И каким-то новым уютом
Овевает его метель.

Спят все чада мои и други.
Где-то спят лесные пичуги.
Красногорские рощи спят.

Анна спит. Ее сновиденья
Так ясны, что слышится пенье
И разумный их разговор.

Молодой поэт Улялюмов
Сел писать. Потом, передумав,
Тоже спит — ладонь под щекой.

Словом, спят все шумы и звуки,
Губы, волосы, щеки, руки,
Облака, сады и снега.

Спят камины, соборы, псальмы,
Спят шандалы, как написал бы
Замечательный лирик Н.

Спят все чада мои и други.
Хорошо, что юные вьюги
К нам летят из дальней округи,
Как стеклянные бубенцы.

Было, видно, около часа.
Кто-то вдруг ко мне постучался.
Незнакомец стоял в дверях.

Он вошел, похож на Алеко.
Где-то этого человека
Я встречал. А может быть — нет.

Я услышал: всхлипнула тройка
Бубенцами. Звякнула бойко
И опять унеслась в снега.

Я сказал: — Прошу! Ради бога!
Не трудна ли была дорога? —
Он ответил: — Ах, пустяки!

И не надо думать о чуде.
Ведь напрасно делятся люди
На усопших и на живых.

Мне забавно времен смешенье.
Ведь любое наше свершенье
Независимо от времен.

Я ответил: — Может, вы правы,
Но сильнее нету отравы,
Чем привязанность к бытию.

Мы уже дошли до буколик,
Ибо путь наш был слишком горек,
И ужасен с временем спор.

Но есть дней и садов здоровье,
И поэтому я с любовью
Размышляю о том, что есть.

Ничего не прошу у века,
Кроме звания человека,
А бессмертье и так дано.

Если речь идет лишь об этом,
То не стоило быть поэтом.
Жаль, что это мне суждено.

Он ответил: — Да, хорошо вам
Жить при этом мненье готовом,
Не познав сумы и тюрьмы.

Неужели возврат к истокам
Может в этом веке жестоком
Напоить сердца и умы?

Не напрасно ли мы возносим
Силу песен, мудрость ремесел,
Старых празднеств брагу и сыть?
Я не ведаю, как нам быть.

Длилась ночь, пока мы молчали.
Наконец вдали прокричали
Предрассветные петухи.

Гость мой спал, утопая в кресле.
Спали степи, разъезды, рельсы,
Дымы, улицы и дома.

Улялюмов на жестком ложе
Прошептал, терзаясь: — О, Боже! —
И добавил: — Ах, пустяки!

Наконец сновиденья Анны
Задремали, стали туманны,
Растеклись по глади реки.
1971—1972

ПОДРАЖАНИЕ ФЕОКРИТУ

Песню запойте для нас, милые Музы!
Лепит понтийский закат тень на вершине.
Воздухом нежной зимы пахнут арбузы,
Медом осенней зари — спелые дыни.

Песню запойте для нас, милые Музы!
В час, когда примет волна цвет апельсина,
В час, когда к козьей тропе выйдут Отузы,
Песню запойте для нас кратко и сильно.

Песню запойте для нас, милые Музы!
Медь ядовитых высот солнце чеканит.
Вместе с вечерней зарей сбросим обузы,
Все, что тревожило нас, в вечности канет.

Но еще видно, как там, на перевале,
Вывесил цепкий кизил алые бусы.
Вспомните, как в старину вы нам певали,
Песню запойте для нас, милые Музы!
1972

* * *

Родину люблю не за взаимность!
Ей за все навеки исполать!
Надо так глядеть, чтоб не двоилось,
И себе пожестче постилать.

Тем, кто боком не спешил в клевреты,
И, разинув рот, не ждал раздач,
Никогда не тягостны запреты,
Не убийствен воздух неудач.
1972

* * *

Быть выше спора наций и племен,
А родину любить всего превыше,
За все, чем ею щедро оделен —
За нашу речь — за смысл ее и звон,
Все прочее от сердца отдаливши.

Прощая злость, я злобу не беру
В расчет — она созданье нищих духом,
Язык тоскующих по серебру,
О нет, я не вступаю в их игру —
И если болен, то не их недугом.
1972

РАССВЕТ

Светало. Воздух был глубок.
Вблизи долина, словно заводь.

А там, где должен быть восток,
Два облака учились плавать.

И постепенно, без болей,
Ночь умирала за домами —
Посередине тополей,
Потом — вверху, потом — над нами.
1969—1972

ПАМЯТИ СМЕЛЯКОВА

Мы не были на «ты»
(Я на семь лет моложе),
И многие черты,
Казалось, в нас не схожи.

Он был порою груб
И требовал признанья.
Но вдруг срывалось с губ
Заветное желанье —

Желанье быть таким,
Каким он быть боялся.
И с неба серафим
Тогда к нему спускался.

Тогда в распеве строф,
Немыслимых вначале,
Звучали пять-шесть слов,
Что спать нам не давали.

Наверное, он знал,
Что восхваленья пошлы,
И что к его словам
Прислушаются позже.

И вот уже молва
К поэту благосклонней...
Он вырос, как трава
На каменистом склоне.

И отошел легко
В блаженный сон России
Смеляков
Ярослав Васильич.
1972

* * *

Что сказать официанткам
При закрытье ресторана?
Что туманом город заткан,
Что еще довольно рано.
Что еще бы полстакана
У буфетчицы спросить,
Что еще довольно рано
Люстры верхние гасить
И идти среди тумана.

Ночь. Улыбка фонарей.
Гардеробщики. Монеты.
И выходят из дверей
Ресторанные поэты,
Легкомысленно одеты,

В пестрых галстуках до пят.
К ним спешат таксомоторы.
И ключи звенят, как шпоры,
Кто их слышит? Домы спят.
И, шатаясь, в кабинеты
Входят сонные поэты,
Пишут вяло и темно.
До тех пор, пока рассветы
Не ударят к ним в окно.
1973

* * *

С постепенной утратой зренья
Все мне видится обобщенней.
На сугробы и на деревья
Свет ложится потусторонний.

Слабый снег сочится как мушка,
Упадает и голубеет.
Так мне видится, потому что
Постепенно зренье слабеет.

Вместе с тем не могу не похвастать,
Что острее зрение духа.
Только ночь надо мной глазаста.
Путь лежит ледяно и сухо.

Путь лежит ледяно и сухо.
Ночь стоит высоко и звездно.
Не склоняй доверчиво слуха
К прозревающим слишком поздно.
1973

* * *

Когда с досадой и печалью
Я слух нарочно отвращаю
От тех, кто жалуется мне, —
Простор и снег в моем окне.

И преданности безотчетной
Я полон сумрачной зиме,
Где притулился
Неотлетный
Снегирь на голой бузине.
1973

СОЛДАТ И МАРТА

Первую брачную ночь Марта и драгун Рааб провели в доме пастора Глюка.
Из «Разысканий об императрице Екатерине Первой», т. 1, с. 86

Он. Любимая, не говори,
Что надо нам прощаться!
Пускай до утренней зари
Продлится наше счастье!..

Она. Драгун! Драгун! Ведь завтра бой,
Нам суждены печали.
Не на разлуку ль нас с тобой
Сегодня обвенчали?..

Он. Любимая! Не говори!
Нам суждено прощаться!
Но пусть до утренней зари
Продлится это счастье!..

И грянул бой. И обречен
Был город. Град чугунный
Низвергся. Рядом с трубачом
Упал воитель юный.

Его латали лекаря.
И он узнал от друга,
Что слух идет: мол, у царя
Живет его супруга.

Там купола, как янтари
Над старою Москвою...

Он. Любимая! Не говори!
Вот я перед тобою...

Она. Зачем здесь этот инвалид,
Игрушка чьих-то козней!
Беги! Не то тебя велит
Убить супруг мой грозный!

Он. Любимая! Не говори!
Как разошлись дороги!..
Спокойно властвуй и цари!..

И он упал ей в ноги.

Она. Деньгу солдату! Пусть он пьет!
Не знает сам, что мелет!
Гляди, коли Великий Петр
Словам твоим поверит!..

Он. Любимая! Не говори!
Уже настало утро!
И поскорей умри, умри,
Та ночь Мариенбурга!

Она. Да, поскорей умри, та ночь!
Умри, то утро боя!
Солдат, ступай отсюда прочь, —
Я не была с тобою.
Ступай, ступай, хромой драгун,
И обо мне — ни звука!
Забудь про то, что ты был юн,
Про свадьбу в доме Глюка.
И пей, хоть день, хоть два, хоть три —
Хоть до скончанья света!..

Он. Любимая! Не говори!
Не говори про это!..

1973

* * *

Л. Ч.

Полночь под Иван-Купала.
Фронта дальние костры.
Очень рано рассветало.
В хате жили две сестры.

Младшая была красотка,
С ней бы было веселей,
Старшая глядела кротко,
Оттого была милей.

Диким клевером и мятой
Пахнул сонный сеновал.
На траве, еще не мятой,
Я ее поцеловал.

И потом глядел счастливый,
Как светлели небеса,
Рядом с этой, некрасивой, —
Только губы и глаза...

Только слово: «До свиданья!» —
С легкой грустью произнес.
И короткое рыданье
С легкой грустью перенес.

И пошел, куда не зная,
С автоматом у плеча,
«Белоруссия родная!..» —
Громким голосом крича.
1973

БАЛКАНСКИЕ ПЕСНИ

Эти стихи навеяны чтением народных песен сербов, болгар и румын. В их поэзии я нахожу много общего. «Подражание» не кажется мне словом более зазорным, чем «учение» или, как чаще говорят в наше время, «учеба».

1. Песня о кузнеце

Подъезжает солдат:
— Ты подкуй-ка мне, брат,
вороного! —
А кузнец бьет-бьет,
он солдату кует
подкову.

Подъезжает на рысях
эскадрон: — Так и сяк,
ты подкуй нам коней
толково. —
А кузнец бьет-бьет,
эскадрону кует
подковы.

Подъезжает целый полк:
— Ты в работе знаешь толк,
не сыскать кузнеца
такого! —
А кузнец бьет-бьет,
и полку он кует
подковы.

И в пыли, как в дыму,
войско целое к нему:
— Ты подкуй нам коней
по-свойски! —

А кузнец бьет-бьет,
он подковы кует
для войска...

Ускакал солдат,
ускакал отряд,
скрылся полк за холмом,
скрылось войско за полком...
а кузнец бьет-бьет,
а кузнец бьет-бьет,
бьет-бьет,
бьет.
1970

2. Прощание юнака

Ты скажи, в стране какой,
в дальнем городе каком
мне куют за упокой
сталь-винтовку со штыком?

Грянет выстрел. Упаду,
пулей быстрою убит.
Каркнет ворон на дубу
и в глаза мне поглядит.

В этот час у нас в дому
мать уронит свой кувшин
и промолвит: — Ах, мой сын! —
И промолвит: — Ах, мой сын!..

Если в город Банья Лука
ты приедешь как-нибудь,
остановишься у бука
сапоги переобуть.

Ты пройди сперва базаром,
выпей доброго вина,
а потом в домишке старом
мать увидишь у окна.

Ты взгляни ей в очи прямо,
так, как ворон мне глядит.
Пусть не знает моя мама,
что я пулею убит.

Ты скажи, что бабу-ведьму
мне случилось полюбить.
Ты скажи, что баба-ведьма
мать заставила забыть.

Мать уронит свой кувшин,
мать уронит свой кувшин.
И промолвит: — Ах, мой сын! —
И промолвит: — Ах, мой сын!..
1971

3. Песня о построении кладенца

Надо выкопать колодец,
надо выкопать его.
Пусть живет в колодце жаба —
неземное существо.

Будет, будет эта жаба
Петь в колодце по ночам.
Будет месяц литься слабо
к золотым ее очам.

И увидит эта жаба
наверху одну звезду.
И уронит эта жаба
серебристую слезу.

И придет к колодцу странник,
и опустит он бадью.
И со дна слезу достанет
серебристую твою.

И отыщет странник место
на горе в густом лесу.
И построит целый город
на одну твою слезу.

В этом городе во храме
засияет семь лампад.
Грянет колокол утрами
и в дробинку, и в раскат.

Семь невест придут к колодцу.
Бросят в воду семь колец,
чтобы семь веков не падал
семивратный Кладенец.
1970

4. Песня о походе

А. Я.

Как в поход собирался Вук,
говорил ему старый друг,
старый друг воевода Милош:

— Чем могу помочь тебе, Вук,
если руки не держат лук
и копье мое преломилось?

Я гляжу как сквозь тусклый лед
и не бью уже птицу влет,
не валю на скаку зверя.
Зажирел мой конь от овса.
И ни в сына, и ни в отца,
и ни в чох, ни в сон я не верю.

И ответствовал Вук: — Ну что ж!
Если ты для битвы негож
и не веришь в святого духа,
я и сам воевать могу.
— Чем же я тебе помогу? —
Снова Милош спросил у Вука.

— А помочь мне? Можешь помочь.
У меня остается дочь
и младенец о третьем годе.
Если долго я не приду,
посылай моим чадам еду, —
отвечает Вук воеводе.

— Да и матушку не забудь.
Навести ее как-нибудь,
соболезнуй ее заботе.
А когда истекут ее дни,
по обряду похорони, —
отвечает Вук воеводе.

— И еще мне в чем помоги:
если злую молву враги
обо мне распустят в народе,

ты не верь той молве ни в чем,
как не веришь ни в чох, ни в сон, —
отвечает Вук воеводе.

И садится Вук на коня
и в поход отъезжает шагом.
1971

5. Песнь о друзьях Милоша

Когда старый Милош слеп,
Кто ему вино и хлеб
Приносил
По мере сил?

Не соседские князья,
А старинные друзья —
Те, кого и не просил.

— Моря не видать с горы.
Утром не видать зари,
В полдень солнца нет!
— Нам не скоро уплывать.
Можно ночью пировать! —
Те ему в ответ.

— Иль тебе не сладок мед,
Иль не слышишь, как поет
Дева у ручья?
Иль не дышит ветром сад
И с тобою не сидят
Верные друзья?

Мы нальем тебе вина.
И давай-ка, старина,
Вспомним о былом!
Отдых дай своим мечам,
Отдых дай своим очам!...

Пировали по ночам.
Пели за столом.
1973

СВОБОДНЫЙ СТИХ

В третьем тысячелетье
Автор повести
О позднем Предхиросимье
Позволит себе для спрессовки сюжета
Небольшие сдвиги во времени —
Лет на сто или на двести.

В его повести
Пушкин
Поедет во дворец
В серебристом автомобиле
С крепостным шофером Савельичем.

За креслом Петра Великого
Будет стоять
Седой арап Ганнибал —
Негатив постаревшего Пушкина.
Царь в лиловом кафтане
С брызнувшим из рукава
Голландским кружевом
Примет поэта, чтобы дать направление
Образу бунтовщика Пугачева.

Он предложит Пушкину
Виски с содовой,
И тот не откажется,
Несмотря на покашливание
Старого эфиопа.

— Что же ты, мин херц? —
Скажет царь,
Пяля рыжий зрачок
И подергивая левой щекой.
— Вот мое последнее творение,
Государь, —
И Пушкин протянет Петру
Стихи, начинающиеся словами
«На берегу пустынных волн...».

Скажет царь,
Пробежав
начало:
— Пишешь недурно,
Ведешь себя дурно. —

И, снова прицелив в поэта рыжий зрачок,
Добавит: — Ужо тебе!..

Он отпустит Пушкина жестом,
И тот, курчавясь, выскочит из кабинета
И легко пролетит
По паркетам смежного зала,
Чуть кивнувши Дантесу,
Дежурному офицеру.

— Шаркуны, ваше величество, —
Гортанно произнесет эфиоп
Вслед белокурому внуку

И вдруг улыбнется,
Показывая крепкие зубы
Цвета слоновой кости.

Читатели третьего тысячелетия
Откроют повесть
С тем же отрешенным вниманием,
С каким мы
Рассматриваем евангельские сюжеты
Мастеров Возрождения,
Где за плечами гладковолосых мадонн
В итальянских окнах
Открываются тосканские рощи,
А святой Иосиф
Придерживает стареющей рукой
Вечереющие складки флорентинского плаща.
1973

АННА ЯРОСЛАВНА

Как тебе живется, королева Анна,
В той земле, во Франции чужой?
Неужели от родного стана
Отлепилась ты душой?

Как живется, Анна Ярославна,
В теплых странах?..
А у нас — зима.
В Киеве у нас настолько славно,
Храмы убраны и терема!

Там у вас загадочные дуют
Ветры
с моря-океана вдоль земли.

И за что там герцоги воюют?
И о чем пекутся короли?

Каково тебе в продутых залах,
Где хозяин редок, словно гость,
Где собаки у младенцев малых
Отбирают турью кость?

Там мечи, и панцири, и шкуры:
Войны и охоты — все одно.
Там под вечер хлещут трубадуры
Авиньонское вино...

Ты полночи мечешься в постели,
Просыпаясь со слезой...
Хорошо ли быть на самом деле
Королевой Франции чужой?

Храмы там суровы и стрельчаты,
В них святые — каменная рать.
Своевольны лысые прелаты.
А до Бога не достать!

Хорошо почувствовать на ощупь,
Как тепла медовая свеча!..
Девушки в Днепре белье полощут
И кричат по-русски,
хохоча.

Здесь, за тыщей рек, лесов, распутиц,
Хорошо, просторно на дворе...
Девушки, как стаи белых утиц,
Скатерти полощут во Днепре.
1973

* * *

В августе, когда заголубели
Окна, словно сонные глаза,
Закричал младенец в колыбели,
Но не пролилась его слеза.

Мать легко, разбуженная плачем,
Сон с ресниц стряхнула, как песок,
И склонила голову над младшим,
И младенцу подала сосок...
1973

О Т Р Ы В О К

Мария была курчава.
Толстые губы припухли.
Она дитя качала,
Помешивая угли.

Потрескавшейся, смуглой
Рукой в ночное время
Помешивала угли.
Так было в Вифлееме.

Шли пастухи от стада,
Между собой говорили:
— Зайти узнать бы надо,
Что там в доме Марии?

Вошли. В дыре для дыма
Одна звезда горела.

Мария была нелюдима.
Сидела, ребенка грела.

И старший воскликнул: — Мальчик! —
И благословил ее сына.
И, помолившись, младший
Дал ей хлеба и сыра.

И поднял третий старец
Родившееся чадо.
И пел, что новый агнец
Явился среди стада.

Да минет его голод,
Не минет его достаток.
Пусть век его будет долог,
А час скончания краток.

И желтыми угольками
Глядели на них бараны,
Как двигали кадыками
И бороды задирали.

И, сотворив заклинанье,
Сказали: — Откроем вены
Баранам, свершим закланье,
Да будут благословенны!

Сказала хрипло: — Баранов
Зовут Шошуа и Мадох.
И Богу я не отдам их,
А также ягнят и маток.

— Как знаешь, — они отвечали, —
Гляди, не накликай печали!.. —
Шли, головами качали
И пожимали плечами.
1973

БЛУДНЫЙ СЫН

Поэма

1

По пустому темному проселку
Шел солдат из города домой.
Думал он: «Конечно, мало толку
Жить у нас, особенно зимой...»

2

Время было накануне святок,
Но еще не вылегли снега.
«А отцу-то за восьмой десяток,
Захворал — и вся тут недолга́».

3

Вышел к полю Псовые Охоты,
А оттуда, если глянешь в дол,
Прежде, словно праздничные флоты,
Плыли огоньки окрестных сел.

4

А теперь — хоть глаз коли! Весомо
С четырех сторон стояла мгла.
«С довойны, — подумал, — не был дома,
Может, немец все спалил дотла».

5

Поддувало снизу. Шла поземка.
Далеко кричал локомотив.
Что-то монотонно и негромко
В воздухе гудело, как мотив.

6

Дом был крайний к лесу. Все молчало.
Пес не выл. Петух не голосил.
Во дворе корова не дышала.
Конь не бил копытом о настил.

7

А отец не спал. Ломило руку.
Тараканы терлись на печи.
Он прислушался к ночному стуку
И зажег огарочек свечи.

8

«И кого так поздно носят черти!
Без того нейдет проклятый сон!»
— Отворяй! Закоченел до смерти! —
И старик подумал: «Может, он».

9

Ветер режет хуже Божьей кары,
Не найти дорогу без луны.
— Сам ты чей? — «Не он», — подумал старый.
— Сам с войны. Шагаю в Тиуны.

10

«Пусть-ка сам меня признает», — думал,
Снедь свою тем временем извлек.
Печь остыла. От окошка дуло.
Колебался светлый стебелек.

11

— Выпьем, батя, на помин усопших,
Сам своих ушедших помяни.
А еще за тех, кто тропы топчет
Далеко от дома и родни.

12

Парень, видно, был совсем не беден.
Не пустой мешок с войны волок.
Водку в кружки наплескал: «Поедем!»
— С Богом. Тиуны-то немец сжег.

13

Думал сын: «Не стоит открываться,
Только зря расстроишь старика.
Здесь не жить мне, здесь не оставаться.
Лучше напишу издалека».

14

Он молчал и пил, смятенья полон.
И зубами от тоски скрипел.
А держать язык за частоколом
И в хмелю умел. А надо — пел.

15

Пел натужно, диковато, хрипло.
Песню начинал по десять раз.
Долго пел. Но голова поникла.
Был еще далек рассветный час.

16

То, что старый не увидел глазом,
Мог бы он расслышать в песне той.
Но, наверно, помутился разум
От войны, от жизни прожитой.

17

Думал старый: «Он, видать, не беден.
А добро задаром нажито.
Ночью не заглядывал к соседям.
Пропадет — не хватится никто».

18

Дуло-поддувало в чистом поле.
Дуло, снег сметало на пути.
Ветры на бугре стерню пололи.
Время было около пяти.

19

У печи нащупал топорище.
На мгновенье прохватила дрожь.
Отодвинул от хмельного пищу.
«Может — он? Пожалуй, не похож».

20

Задохнулся. Ноги стали шатки.
«Крепко спит. А если встанет вдруг?
В кошельке, небось, одни тридцатки,
Может, десять, может, двадцать штук...»

21

Дуло, дуло; дуло, дуло, дуло,
Ночь не выдувало со двора.
Посреди избы стоял сутуло
Он, не выпуская топора.

22

Свечка вдруг вздохнула и истлела.
Очи словно дегтем залило.
. . . . . .
. . . . . .

23

. . . . . .
. . . . . .
Сын проснулся. За окном белело.
— Шею, — говорит, — совсем свело!

24

Был он трезв. Старик со страху замер.
Думал, вскочит, крикнет: «Загублю!»
А солдат: — Давай топор, хозяин,
Я тебе дровишек нарублю.

25

— Благодарствуй, — старец чуть ответил.
— Слава Богу, ветер унялся.
Мне пора. Проселок вон как светел,
А отсюда ходу два часа.

26

Старому при свете стало жутко.
Холод разлился в его крови.
Выдохнул: — Как звать тебя? — Зовутка.
Как захочешь, батя, так зови...

27

...По пустому зимнему проселку
Шел солдат от дома на восток.
Шел солдат и плакал втихомолку.
За плечом висел пустой мешок.

28

Он остановился там, где рядом
У раскрестка стыли две сосны —
Две вершинки срезаны снарядом,
Только вбок росли они с войны.

2 9

С той межи, где мерзли две калеки,
Дом еще виднелся вдалеке.
И пошел солдат к одноколейке —
Восемь верст не страшно налегке.
1966—1973

* * *

А. Я.

...И тогда узнаешь вдруг,
Как звучит родное слово.
Ведь оно не смысл и звук,
А утóк пережитого,
Колыбельная основа
Наших радостей и мук.
1973

СКОМОРОШИНА

Поводырь ведет слепого,
Любопытного такого.

— Что там, что там, поводырь?
— Это город Алатырь.

— Почему ж не слышен город?
— В этом городе был голод.
А потом повальный мор.
Целый город перемер.

Идут лесом и болотом.
А незрячий: — Что там, что там?

Надоел поводырю.
— Что молчишь, горбатый?
— Зрю.

— Что там?
— Девка молодая.
— Каковая?
— Таковая:
Губошлеписта, толста.
— Сколько лет-то ей?
— С полста.

— Ах ты, зрячий, сын собачий!..
Что там, что там пахнет клячей?

— Ехал с ярмарки цыган,
Дурака с собой тягал.

Под ракитой опростался,
А дурак со мной остался...

Так бредут слепой с горбатым.
За леса свалился день.
И под месяцем рогатым:
— Что там, что там? — Вор? Пень?
1973

СТИХИ О ПОЛЬШЕ

1939-й

Вперед на прицел и на целик
В шеренге завзятых рубак
Шагал молодой офицерик
С улыбкой и розой в зубах.

Он шел впереди не для позы.
Он просто хотел умереть.
Он жить не хотел без улыбки и розы —
С улыбкой и розой хотел умереть.

Походкою мерной и медной,
Построенный в четкий квадрат,
Полк шел на последний, последний,
Последний, последний парад.

Еще с укрепленных позиций
Стрелки не открыли огня.
Казалось, что вечно продлится
Начало последнего дня.

Казалось, что смертное тело
Намного сильнее души...
И юная роза летела
На каменные блиндажи.
1968

1944-й

Польских смут невольный современник,
Рано утром прибыл я в Мендзыжец.
Праздник был. И служба шла в селеньях,
В тех, что немцы не успели выжечь.

Комендант меня устроил чудно
В старом добром тихом доме. Помню,
Как Марыля Адамовичувна
Вечером читала Сырокомлю.

Брат ее, довольно кислый парень,
Шляхтич и один в дому добытчик,
Полагал, что он принципиален,
Потому что не менял привычек.

Утром отправлялся на толкучку,
Предварительно начистив обувь.
Там торчал, распродавая кучку
Барахла из старых гардеробов.

А потом он торопился бриться
(Жокей-клуб был в доме брадобрея).
Между прочим, юная сестрица
Мне стихи читала в это время.

Ах, моя чахоточная панна!
Маленького зальца воздух спертый!
Как играла ты на фортепьяно
О себе — беспомощной и гордой.

От костлявых клавиш мерзли руки.
И сжимал я в тайном трепетанье
Польшу сеймов, королей, мазурки,
Бледных панн, Мицкевича, восстаний.

Я покинул этот город в полночь,
Собрался и отвалил бесшумно.
Спали пан Станислав Адамович
И Марыля Адамовичувна.

Перед Седлицем едва серело,
И не знал я, что еще увижу
Ребра искалеченной сирены
И за Вислой снег, от крови рыжий.
1973

ПЯТЕРО

Жили пятеро поэтов
В предвоенную весну,
Неизвестных, незапетых,
Сочинявших про войну.

То, что в песне было словом,
Стало верною судьбой.
Первый сгинул под Ростовом,
А второй — в степи сырой.

Но потворствует удачам
Слово — солнечный кристалл.
Третий стал, чем быть назначен,
А четвертый — тем, чем стал.

Слово — заговор проклятый!
Все-то нам накликал стих...
И оплакивает пятый
Участь этих четверых.
1973

РОМАНС СЕДЬМОГО ДНЯ

Ю. Л.

Когда от всех твоих любвей неясных
Родится чадо — лучшее из чад,
Прислушайся к звучанью детских гласных.
Они гласят: зачем я был зачат?

В блаженном содроганье ты был богом,
А в день седьмой вблизи твоих дверей
Твое подобье в логове убогом
Заснет среди растений и зверей.

И ты засни на берегу вселенной,
Спи, слабый бог, окутан сладкой мглой.
И все, что сотворил душой нетленной,
Замрет с тобою рядом в день седьмой...

Дари, творец, дитяти свет вечерний,
Его судьбы кощунственно не трожь...
И может быть, под ласкою дочерней
Когда-нибудь навеки ты уснешь.
Около 1973

НА СМЕРТЬ КУЗНЕЧИКА

Ах, любезный мой кузнечик!
Я расплакаться готов.
Сколько, сколько в чет и нечет
Промотали вы годов!

Ах, как звонко вы ковали
Золотые пустяки!
Ах, как звонко распевали
Золоченые стихи!

Ваше горлышко шальное
Не могло не заболеть.
Ваше горлышко больное
Не могло не умереть.

В каждой вашей оговорке —
У кого их только нет! —
Вы оказывались зорки,
Недогадливый поэт.

Смерть случилась до кончины.
И за рюмочкой винца
Вы справляли годовщины
Незаметного конца.

Ах, любезный мой кузнечик!
Я расплакаться готов.
Из-за ваших узкоплечих
Моложавых пиджачков,

Оттого, что песни ваши
Стали вдруг седей волос,
Оттого, что полной чаши
Вам испить не удалось.
1973—1974

* * *

Не оставляйте письма
Для будущих веков.
Ужасно любопытство
Дотошных знатоков!

И что они узнают,
И что они поймут,
Когда они не знают,
Как на земле живут!

Они как бы заслоном
Отделены от глаз,
И все равно за словом
Не угадают нас.

Пусть весело сгорает
В печи досужий труд,
Пусть вьюги заиграют
И пепел унесут...
1974

* * *

С утра худые сосняки
Припахивают канифолью.
Садов сырые гамаки
Качаются непроизвольно.

Седая, пасмурная даль.
Горланит ворон по-актерски.
Шуршит осенний календарь
В Опалихе и Красногорске.

Туманный дождичек томит.
И все окрестные пейзажи
Запущенный имеют вид,
Как дом, назначенный к продаже.
1973—1974

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Все в доме было чуть поблекшим —
Картины, окна, зеркала,
И локон, на плечо прилегший
С чертой подбитого крыла.

И долго, долго мы сидели —
Не целовались, не клялись,
В глаза друг другу не глядели,
А только за руки взялись.

Но я не мог ладони нежной
Согреть в ладони ледяной,
Ведь пролегла чертой рубежной
Война меж мною и тобой.
1974

* * *

Не торопи пережитого,
Утаивай его от глаз.
Для посторонних глухо слово
И утомителен рассказ.

А ежели назреет очень
И сдерживаться тяжело,
Скажи, как будто между прочим
И не с тобой произошло.

А ночью слушай — дождь лопочет
Под водосточною трубой,
И, как безумная, хохочет
И плачет память над тобой.
1974

* * *

Я теперь жилец Замоскворечья,
Той Москвы, еще не обжитой,
Где нога ступает человечья
Сразу в лифт — и прямо на шестой.

Из окна многоэтажной башни —
Магистрали грифельной накат,
А за нею — пригород вчерашний,
Иногда и яблоневый сад.

Ночью виден вензель ресторанный
И внутри мерцающий экран.
И теперь уже не слишком странны
Притязанья полугорожан.
1974

СТИХИ И ПРОЗА

Мужицкий бунт — начало русской прозы.
Не Свифтов смех, не Вертеровы слезы,
А заячий тулупчик Пугача,
Насильно снятый с барского плеча.

Мужик бунтует против всех основ,
Опровергая кесаря и Бога.
Немая Русь, обильна и убога,
Упорно ищет сокровенных слов.

И в русской прозе отреченный граф
Постиг, переболев в себе боренье,
Что вера без любви — одно смиренье,
А при любви — отстаиванье прав...

Российский стих — гражданственность сама.
Восторг ума, сознанье пользы высшей!
И ямбов ломоносовских грома
Закованы в броню четверостиший.

А в Пушкине все соединено —
Век чаяний и грез и наши лета,
Свобода летописца, честь поэта,
И прозы соль, и грозное вино

Поэзии...
Года бегут, бегут!
И время нас стихам и прозе учит.
И сочинителей российских мучит
Сознанье пользы и мужицкий бунт.
1957—1974

СТИХИ О ДЕЛЬВИГЕ

I

Дельвиг... Лень... Младая дева...
Утро... Слабая метель...
Выплывает из напева
Детской елки канитель.

Засыпай, окутан ленью.
В окнах — снега белизна.
Для труда и размышленья
Старость грубая нужна.

И к чему, на самом деле,
Нам тревожить ход времен!
Белокурые метели...
Дельвиг... Дева... Сладкий сон...

II

Две жизни не прожить.
А эту, что дана,
Не все равно — тянуть
длиннее иль короче?
Закуривай табак,
налей себе вина,
Поверь бессоннице
и сочиняй полночи.

Нет-нет, не зря
хранится идеал,
Принадлежащий поколенью!..
О Дельвиг,
ты достиг такого ленью,
Чего трудом
не каждый достигал!

И в этом, может быть,
итог
Почти полвека,
нами прожитого, —
Промолвить Дельвигу
доверенное слово
И завязать шейной платок.
1974

АРМЕНИЯ

Здесь Арарата древнее господство
Доносит из пастушеских времен
Мычанье и свирели скотоводства
И ремесла жужжание и звон.

Здесь так вверху напряжено пространство,
Что ночью слышно натяженье струн.
В миниатюрах раннего христьянства
Иуда глуп, розовощек и юн.

Страданья разоренных вилайетов,
Забытые уже в иных местах,
До сей поры рождают у поэтов
Грозу в глазах и песню на устах.
1974

* * *

Выйти из дому при ветре,
По непогоду выйти.
Тучи и рощи рассветны
Перед началом событий.

Холодно. Вольно. Бесстрашно.
Ветрено. Холодно. Вольно.
Льется рассветное брашно.
Я отстрадал — и довольно!

Выйти из дому при ветре
И поклониться отчизне.
Надо готовиться к смерти
Так, как готовятся к жизни...
1974

* * *

Жизни первая треть.
Надо любить и смотреть
В мир очарованным оком.

Жизни вторая треть.
Замысел должен созреть
Где-то в укрытье глубоком.

Жизни последняя треть.
Осуществить.
Умереть.
1974

МАРКИТАНТ

Фердинанд, сын Фердинанда,
Из утрехтских Фердинандов
Был при войске Бонапарта
Маркитант из маркитантов.

Впереди гремят тамбуры,
Трубачи глядят сурово.
Позади плетутся фуры
Маркитанта полкового.

Предок полулегендарный,
Блудный отпрыск ювелира
Понял, что нельзя бездарней
Жить, не познавая мира.

Не караты, а кареты.
Уйма герцогов и свиты.

Офицеры разодеты.
Рядовые крепко сшиты.

Бонапарт короны дарит
И печет свои победы.
Фердинанд печет и жарит
Офицерские обеды.

Бонапарт диктует венским,
И берлинским, и саксонским.
Фердинанд торгует рейнским,
И туринским, и бургонским.

Бонапарт идет за Неман,
Что весьма неблагородно.
Фердинанд девицу Нейман
Умыкает из-под Гродно.

Русский дух, зима ли, Бог ли
Бонапарта покарали.
На обломанной оглобле
Фердинанд сидит в печали.

Вьюга пляшет круговую.
Снег валит в пустую фуру.
Ах, порой в себе я чую
Фердинандову натуру!..

Я не склонен к аксельбантам,
Не мечтаю о геройстве.
Я б хотел быть маркитантом
При огромном свежем войске.
1973—1974

* * *

Город ночью прост и вечен,
Светит трепетный неон.
Где-то над Замоскворечьем
Низкий месяц наклонен.

Где-то новые районы,
Непочатые снега.
Там лишь месяц наклоненный
И не видно ни следа,

Ни прохожих. Спит столица,
В снег уткнувшись головой,
Окольцована, как птица,
Автострадой кольцевой.
1974

* * *

Вас соберу, красавицы мои,
По прихоти воображенья.
Пускай мой сад нанижет вам свои
Рябиновые ожерелья.

Пройдите все, как пестрый хоровод,
На празднике воспоминанья.
И каждая пускай сорвет
Гроздь горького признанья.
1974

* * *

Здесь, в комнате, нам слышны из окон —
И гул, и шелестенье,
И раковин морских волшебный геликон —
Вплоть до того мгновенья,
Когда смолкают ветер и прибой
И все моря и океаны,
И остаемся только мы с тобой,
В последнем трепете слиянны.
1974

* * *

Ветры пятнадцатых этажей
Не похожи на ветры,
Плутающие по изворотам
Двухэтажных улиц.
В них нет ропота листьев,
Посвиста заборных прогалов,
Шепота слуховых окон,
Гуда печных труб.
Они дуют ровно и сильно
И кажутся гулом вселенной,
Особенно ночью.
1974

* * *

Отгремели грозы.
Завершился год.
Превращаюсь в прозу,
Как вода — в лед.
1974

* * *

Когда я усну наконец,
Как долго (всю жизнь) не спалось,
Тогда мой усопший отец
Коснется усталых волос.
Тогда, наконец, я пойму,
Что я пробирался сквозь тьму.
И холодно быть одному.
И холодно быть одному.
1974

* * *

Потому мне и жалко
меньших сыновей,
Что им долго пилить
без меня.
Я ведь слышал, как пел
золотой соловей
На пороге грядущего дня.
Я ведь слышал, как пел
золотой соловей,
И такого уже не избыть.
Потому мне и жалко
меньших сыновей,
Что печально и радостно
жить.
1974

* * *

Выспалось дитя. Развеселилось.
Ляльки-погремушки стало брать.
Рассмеялось и разговорилось.
Вот ему какая благодать!

А когда деревья черной ратью
Стали тихо отходить во тьму,
Испугалось. Страшно быть дитятью!
Поскорей бы возрастать ему.
1974

П О Э Т

Средь бесконечных русских споров
И разговоров о путях,
Где понапрасну тратят порох
На подхалимов и сутяг,

Лишь этот вглядывался вяло
В игру вечернего огня
Туда, где облако стояло,
Напоминавшее коня.

И все ж войдет не этот образ
В его стихи когда-нибудь
А неприметная подробность,
Вдруг обнажающая суть,

Хотя, рассеян и неловок
Он пил вино, цедил ответ,
И щурился, как будто довод
Сперва разглядывал на свет.

Потом ушел перед закатом,
Когда горят стекло и жесть,
Стихом, как будто простоватым,
Воспеть державу, долг и честь.
1974

ЗА НЕПРЯДВОЙ

Ходят кони по елани,
Меж собою говорят,
Дескать, едут бусурмане
К нам с набегом, говорят.

— Скрыты в чащах наши веси, —
Отвечает конь коню, —
Не сыскать их в чернолесье
Ни мечу и ни огню.

— Ой, отыщут, ой, отыщут.
Никого не пощадят.
Их ведь тыща, да две тыщи,
Да три тыщи, говорят.

Оседлают нас, буланых,
Оседлают вороных
И угонят от желанных,
Далеко от сел родных.

Ой, увидим, как в тумане
Села дальние горят,
Ох, сердиты басурмане,
Ох, жестоки, говорят.

Пропадут следы в полыни,
Порастет вокруг быльем.
Будем сохнуть на чужбине,
Слезы горькие прольем.

— Нет, на речке, на Непрядве,
Стяги русские стоят.
Будут биться наши рати,
Одолеют, говорят.

И себя не пожалеют
Ради Родины в бою.
Одолеют, одолеют, —
Отвечает конь коню.
1974

* * *

Нам остается жить надеждой и любовью,
Не заносясь, не горячась,
И не прислушиваться к суесловью
Радеющих о нас.

Мы будем жить пустой надеждой,
рады
Глотку любви и доброты,
И слушать о себе издевку злобной правды,
Которая ужасней клеветы.
1974

СТРУФИАН

Недостоверная повесть

1

А где-то, говорят, в Сахаре,
Нашел рисунки Питер Пэн:
Подобные скафандрам хари
И усики вроде антенн,
А может — маленькие роги.
(Возможно — духи или боги, —
Писал профессор Ольдерогге.)

2

Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Многообразные тревоги
Томили русского царя,
От неустройства и досад
Он выходил в осенний сад
Для совершенья моциона,
Где кроны пели исступленно
И собирался снегопад.
Я, впрочем, не был в том саду
И точно ведать не могу,
Как ветры веяли морские
В том достопамятном году.
Есть документы, дневники,
Но твердым фактам вопреки
Есть данные кое-какие.
А эти данные гласят
(И в них загадка для потомства),
Что более ста лет назад
В одной заимке возле Томска

Жил некий старец непростой,
Феодором он прозывался.
Лев Николаевич Толстой
Весьма им интересовался.
О старце шел в народе слух,
Что, не в пример земным владыкам,
Царь Александр покинул вдруг
Дворец и власть, семейный круг
И поселился в месте диком.
Мне жаль всегда таких легенд!
В них запечатлено движенье
Народного воображенья.
Увы! всему опроверженье —
Один престранный документ,
Оставшийся по смерти старца:
Так называемая «тайна» —
Листы бумаги в виде лент,
На них цифирь, и может статься,
Расставленная не случайно.
Один знакомый программист
Искал загадку той цифири
И сообщил: «Понятен смысл
Ее, как дважды два — четыре.
Слова — «а крыют струфиан» —
Являются ключом разгадки».
И излагал — в каком порядке
И как случилось, что царя
С отшельником сошлись дороги...

3

Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Топталось море, словно гурт,
Захватывало дух от гула.

Но почему-то в Петербург
Царя нисколько не тянуло.
Себе внимая, Александр
Испытывал рожденье чувства,
Похожего на этот сад,
Где было сумрачно и пусто.
Пейзаж осенний был под стать
Его душевному бессилью.
— Но кто же будет за Россию
Перед Всевышним отвечать?
Неужто братец Николай,
Который хуже Константина...
А Миша груб и шелопай...
Какая грустная картина!.. —
Темнел от мыслей царский лик
И делался mélancolique.
— Уход от власти — страшный шаг.
В России трудны перемены...
И небывалые измены
Сужают душный свой кушак...
Одиннадцатого числа
Царь принял тайного посла.
То прибыл унтер-офицер
Шервуд, ему открывший цель
И деятельность тайных обществ.
— О да! Уже не только ропщут! —
Он шел, вдыхая горький яд
И дух осеннего убранства.
— Цвет гвардии и цвет дворянства!
А знают ли, чего хотят?..
Но я им, впрочем, не судья...
У нас цари, цареубийцы
Не знают меж собой границы
И мрут от одного питья...

Ужасно за своим плечом
Все время чуять тень злодея...
Быть жертвою иль палачом... —
Он обернулся, холодея.
  Смеркалось. Облачно, туманно
Над Таганрогом. И тогда
Подумал император:
                «Странно,
Что в небе светится звезда...»

4

«Звезда! А может, Божий знак?» —
На небо глянув, думал Федор
Кузьмин. Он пробрался обходом
К ограде царского жилья.
И вслушивался в полумрак.
  Он родом был донской казак.
На Бонапарта шел походом.
Потом торговлей в Таганроге
Он пробавлялся год за годом
И вдруг затосковал о Боге
И перестал курить табак.
Торговлю бросил. Слобожанам
Внушал Кузьмин невольный страх.
Он жил в домишке деревянном
Близ моря на семи ветрах.
Уж не бесовское ли дело
Творилось в доме Кузьмича,
Где часто за полночь горела
В окошке тусклая свеча!
Кузьмин писал. А что писал
И для чего — никто не знал.
А он, под вечный хруст прибоя,
Склонясь над стопкою бумаг,

Который год писал: «Благое
Намеренье об исправленье
Империи Российской». Так
Именовалось сочиненье,
Которое, как откровенье,
Писал задумчивый казак.
И для того стоял сейчас
Близ императорского дома,
Где было все ему знакомо —
Любой проход и каждый лаз —
Феодор неприметной тенью,
Чтоб государю в ноги пасть,
Дабы осуществила власть
«Намеренье об исправленье».

5

Поскольку не был сей трактат
Вручен (читайте нашу повесть),
Мы суть его изложим, то есть
Представим несколько цитат.
«На нас, как ядовитый чад,
Европа насылает ересь.
И на Руси не станет через
Сто лет следа от наших чад.
Не будет девы с коромыслом,
Не будет молодца с сохой.
Восторжествует дух сухой,
Несовместимый с русским смыслом,
И эта духа сухота
Убьет все промыслы, ремесла;
Во всей России не найдется
Ни колеса, ни хомута.
Дабы России не остаться
Без колеса и хомута,

Необходимо наше царство
В глухие увести места —
В Сибирь, на Север, на Восток,
Оставив за Москвой заслоны,
Как некогда увел пророк
Народ в предел незаселенный.
И завершив исход синайский,
Во все концы пресечь пути.
А супротив стены Китайской
Превыше оной возвести».
«В Руси должна быть только Русь.
Татары ж и киргиз-кайсаки
Пусть платят легкие ясаки,
А там как знают, так и пусть...»
«Необходимы также меры
Для возвращенья старой веры,
В никонианстве есть порок,
И суть его — замах вселенский.
Руси сибирской, деревенской
Пойти сие не может впрок».
В провинции любых времен
Есть свой уездный Сен-Симон.
Кузьмин был этого закала.
И потому он излагал
С таким упорством идеал
Российского провинциала.
И вот настал высокий час
Вручения царю прожекта.
Кузьмин вздохнул и, помолясь,
Просунул тело в узкий лаз.

6

Дом, где располагался царь,
А вместе с ним императрица,

Напоминал собою ларь,
Как в описаньях говорится,
И выходил его фасад
На небольшой фруктовый сад.
От моря дальнобойный гул
Был слышен — волны набегали.
Гвардеец, взяв на караул,
Стоял в дверях и не дыхнул.
В покоях свечи зажигали.
Барон Иван Иваныч Дибич
Глядел из кабинета в сад,
Стараясь в сумраке увидеть,
Идет ли к дому Александр.
А государь замедлил шаг,
Увидев в небе звездный знак.
Кузьмин шел прямо на него,
Готовый сразу падать ниц.
Прошу запомнить: таково
Расположенье было лиц —
Гвардеец, Дибич, государь
И Федор, обыватель местный, —
Когда послышался удар
И вдруг разлился свет небесный.
Был непонятен и внезапен
Зеленоватый свет. Его,
Биясь как сердце, источало
Неведомое существо,
Или, скорее, вещество,
Которое в тот миг упало
С негромким звуком, вроде «пах!»,
Напоминавшее колпак
Или, точнее, полушарье,
Чуть сплюснутое по бокам,
Производившее шуршанье,

Подобно легким сквознякам...
Оно держалось на лучах,
Как бы на тысяче ресничин.
В нем свет то вспыхивал, то чах,
И звук, напоминавший «пах!»,
Был страшноват и непривычен.
И в том полупрозрачном теле
Уродцы странные сидели.
Как мог потом поклясться Федор,
На головах у тех уродов
Торчали небольшие рожки.
Пока же, как это постичь
Не зная, завопил Кузьмич
И рухнул посреди дорожки.
Он видел в сорока шагах,
Как это чудо, разгораясь,
Вдруг поднялось на двух ногах
И встало, словно птица страус.
И тут уж Федор пал в туман,
Шепча: «Крылатый струфиан...»
В окно все это видел Дибич,
Но не успел из дому выбечь.
А выбежав, увидел — пуст
И дик был сад. И пал без чувств...
Очнулся. На часах гвардейца
Хватил удар. И он был мертв.
Неподалеку был простерт
Свидетель чуда иль злодейства,
А может быть, и сам злодей.
А больше не было людей.
И понял Дибич, сад обшаря,
Что не хватало государя.

7

Был Дибич умный генерал
И голову не потерял.
Кузьмин с пристрастьем был допрошен
И в каземат тюремный брошен,
Где бредил словом «струфиан».
Елизавете Алексевне
Последовало донесенье,
Там слез был целый океан.
Потом с фельдъегерем в столицу
Послали экстренный доклад
О том, что августейший брат
Изволил как бы... испариться.
И Николай, великий князь,
Смут или слухов убоясь,
Велел словами манифеста
Оповестить, что царь усоп.
Гвардейца положили в гроб
На императорское место.

8

А что Кузьмин? Куда девался
Истории свидетель той,
Которым интересовался
Лев Николаевич Толстой?
Лет на десять забыт в тюрьме,
Он в полном здравье и уме
Был выпущен и плетью бит.
И вновь лет на десять забыт.
Потом возник уже в Сибири,
Жил на заимке у купца,
Храня секрет своей цифири.
И привлекать умел сердца.
Подозревали в нем царя,
Что бросил царские чертоги.

9

Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Он через степи и леса
Летел, как весть, летел на север
Через Москву. И снег он сеял.
И тут декабрь уж начался.
А ветер вдоль Невы-реки
По гладким льдам свистал сурово.
Подбадривали Трубецкого
Лейб-гвардии бунтовщики.
Попыхивал морозец хватский,
Морскую трубочку куря.
Попахивало на Сенатской
Четырнадцатым декабря.

10

А неопознанный предмет
Летел себе среди комет.
1974

СТАРИК

П. А.

Удобная, теплая шкура — старик.
А что там внутри, в старике?
Вояка, лукавец, болтун, озорник
Запрятан в его парике.

В кругу молодых, под улыбку юнца,
Дурачится дьявол хромой.
А то и задремлет, хлебнувши винца,
А то и уедет домой.

Там, старческой страсти скрывая накал,
Он пишет последний дневник.
И часто вина подливает в бокал —
Вояка, мудрец, озорник.
1975

* * *

Ах, бедный современный гений —
Стравинский или Достоевский,
Ты должен ждать, пока тебя
Не поверстает Палиевский.

Безумный Хлебников, молчи,
По дикой Персии скитаясь!
Верлен, игрушечный китаец,
Не слушай дождика в ночи,

Как он, захлебываясь, стонет
В своем безумном: Le sanglot,
Пусть медленно и тяжело
Безумный Маяковский тонет.

Пускай безумный Мандельштам
Обходит, озираясь, Невский
И бодрствует все ночи там,
Покуда дремлет Палиевский.
1975

* * *

Вдруг странный стих во мне родится,
Я не могу его поймать.
Какие-то слова и лица.
И время тает или длится.
Нет! Невозможно научиться
Себя и ближних понимать!
1975

* * *

Служенье памяти!
Из добровольных уз
Ты всех прочней и бескорыстней
И, может, выше, чем служенье муз,
И славы горше и завистней.

Служенье тем, кто был насильно уведен
По оглушенным лестничным площадкам,
И зал подъезда, сотрясавший дом,
Грядущего был слабым отпечатком.

Я десять лет был нем. И двадцать глух.
Но слышал выстрелы подъездной двери.
Скрежещущий стартер, как ключ тюремный, сух —
Не плач, а он обозначал потери.
Служенье тем, кто был отправлен в никуда
И запропал без вести, —
Оно превыше прочих уз, когда
В нем память есть,
но нету мести.

Я думаю порой средь тишины,
Теперь уже не безглагольной,
Что — память! — мы тобой отомщены,
Твоею мукой добровольной.
1975

* * *

Какой пологий Пярнуский залив!
Уходит под воду песок ребристый,
И по воде — по легкой, серебристой —
Идешь себе, колен не замочив.

Боюсь я моря южного. Оно
Красавицей мне снится роковою.
И от его прибоя нет покою,
И полюбить его мне не дано.

Но все ж однажды я его любил.
Слоновьи кряжи северного Крыма.
Так было тяжко, так неодолимо.
Наверно, я тогда моложе был.
1975

* * *

В. Б.

И ветра вольный горн,
И речь вечерних волн,
И месяца свеченье,
Как только стали в стих,
Приобрели значенье.
А так — кто ведал их!

И смутный мой рассказ,
И весть о нас двоих,
И верное реченье,
Как только станут в стих,
Приобретут значенье.
А так — кто б знал о нас!
1975

* * *

Я. С.

Мой милый чтец!.. Ну что за слово!
Не тот ли чтец, кому видна
Природная первооснова
И нам потом разъяснена?

И слово, смешанное с сором,
Блеск обретает колдовской,
Вдруг вспыхивая перед взором,
Как мокрый камешек морской.

Кто говорил, что слово слабо?
Мне кажется, что я лечу.
И ироническая слава
Похлопывает по плечу!

Но тут смолкает вещий голос.
И мы наедине с судьбой...
И вдруг молчанье пропоролось:
Похлопывают нам с тобой...
1975

* * *

Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного,
Но если можно бы сначала
Жизнь эту вымолить у Бога,
Хотелось бы, чтоб было снова
Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного.
1975

* * *

Надо себя сжечь
И превратиться в речь.

Сжечь себя дотла,
Чтоб только речь жгла.
1975

ЧЕРНОВИКИ

Два года я писал в одну тетрадь.
Всю исчеркал. И стал ее листать.
И разбирать с трудом. А толку мало.
Какие-то наброски и начала,
Зачеркнутые густо три строки.
Все недописано. Черновики.

Души моей небрежной черновик!
Невыполненных замыслов наброски,
Незавершенных чувств моих язык,
Угаснувших волнений отголоски!

Зачатки мыслей!
Слово — и пробел.

А тут-то надо было мучить перья!
Но нет, не мог! Не сделал. Оробел...
Зачеркнуто... А вот белей, чем мел,
Свободная страница. Полстраницы.
Неточность. Рядом — беглые зарницы,
Гроза без грома —
вечный мой удел...
1974—1975

* * *

Наверное, слишком уверенно
Считаю, что прожил не зря.
Так думает старое дерево,
Роняя в конце октября
Веселые желтые листья
И зорям на память даря.
1975

* * *

А слово — не орудье мести! Нет!
И, может, даже не бальзам на раны.
Оно подтачивает корень драмы,
Разоблачает скрытый в ней сюжет.

Сюжет не тот, чьи нити в монологе,
Который знойно сотрясает зал.
А слово то, которое в итоге
Суфлер забыл и ты не подсказал.
1975

СНЕГОПАД

Поэма

Декабрь. И холода стоят
В Москве суровой и печальной.
И некий молодой солдат
В шинели куцей госпитальной
Трамвая ждет.
Его семья
В эвакуации в Сибири.
Чужие лица в их квартире.
И он свободен в целом мире.
Он в отпуску, как был и я.

Морозец звонок, как подкова.
Перефразируя Глазкова,
Трамваи, как официантки,
Когда их ждешь, то не идут.

Вдруг снег посыпал. Клочья ватки
Слетели с неба там и тут,
Потом все гуще и все чаще,
И вот солдат, как в белой чаще,
Полузасыпанный стоит
И очарованный глядит.

Был этот снег так чист и светел,
Что он сперва и не заметил,
Как женщина из-за угла
К той остановке подошла.

Вгляделся: вроде бы знакома.
Ах, у кого-то из их дома
Бывала часто до войны!

И он, тогда подросток праздный,
Тоской охваченный неясной,
За ней следил со стороны.

С ухваткой, свойственной пехоте,
Он подошел:
— Не узнаете? —
Она в ответ:
— Не узнаю.
— Я чуть не час уже стою,
И ждать трамвая безнадежно.
Я провожу вас, если можно.
— Куда?
— Да хоть на край земли.
Пошли? —
Ответила:
— Пошли.

Суровый город освежен
Был медленно летящим снегом.
И каждый дом заворожен
Его пленительным набегом.
Он тек, как легкий ровный душ,
Без звука и без напряженья
И тысячам усталых душ
Дарил покой и утешенье,

Он тек на головной платок,
И на ресницы, и на щеки.
И выбившийся завиток
Плыл, как цветок, в его потоке.

Притихший молодой солдат
За спутницей следил украдкой,
За этой выбившейся прядкой,
Так украшавшей снегопад.

Была ль она красива? Сразу
О том не мог бы я сказать.
Конечно, моему рассказу
Красавица была б под стать!
Она была обыкновенной,
Но с той чертою дерзновенной,
Какую могут обрести
Лет где-то возле тридцати
Иные женщины.
В них есть
Смешенье скромности и риска.
Беспечность молодости близко,
Но зрелости слышнее весть.
Рот бледный и немного грубый.
Зато как ровный жемчуг зубы.
И затаенная душа
В ее зрачках жила стыдливо.
Она не то чтобы красива
Была, но просто хороша.
Во всяком случае, солдату
Она казалась таковой,
Когда кругом была объята
Летучей сетью снеговой.
(Легко влюблялись мы когда-то,
Вернувшись в тыл с передовой.)

Я бы еще сказал о ней.
Но женщины военных дней
В ту пору были не воспеты,
Поскольку новые поэты

Не научились воспевать,
А не устали воевать.
Кое-кого из их числа
Уже навеки приняла
Земля под сень своих просторов:
Кульчицкий, Коган и Майоров,
Смоленский, Лебский и Лапшин,
Борис Рождественский, Суворов —
В чинах сержантов и старшин
Или не выше лейтенантов —
Созвездье молодых талантов,
Им всем по двадцать с небольшим...

Шли по Палихе, по Лесной,
Потом свернули на Миусы.
А там уж снег пошел сплошной,
Он начал городить турусы
И даже застил свет дневной.

— Я здесь живу. А вам куда?
— Мне никуда. Но не беда —
Переночую на вокзале.
А там!.. Ведь есть же города,
Куда доходят поезда... —
Они неловко помолчали.
— А можно к вам? —
Сказала:
—Да.

Прошли заснеженным двором.
Стряхнули снег. Вошли вдвоем
В ее продрогшую каморку.
— Сейчас мы печку разожжем, —

Сказала. И его восторгу
Пришел конец. Так холодна
Была каморка и бедна.

Но вскоре от буржуйки дымной
Пошло желанное тепло.
В окне, скрывая холод зимний,
Лепились хлопья на стекло.
Какая радость в дни войны
Отъединиться от погоды,
Когда над вами не вольны
Лихие прихоти природы!
(Кто помнит: стужа, и окоп,
И ветер в бок, и пуля в лоб.)

Он отвернулся от окна,
От города, от снегопада
И к ней приблизился.
— Не надо, —
Сказала. Сделалась бледна.
Он отступился. Вот досада!
Спросила:
— Как вас звать? —
Сказал.
— А вас как? —
Отвечала:
— Клава.

В окне легко и величаво
Варился зимний снежный бал.
Кружила вьюга в темпе вальса,
Снег падал и опять взвивался.

Смеркалось. Светомаскировку
Она спустила. Подала
Картошку. И полулитровку
Достала. В рюмки разлила.

Отделены от бури снежной
Бумажной шторкою ночной,
Они внимали гул печной.
И долго речью безмятежной
Их ублажал печной огонь.
Он в руки взял ее ладонь.

Он говорил ей:
— Я люблю вас,
Люблю, быть может, навсегда.
За мной война, печаль и юность.
А там — туманная звезда. —
Он говорил ей:
— Я не лгу,
Вы мне поверьте, бога ради,
Что, встреченную в снегопаде,
Вас вдруг оставить не могу!..

Такой безвкусицей банальной,
Где подлинности был налет,
Любой солдатик госпитальный
Мог растопить сердечный лед.

Его несло. Она внимала,
Руки из рук не отнимала.
И, кажется, не понимала,
Кто перед ней. И поняла.

И вдруг за шею обняла
И в лоб его поцеловала.
Он к ней подался. К ней прильнул.
Лицом уткнулся ей в колени.
И, как хмельной, в одно мгновенье
Уснул... Как так?.. Да так — уснул.
Вояка, балагур, гусар
Спал от усталости, от водки,
От теплоты, от женских чар.
И его руки были кротки.
Лежал, лицо в колени пряча,
Худой, беспомощный — до плача.
Подумала: куда в метель?
И отвела его в постель.

Проснулся. Женское тепло
Почувствовал в постели смятой.
Протер глаза. Был час десятый.
И на дворе еще мело.

Записка: «Я вернусь к пяти,
Если захочешь, оставайся».
Кружилась вьюга в темпе вальса.
Успела за ночь замести
Она Тверские и Ямские
И все проезды городские,
Все перепутала пути.
С пургой морозы полегчали,
И молодой солдат в печали
Решал — уйти иль не уйти?

Да и меня в иное время
Печаль внезапно проняла
О том, что женщина ушла
И не появится в поэме.

Хотел бы я ее вернуть,
Опять идти под снегопадом...
Как я хотел бы с нею рядом
В тот переулок завернуть!

Как бы хотел, шагая с ней,
Залюбоваться снегом, жестом,
Вернуть и холод этих дней,
И рот, искусанный блаженством...

Я постарел, а ты все та же.
И ты в любом моем пейзаже —
Свет неба или свет воды.
И нет тебя, и всюду ты.

Что я мечтал изобразить?
Не знаю сам. Как жизни нить
Непрочная двоих связала,
Чтоб скоро их разъединить?
Нет, этого, пожалуй, мало.
Важней всего здесь снегопад,
Которым с головы до пят
Москва солдата обнимала.

Летел, летел прекрасный снег,
Струился без отдохновенья
И оставался в нас навек,
Как музыка и вдохновенье...

Учусь писать у русской прозы,
Влюблен в ее просторный слог,
Чтобы потом, как речь сквозь слезы,
Я сам в стихи пробиться мог.
1974—1975

* * *

Возвращаюсь к тебе, дорогая,
К твоим милым и легким словам.
На пороге, меня обнимая,
Дашь ты волю свободным слезам.

— Ах, — ты скажешь, — как времени много
Миновало! Какие дела!
Неужели так долго дорога,
Милый мой, тебя к дому вела!

Не отвечу, к тебе припадая,
Ибо правды тебе не скажу.
Возвращаюсь к тебе, дорогая,
У тебя на пороге лежу.
1975

СМЕРТЬ ИМПЕРАТОРА МАКСИМИЛИАНА

Чешская баллада

В строгом замке, что квадратом
Середь города стоит,
Умирает император,
Добрый маленький старик.

Император он природный,
Императором рожден,
И за это всенародной
Он любовью награжден.

Три различных совещанья
Происходит в этот миг,
Три готовят завещанья
Три из трех дворцовых клик.

Три законных претендента,
Тоже, в общем, старики,
Ждут удобного момента
Взять друг друга за грудки.

Император умирает,
Он отходит. Но пока
Награждает и карает
Августейшая рука.

И еще спешат курьеры,
Мчат приказы из дворца.
Еще строятся карьеры
И надеются сердца.

И законы создаются,
Чтоб цвела его страна,
Еще трубы раздаются,
Раздаются ордена.

Но земному государю
До земного дела нет.
Он узрел иные дали,
Он увидел горний свет.

И Господь к нему приходит
И к земному королю
Стаю ангелов приводит:
— Хочешь, жизнь тебе продлю?

Будешь на своем престоле
Среди ангелов стоять.
По моей высокой воле
Будешь ангелам под стать.

Не ответил сразу старец —
Думал или же дремал.
Долго веки поднимались,
Долго губы разжимал.

Улыбнулся тихо Богу
И ответил: — Не хочу! —
И отправился в дорогу
Вверх по лунному лучу.
1975

Ц Ы Г А Н О В Ы

П о э м а

1. З а п е в

Конь взвился на дыбы,
но Цыганов
Его сдержал, повиснув на узде.
Огромный конь, коричневато-красный,
Смирясь, ярился под рукою властной,

Мохнатоногий, густогривый конь
Сердился и готов был взвиться снова.
Хозяин хохотал. А Цыганова,
Хозяйка, полногруда и крепка,
Смеялась белозубо с расписного
Крыльца, держа ягненка-сосунка.
А Цыганов уже надел хомут
И жеребца поставил меж оглобель.
И сам он был курчав, силен, огромен.
Все было мощно и огромно тут!
И солнце, и телега, и петух,
И посреди двора дубовый комель.
И Цыганова собрала дрова
И в дом пошла.
И сразу опустело,
Когда исчезли три могучих тела —
Ее, и Цыганова, и коня.
Один петух, свой гребень накреня,
Глядел вослед коню и Цыганову.
Потом хозяйка погнала корову.
И это было лишь начало дня.

2. Гость у Цыгановых

— Встречай, хозяйка! — крикнул Цыганов.
Поздравствовались. Сели.
Стол тесовый,
Покрытый белой скатертью, готов
Был распластаться перед Цыгановой.
В мгновенье ока юный огурец
Из миски глянул, словно лягушонок.
И помидор, покинувший бочонок,
Немедля выпить требовал, подлец.

И яблоко моченое лоснилось
И тоже стать закускою просилось.
Тугим пером вострился лук зеленый.
А рядом царь закуски — груздь соленый
С тарелки беззаветно вопиял
И требовал, чтоб не было отсрочки.
Графин был старомодного литья
И был наполнен желтизной питья,
Настоянного на нежнейшей почке
Смородинной, а также на листочке
И на душистой травке. Он сиял.
При сем ждала прохладная капустка,
И в ней располагался безыскусно
Морковки сладкой розовый торец.
На круглом блюде весело лежали
Ржаного хлеба теплые пласты.
И полотенец свежие холсты
Узором взор и сердце ублажали.
— Хозяйка, выпей! — крикнул Цыганов.
Он туговат был на ухо.
Хмельного
Он налил три стакана. Цыганова
В персты сосуд граненый приняла
И выпила. Тут посреди стола
Вознесся борщ. И был разлит по мискам.
Поверхность благородного борща
Переливалась тяжко, как парча,
Мешая красный отблеск с золотистым.
Картошка плавилась в сковороде.
Вновь желтым самоцветом три стакана
Наполнились. Шипучий квас из жбана

Излился с потным пенистым дымком.
Яичница, как восьмиглазый филин,
Серчала в сале. Стол был изобилен.
А тут — блины! С гречишным же блином
Шутить не стоит! Выпить под него —
Святое дело. Так и порешили.
И повторили вскоре. Не спешили,
Однако время шло. Чтоб подымить,
Окно открыли. Двое пацанов
Соседских с воем бились на кула́чки.
По яблоку им кинул Цыганов,
Прицыкнув: — Нате вот и не варначьте! —
Тут наконец хозяйка рядом с мужем
Присела. Байки слушала она
Мужские — кто где ранен, где контужен.
Но снова два соседских пацана
Затеяли возню...
Уже смеркалось.
Тележным осям осень откликалась.
Но в каждом звуке зрела тишина.
Гость чокнулся с хозяйкой: — Будь здорова!
— Будь! — крикнул Цыганов.
А Цыганова
Печально отвернулась от окна.

3. Рожденье сына

Ребенка нес отец. А Цыганова
Была еще бледна и рядом шла.
Ребенок в стеганое одеяльце
Из голубого шелка был одет,
Перепоясан лентой с пышным бантом.
И чуть распахивался, обнаружив
Тугую пену белоснежных кружев.

Оркестра не хватало. Музыкантом
Был только ветер — полевой флейтист.
Он в поле разливал свой ровный свист.
Так Цыганов, казавшийся гигантом
Над низким горизонтом, шел с женой
И нес ребенка позднею весной.
    На полевой дороге колеи
Еще хранили форму ранней грязи.
Но было сухо. Рыжие слои
Напоминали про однообразье
Распутицы.
                Пот лил ручьем со лба
Отцовского, когда взошли на взлобок.
Там перед ними свежий куст был робок.
Но пел. И поле пело, как труба.
И вся округа перед Цыгановым
Каким-то звуком наполнялась новым
И новым цветом для него цвела.
Он сына нес в атласном одеяльце,
И Цыганова каменные пальцы
Природа вся разжать бы не могла.
    Он нес младенца в голубых обновах,
Как продолженье старых Цыгановых
И как начало Цыгановых новых,
Он нес начало будущих веков,
Родоначальника полубогов.
Среди пеленок, кружев, одеялец
Лежал их дома новый постоялец.
И Цыганов глядел при этом вниз,
Чтоб незаметно было, как лились
Из глаз его безудержные слезы...
    Остановились около березы.
На валуне присели отдохнуть.
И Цыганова отворила грудь.

Тут он увидел сына. Он не знал,
Что так младенец немощен и мал.
Он только понял, что за это тело
Он все бы отдал, чем душа владела,
И то свершил, чего не совершал.
Но вдруг ребенок сморщил свой носишко
И раз чихнул.
— Чихать умеет, вишь-ко, —
Промолвил с уважением отец.
— А как же звать его? Сережка? Мишка? —
«И впрямь, как звать его? — подумал он. —
И почему же каждое созданье
Не знает, каково его названье.
Зачем на свете тысячи имен?
И странно, что приобретаешь имя,
Которое придумано другими.
А сам бы как назвал себя?»
Трудна
Была та мысль его про имена.
Он бросил думать и сказал:
— Жена,
Пусть сын наш будет Павел. —
И она,
Чуть улыбнувшись, отвечала: — Ладно. —
Они всегда ведь с мужем жили ладно.
И вот они пришли домой. И в люльку
Плетеную ребенка положили,
Чтоб он там спал покуда день и ночь,
Пока пробрезжит свет в его глазах
И первый смысл его коснется слуха.
А впрямь ли он так нем, и слеп, и глух?
Молчал отец. Жена дитя качала.
И это тоже было лишь начало.

4. Колка дров

С женой дрова пилили. А колоть
Он сам любил. Но тут нужна не сила,
А вольный взмах. Чтобы заголосила
Березы многозвончатая плоть.
Воскресный день. Сентябрьский холодок.
Достал колун. Пиджак с себя совлек.
Приладился. Попробовал. За хатой
Тугое эхо екнуло: ок-ок!
И начал. Вздох и взмах, и зык, и звон.
Мужского пота запах грубоватый.
Сухих поленьев сельский ксилофон.
Поленец для растопки детский всхлип.
И полного полена вскрик разбойный.
И этим звукам был равновелик
Двукратный отзвук за речною поймой.
А Цыганов, который туговат
Был на ухо, любил, чтоб звук был полон.
Он так был рад, как будто произвел он
И молнию, и грозовой раскат.
Он знал, что в колке дров нужна не сила,
А вздох и взмах, чтобы тебя взносило
К деревьям — густолистым облакам,
К их переменчивым и вздутым кронам,
К деревьям — облакам темно-зеленым,
К их шумным и могучим сквознякам.
Он также знал: во время колки дров
Под вздох и взмах как будто думать легче.
Был истым тугодумом Цыганов,
И мысль не споро прилегала к речи.
Какой-нибудь бродячий анекдот
Ворочался на дне его рассудка.
Простейшего сюжета поворот
Мешал ему понять, что это шутка.

«У Карапета теща померла...»
(Как вроде у меня; а ведь была
Хорошая старуха.) «Он с поминок
Идет...»
(У бабы-то была печаль.
Иду, а вечер желтый, словно чай.
А в небе галки — стаями чаинок.)
«И вдруг ему на голову — кирпич.
Он говорит: “Она уже на небе!”»
(Однако это вроде наш Кузьмич,
Да только на того свалились слеги,
Когда у тещи в пасху был хмелен...)
Тут Цыганов захохотал. И клен,
Который возрастал вблизи сарая,
Шарахнулся. И листьев легион взлетел.
И встрепенулась птичья стая.
И были смех, и вдох, и зык, и звон.
— Что увидал? — сходя с крыльца резного,
Хозяина спросила Цыганова.
— Да анекдот услышал однова́.
Давай, хозяйка, складывать дрова.

5. Смерть Цыганова

Под утро снился Цыганову конь.
Приснился Орлик. И его купанье.
И круп коня, и грива, и дыханье,
И фырканье — все было полыханье.
Конь вынесся на берег и в огонь
Зари помчался, вырвавшись из рук
Хозяина. Навстречу два огня
Друг к другу мчались — солнца и коня.

И Цыганов проснулся тяжело.
Открыл глаза. Ему в груди пекло.
Он выпил квасу, но не отлегло.
Пождал и понял: что-то с ним не так.
Сказал:
— Хозяйка, нынче я хвораю. —
С трудом оделся и пошел к сараю.
А там, в сарае, у него — лежак,
Где он любил болеть.
Кряхтя прилег
И папироску медленно зажег.
И начал думать. Начал почему-то
Про смерть: «А что такое жизнь — минута.
А смерть навеки — на века веков.
Зачем живем, зачем коней купаем,
Торопимся и все не успеваем?
И вот у всех людей удел таков».
И думал Цыганов:
«Зачем я жил?
Зачем я этой жизнью дорожил?
Зачем работал, не жалея сил?
Зачем дрова рубил, коней любил?
Зачем я пил, гулял, зачем дружил?
Зачем, когда так скоро песня спета?
Зачем?»
И он не находил ответа.
Вошла хозяйка:
— Как тебе? —
А он:
— Печет в груди. — И рассказал ей сон.
Она сказала:
— Лошади ко лжи.
Ты поболей сегодня, полежи. —

Ушла. А он все думал:
«Как же это?
Зачем я жил? Зачем был молодой?
Зачем учился у отца и деда?
Зачем женился, строился, копил?
Зачем я хлеб свой ел и воду пил?
И сына породил — зачем все это?
Зачем была война, зачем победа?
Зачем?»
И он не находил ответа.
Был день. И в щели старого сарая
Пробилось солнце, на полу играя,
Сарай еще был пуст до Петрова́.
И думал он:
«Зачем растет трава?
Зачем дожди идут, гудят ветра?
А осенью зачем шумит листва?
И снег зачем? Зачем зима и лето?
Зачем?»
И он не находил ответа.
В нем что-то стало таять, как свеча.
Вошла хозяйка.
— Не позвать врача?
— Я сам помру, — ответил ей, — ступай-ка,
Понадобится — позову, хозяйка. —
И вновь стал думать.
Солнце с высоты
Меж тем сошло. Дохнуло влажной тенью.
«Неужто только ради красоты
Живет за поколеньем поколенье —
И лишь она не поддается тленью?

И лишь она бессмысленно играет
В беспечных проявленьях естества?..»
И вот, такие обретя слова,
Вдруг понял Цыганов, что умирает...
...Когда под утро умер Цыганов,
Был месяц в небе свеж, бесцветен, нов;
И ветер вдруг в свои ударил бубны,
И клены были сумрачны и трубны.
Вскричал петух. Пастух погнал коров.
И поднялась заря из-за яров —
И разлился по белу свету свет.
Ему глаза закрыла Цыганова,
А после села возле Цыганова
И прошептала:
— Жалко, Бога нет.

1971—1975

Я сделал свой выбор...

1976—1981

* * *

Светлорогая полночь висит над землей,
Светлый дом увязает в снегу.
Хорошо на ветру нехолодной зимой
Спится синему березняку.

Мне бы надо отправиться в снежную ночь
В неизведанный край тишины,
Когда спит моя мать, когда спит моя дочь,
И жена моя спит, и сыны.

В эту светлую ночь хорошо одному,
Ибо видятся сны наяву.
И куда мне идти? И никак не пойму
Для чего я на свете живу.
1976

* * *

Поэзия пусть отстает
От просторечья —
И не на день, и не на год —
На полстолетья.

За это время отпадет
Все то, что лживо.
И в грудь поэзии падет
Все то, что живо.
1976

ДЕЗЕРТИР

Выскочил из окружения.
Драпанул.
Бежал, задыхаясь, захлебываясь,
Чуя спиной отдаление выстрелов.
И вдруг неизвестно как выплутал
К знакомым кочкарникам.
Там стояли стога прошлогоднего сена.

Упал под стог болотного сена.
Перестрелка суматошила слева,
Постепенно
Отдаляясь.
Долго дышал, отдыхал, принимая в сознание
То, что было вокруг: стальной холод осенней ночи,
Стога сена и звезды неба.
Звезд было густо. Метеориты
Трассировали беззвучными очередями.

Он лежал на спине.

Кто видел ночные стога, тот знает,
Что они порождают чувство движения к небу,
Что грузно вплывают в звезды,
Придавая им запах увядающих трав.
Со стогов не кажется страшной вселенная,
Потому что в них можно угреться,
И движение к небу ощущать как движение к дому.

Он проехал в уме тряским кочкарником,
Потом чистым округлым кустарником ближних делянок.
У сенного навеса,
Круто развернув передок,
Плечом поднажал и вывернул воз.

Но оттуда домой не поехал,
Ибо дома себя не увидел.

Лежал, привалившись к стогу.
Звезды чиркали с неба.
Бой смещался к востоку.
Артиллерия била слева.

Хорошо пригреться, отдыхая от смерти,
От приказа: живым не сдаваться. Да он и не сдался.
Винтовку с собой уволок — ее он припрячет в стогу.

Подобная полночь
Бывает поздней осенью,
Когда седеют трава
И осины, не отронявшие листьев.
Выйдешь, бывало, из дома
По нужде. И замрешь у крыльца,
Пока кот, черномазый колдун,
Не притрется к ногам.

Если войска отступают, надо поддерживать дом.

Он это сено косил прошлым годом.
Бабы во время покоса пахнут просушенным потом,
Жаром и соком пьяной болотницы.

Теперь он прошел в уме
Задами, по тропке — к избе.
Но в дверь не вошел,
Потому что опять дома себя не увидел.

Лежал, привалившись к стогу,
Бой смещался к востоку.

Когда шли к фронту, навстречу гнали стада.
По обочине шли пастухи,
Завернувшись в кнуты, словно в скатки.
Старый бык неумело
Волочил за собою телегу,
Свое грузное тело
Унося от набега.
А потом авиация налетела...

Тот, кто лежал в стогу осенней травы,
Знает, как далеко до рассвета
Ночь наклоняется к утру,
Как, словно без ветра,
Дуновение пробегает в осиннике.

Лежал, привалившись к стогу.
Живой, слава богу!
Бой смещался к востоку.

Там, за Вязьмой грозный гуд:
Там фашисты наших бьют!

Закричала сова.
А-а!
Не позднее 1976

* * *

Л. Л.

Чем, собственно, живопись хуже?
В ней, может быть, даже точней
Видение леса, и стужи,
И синих следов от саней.

Но все же она не соперник
Окну, где весь день за стеклом
Бытуют осинник и ельник,
И снег, и седой бурелом.

И можно ль соперничать разве
С тем воображеньем моим,
Где сила и разнообразье
Потворствуют воздуху зим!
1976

* * *

Чем более живу, тем более беспечной
Мне кажется луна и время быстротечней,
Томительнее страсть, острее боль обид,
Понятнее поэт Мартынов Леонид.

А больше ничего я здесь не понимаю,
Хоть вслушиваюсь в даль и целый день внимаю,
И всматриваюсь в шум, и слышу свет и тень,
И вижу звук и гул, и слепну каждый день.
1976

РЕЦЕНЗИЯ

Все есть в стихах — и вкус, и слово.
И чувства верная основа,

И стиль, и смысл, и ход, и троп,
И мысль изложена не в лоб.

Все есть в стихах — и то и это,
Но только нет судьбы поэта,

Судьбы, которой обречен,
За что поэтом наречен.
10 марта 1976

* * *

Не увижу уже Красногорских лесов,
Разве только случайно.
И знакомой кукушки, ее ежедневных часов
Не услышу звучанья.

Потянуло меня на балтийский прибой,
Ближе к хладному морю.
Я уже не владею своею судьбой
И с чужою не спорю.

Это бледное море, куда так влекло россиян,
Я его принимаю.
Я приехал туда, где шумит океан,
И под шум засыпаю.
1976

* * *

Россия одинока в мире,
Она одна стоит как перст,
Не докричишься в этой шири
Ни до кого, кто есть окрест.

Нет никого окрест России,
Нет никого в ее пути.
И ни уму, ни лжи, ни силе
Ее, России, не спасти.
1976

* * *

И вот однажды ночью
Я вышел. Пело море.
Деревья тоже пели.
Я шел без всякой цели.
Каким-то тайным звуком
Я был в ту пору позван.
И к облакам и звездам
Я шел без всякой цели.
Я слышал, как кипели
В садах большие липы.
Я шел без всякой цели
Вдоль луга и вдоль моря.
Я шел без всякой цели,
И мне казались странны
Текучие туманы.
И спали каруселя.
Я шел без всякой цели
Вдоль детских развлечений —
Качелей, каруселей,
Вдоль луга и вдоль моря,
Я шел в толпе видений,
Я шел без всякой цели.
1976

* * *

Вставал буграми ледоход,
Дымилась скверная погодка.
Зима справляла свой уход
С тщеславным буйством самородка.

А все-таки в природе есть
С людьми разительное сходство —
Как в нас, презрительная спесь,
Безудержное сумасбродство.

Хотя бы в мартовских лесах
Какой-то есть замах ушкуйный,
Когда с соломой в волосах
Стоят нечесаны и буйны.

И хочется на том пиру,
Их беспардонность повторяя,
Выть и качаться на ветру,
Бранясь и слов не выбирая.
1976

* * *

Сперва сирень, потом жасмин,
Потом — благоуханье лип,
И, перемешиваясь с ним,
Наваливается залив.

Здесь масса воздуха висит
Вверху, как легкое стекло.
Но если дождь заморосит,
Земля задышит тяжело.

Залив господствует везде,
Навязывая свой накат.
Деревья держит он в узде,
Захватывает весь закат.

Он на могучем сквозняке
Лежит пологим витражом.
И отражает все в себе,
И сам повсюду отражен.
1976

ПЕСЕНКА ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ

Моя душа, душа моя,
Твои дела несовершенны.
И облако плывет над нами,
Как одинокая ладья.

Душа моя, моя душа,
Забудь, что мы с тобой в разлуке.
Ведь облака в бессонном небе
Плывут друг к другу не спеша.

Моя душа, душа моя,
Когда-нибудь соединимся,
Постигнем тайное значенье
Небытия и бытия.

Душа моя, моя душа,
Давай прислушаемся снова
К ночному разговору листьев
Или к шуршанью камыша.
1976

* * *

Я люблю ощущенье ушедших годов
И забытых ладоней тепло.
Я снимаю со времени тайный покров,
Убеждаясь: оно утекло.

Но зачем этот сад накануне зимы,
Этот город туманный зачем,
И зачем же тогда в этот городе мы,
Сочинители странных поэм?

А великое слово «зачем» — как пароль,
Произнесенный в долгих ночах.
И безумствую я, как влюбленный король,
По бессоннице и при свечах.
1976

* * *

Стихи читаю Соколова —
Не часто, редко, иногда.
Там незаносчивое слово,
В котором тайная беда.

И хочется, как чару к чаре,
К его плечу подать плечо —
И от родства, и от печали,
Бог знает от чего еще!..
1976

СТАРЫЙ ДОН ЖУАН

Поэма

Убогая комната в трактире.

Дон-Жуан. Чума! Холера!
Треск, гитара-мандолина!
Каталина!

Каталина

(входит)

Что вам, кабальеро?

Дон-Жуан. Не знает — что мне!
Подойди, чума, холера!
Раз на дню о хвором вспомни,
Погляди, как он страдает!
Дай мне руку!

Каталина

Ну вас, старый кабальеро.

(Каталина убегает.)

Дон-Жуан. Постой!.. Сбежала,
Внучка Евы, род злодейский,
Чтобы юного нахала
Ублажать в углу лакейской!
Где мой блеск, где бал насущный
Ежедневных наслаждений!
А теперь девчонки скучной
Домогаюсь, бедный гений.
Зеркало! Ну что за рожа!
Кудрей словно кот наплакал.
Нет зубов. Обвисла кожа.

(Зеркало роняет на пол.)

Вовремя сойти со сцены
Не желаем, не умеем.
Все Венеры и Елены
Изменяют нам с лакеем.

Видимость важнее сути,
Ибо нет другой приманки
Для великосветской суки
И для нищей оборванки.
Старость хуже, чем увечье.
Довело меня до точки
Страшное противоречье
Существа и оболочки...
Жить на этом свете стоит
Только в молодости. Даже
Если беден, глуп, нестоек,
Старость — ничего нет гаже!
Господи! Убей сначала
Наши страсти, наши жажды!
Неужели смерти мало,
Что ты нас караешь дважды?
Юный дух! Страстей порывы!
Ненасытные желанья!
Почему еще вы живы
На пороге умиранья?
Неужели так, без спора,
Кончилась моя карьера?..
Каталина! Каталина!

Входит Череп Командора.

Череп. Здравствуй, кабальеро!
Сорок лет в песке и прахе
Я валялся в бездорожье...
Дон-Жуан *(отпрянув в страхе)*.
Матерь Божья! Матерь Божья!
Кто ты?
Череп. Помнишь Анну?
Дон-Жуан. Какая Анна?
Ах, не та ли из Толедо?

Ах, не та ли из Гренады?
Или та, что простоянно
Распевала серенады?
Помню, как мы с ней певали
В эти дивные недели!
Как она теперь? Жива ли?
Ах, о чем я, в самом деле!..
Что-то там с ее супругом
Приключилось ненароком.
Не о том ли ты с намеком?
Череп, я к твоим услугам.
Череп. Я не за расплатой.
Судит пусть тебя Предвечный.
Расплатился ты утратой
Юности своей беспечной.
Старый череп Командора,
Я пришел злорадства ради,
Ибо скоро, очень скоро,
Ляжем мы в одной ограде;
Ибо скоро, очень скоро
Ляжем рано средь тумана —
Старый череп Командора,
Старый череп Дон-Жуана.
Дон-Жуан *(смеясь)*. Всего лишь!
Мстишь за старую интрижку?
Или впрямь ты мне мирволишь?
Иль пугаешь, как мальчишку?
Мне не страшно. На дуэли
Мог я сгинуть для забавы.
А теперь скрипят, как двери,
Старые мои суставы...
Череп. Смерть принять — не шлюху
Обнимать. А ты, презренный,
Ничего не отдал духу,
Все ты отдал жизни тленной.

Дон-Жуан. Я жизни тленной
Отдал все. И сей блаженный
Сон мне будет легче пуху.
Ни о чем жалеть не стоит,
Ни о чем не стоит помнить...
Череп. Крот могилу роет...
Собирайся. Скоро полночь.
Дон-Жуан. Я все растратил,
Что дано мне было Богом.
А теперь пойдем, приятель,
Ляжем в логове убогом.
И не будем медлить боле!..
Но скажи мне, Череп, что там —
За углом, за поворотом,
Там — за гранью?..
Череп. Что там?
Тьма без времени и воли...
1974— 1976

* * *

Надо так, разбираясь толково,
Узнавать о своих сыновьях,
Словно без толмача разбитного
Путешествуешь в чуждых краях.

Да и что нам толмач растолмачит
В их превратной и легкой судьбе!
Только что-то в ней переиначит,
Перешьет и примерит к себе.

Да и как нам, былым забиякам,
Понимать своих хмурых котят?
Разве что по таинственным знакам?..
Впрочем, пусть их живут, как хотят!
1976

* * *

И что еще за странная привычка —
Прилипчивое это бытие,
Истлевшее, как фосфорная спичка,
Уже совсем как будто не мое.

И все же мы живем, подозревая
В себе наличье океанских сил.
И все же — может, вывезет кривая
И поплыву, куда еще не плыл.
1976

СВОБОДНЫЙ СТИХ

Свободный стих —
для лентяев,
для самоучек,
для мистификаторов
(когда без точек и запятых).

Но в руках настоящего мастера
он являет
естественную силу речи,
то есть мысли.

Организованный стих
организован для всех —
для посредственности и таланта,
он подстегивает вдохновение
и подсказывает метафору.

Надо быть слишком уверенным
в собственной ценности,
чтобы посметь изъясняться
свободным стихом.
Отыдите, нерадивые!
1976

* * *

Я учился языку у нянек,
У молочниц, у зеленщика,
У купчихи, приносившей пряник
Из арбатского особнячка.

А теперь мне у кого учиться?
Не у нянек и зеленщика —
У тебя, моя ночная птица,
У тебя, бессонная тоска.
1976

РАССВЕТ В ПЯРНУ

Светает поздно. К девяти.
И долог этот час светанья,
Где начинает свет расти
И намечаться очертанья.

Сначала исподволь, едва,
В предместье, в пригороде, где-то
Чуть отступает синева
От городского силуэта.

Потом деревья и дома
Все четче на темно-лиловом.
Оказывается — зима,
Пора бы снегу и сугробам.

Прохожие. Пробег машин.
На городских часах — десятый.
А в парке посреди вершин.
Ночь спит вороною лохматой.

Но, кажется, произошло
Высвечиванье перспективы.
Оказывается — светло.
Оказывается — мы живы.
1976

* * *

И снова все светло и бренно —
Вода, и небо, и песок,
И хрупкая морская пена,
И отплывающий челнок.

Уж не волнуют опасенья.
Отпущен конь, опущен меч.
И на любовь и на спасенье
Я не решусь себя обречь.

Высокой волей обуянный,
Пройду таинственной межой
И постучусь, пришелец странный,
К себе домой, как в дом чужой.
1976

З А Л И В

Я сделал свой выбор. Я выбрал залив,
Тревоги и беды от нас отдалив,
А воды и небо приблизив.
Я сделал свой выбор и вызов.

Туманного марта намечен конец,
И голос попробовал первый скворец.
И дальше я вижу и слышу,
Как мальчик, залезший на крышу.

И куплено все дорогою ценой.
Но, кажется, что-то утрачено мной.
Утратами и обретеньем
Кончается зимняя темень.

А ты, мой дружок, мой весенний рожок,
Ты мной не напрасно ли душу ожег?
И может быть, зря я неволю
Тебя утолить мою долю?

А ты, мой сверчок, говорящий жучок,
Пора бы и мне от тебя наутек.
Но я тебе душу вручаю.
И лучшего в мире не чаю.

Я сделал свой выбор. И стал я тяжел.
И здесь я залег, словно каменный мол.
И слушаю голос залива
В предчувствии дивного дива.
1977

* * *

О бедная моя!
Ты умерла. А я
Играю под сурдину
На скрипке бытия.

И так же непреложно
Ведет меня стезя
Туда, где жить не можно
И умереть нельзя.
1977

* * *

Кто двигал нашею рукой,
Когда ложились на бумаге
Полузабытые слова?
Кто отнимал у нас покой,
Когда от мыслей, как от браги,
Закруживалась голова?
Кто пробудил ручей в овраге,
Сначала слышимый едва,
И кто внушил ему отваги,
Чтобы бежать и стать рекой?..
1977

ПЯРНУСКИЕ ЭЛЕГИИ

Г. М.

I

Когда-нибудь и мы расскажем,
Как мы живем иным пейзажем,
Где море озаряет нас,
Где пишет на песке, как гений,
Волна следы своих волнений
И вдруг стирает, осердясь.

II

Красота пустынной рощи
И ноябрьский слабый свет —
Ничего на свете проще
И мучительнее нет.

Так недвижны, углубленны
Среди этой немоты
Сосен грубые колонны,
Вязов нежные персты.

Но под ветром встрепенется
Нетекучая вода...
Скоро время распадется
На «сейчас» и «никогда».

III

Круг любви распался вдруг.
День какой-то полупьяный.
У рябины окаянной
Покраснели кисти рук.

Не маши мне, не маши,
Окаянная рябина,
Мне на свете все едино,
Коль распался круг души.

IV

И жалко всех и вся. И жалко
Закушенного полушалка,
Когда одна, вдоль дюн, бегом —
Душа — несчастная гречанка...
А перед ней взлетает чайка.
И больше никого кругом.

V

Здесь великие сны не снятся.
А в ночном сознанье теснятся
Лица полузабытых людей —
Прежних ненавистей и любвей.
Но томителен сон про обманы,
Он болит, как старые раны,
От него проснуться нельзя.
А проснешься — еще больнее,
Словно слышал зов Лорелеи
И навек распалась стезя.

VI

Деревья прянули от моря,
Как я хочу бежать от горя —
Хочу бежать, но не могу,
Ведь корни держат на бегу.

VII

Когда замрут на зиму.
Растения в садах,
То невообразимо,
Что превратишься в прах.

Ведь можно жить при снеге,
При холоде зимы.
Как голые побеги,
Лишь замираем мы.

И очень долго снится —
Не годы, а века —
Морозная ресница
И юная щека.

VIII

Как эти дали хороши!
Залива снежная излука.
Какая холодность души
К тому, что не любовь и мука!

О, как я мог так низко пасть,
Чтобы забыть о милосердье!..
Какое равнодушье к смерти
И утомительная страсть!

IX

Любить не умею,
Любить не желаю.
Я глохну, немею
И зренье теряю.
И жизнью своею
Уже не играю.
Любить не умею —
И я умираю.

X

Пройти вдоль нашего квартала,
Где из тяжелого металла
Излиты снежные кусты,
Как при рождественском гаданье.
Зачем печаль? Зачем страданье,
Когда так много красоты?

Но внешний мир — он так же хрупок,
Как мир души. И стоит лишь
Невольный совершить проступок:
Задел — и ветку оголишь.

XI

В Пярну легкие снега.
Так свободно и счастливо!
Ни одна еще нога
Не ступала вдоль залива.

Быстрый лыжник пробежит
Синей вспышкою мгновенной.
А у моря снег лежит
Свежим берегом вселенной.

XII

Когда тайком колдует плоть,
Поэзия — служанка праха.
Не может стих перебороть
Тщеславья, зависти и страха.

Но чистой высоты ума
Достичь нам тоже невозможно.
И все тревожит. Все тревожно.
Дождь. Ветер. Запах моря. Тьма.

XIII

Утраченное мне дороже,
Чем обретенное. Оно
Так безмятежно, так погоже,
Но прожитому не равно.
Хотел мне дать забвенье, Боже,
И дал мне чувство рубежа
Преодоленного. Но все же
Томится и болит душа.

XIV

Вдруг март на берегу залива.
Стал постепенно таять снег.
И то, что было несчастливо,
Приобрело иной разбег.

О этот месяц непогожий!
О эти сумрачные дни!
Я в ожидании... О Боже,
Спаси меня и сохрани...

XV

Расположенье на листе
Печальной строчки стихотворной.
И слезы на твоем лице,
Как на иконе чудотворной.
И не умею передать
То, что со мною происходит:
Вдруг горний свет в меня нисходит,
Вдруг покидает благодать.

XVI

Чет или нечет?
Вьюга ночная.
Музыка лечит.
Шуберт. Восьмая.

Правда ль, нелепый
Маленький Шуберт,
Музыка — лекарь?
Музыка губит.

Снежная скатерть.
Мука без края.
Музыка насмерть.
Вьюга ночная.
1976—1977

СОН О ГАННИБАЛЕ

Поэма

Однажды на балтийском берегу,
Когда волна негромко набегала,
Привиделся мне образ Ганнибала.
Я от него забыться не могу.
Все это правда и подобье сна,
И мой возврат в иные времена.

— Чего Россия нам не посылала —
Живой арап! — так, встретив Ганнибала,
Ему дивился городок Пернов.
Для этих мест он был больших чинов.
Сей африканец и поэта прадед
Напрасно, говорили, слов не тратит,
А чуть чего — пускает в дело трость.
За это в нем предполагали злость.

Портреты Ганнибала мало схожи
С оригиналом — только смуглость кожи,
Но живость черт, огонь, сокрытый в нем,
И острый ум — не вышли ни в одном.
Глаза как пара черных виноградин,
Походкой мягок и фигурой ладен,
Во цвете лет мужских, не слаб, не хвор.
И по военной табели — майор.
Заслугами, умом и сердцем храбрым
Он сходен был с Венецианским мавром.
Но не Венеция — увы! — Пернов,
Для африканца климат здесь суров.
И вообще арап в России редок,
Особенно такого внука предок!

При нем — жена. Гречанка. Дочь Эллады.
А может быть, Леванта. Мы бы рады
Назвать ее красавицей. Когда б
Приехал с Афродитою арап,
Сюжет у нас пошел бы без задорин
И был бы слишком ясен и бесспорен.
Но с самого начала вышел сбой.
Дочь грека-моряка, она собой
Была нехороша. Слегка раскоса,
Бледна, худа, черна и длинноноса.
Но, видно, все же что-то было в ней.
Арап ее любил. Ему видней.
Он явно снисходил к ее порокам,
Поскольку греки ближе к эфиопам.

В ту пору швед, преодолев разброд,
На нас напасть готовил мощный флот.
И положили русские стратеги,
Чтоб вражеские отвратить набеги
И на предмет закрытия путей,
Усилить ряд приморских крепостей.

Взял знаменитый граф фельдмаршал Миних
Заботу на себя о тех твердынях.
И для устройства крепости Пернов
Им послан был майор Абрам Петров.
Весь день он пропадал на бастионах
И занимался устроеньем оных.
И, в увлечении взойдя на вал,
Он обо всем другом позабывал.
Фортификацию воображеньем
Он дополнял. И к будущим сраженьям
Готовил бастионы и валы.
Он инженер был выше похвалы.
Честолюбивый русский абиссинец
Готовил шведам дорогой гостинец,
Ведь он недаром наименовал
Себя Абрам Петрович Ганнибал.
А может быть, и впрямь в него запало,
Что род его идет от Ганнибала.
Погряз в трудах арап полуопальный.
Супруга же весь день томилась в спальной
И грезила лениво наяву,
Воспоминая детство и халву.
Она скучала. Городок степенный
Ее стеснял тоскою постепенной.
Всего две тыщи душ, да гарнизон.
Конечно, в этой скуке был резон.
Ее не тешил моря свет жемчужный,
Ей снился берег дальний, город южный,
И пена белая, край синих вод,
И уходящий в море галиот.
Он звал к себе и уходил все дальше
Перед печальным взором Ганнибальши.
Добро бы муж хоть вечером домой.
А он едва увидится с женой

В обед — и снова не до разговоров.
Преподавал он в школе кондукторов
Черченье, математику. И там
Все время проводил по вечерам.
А шел домой — хотя в Пернове летом
Почти не видно ночи, но при этом
На улицах ни звука, ни души —
Весь город спит. И дивно хороши
Вверху деревья, крыши, шпили, трубы.
А дома спит жена, надувши губы,
В себе младенца бережно растя,
Да и сама похожа на дитя —
С плеча сползает теплая перина...
Майор читал трагедии Расина.

В той школе, где преподавал арап,
Состав учеников был слишком слаб.
Не помнили, что дважды два — четыре,
А только куролесили в трактире.
Один среди развратных молодцов
Науку понимал Иван Норцов,
С налету схватывал, толково, споро
И потому стал слабостью майора.
Для назидания Абрам Петров
Рассказывал ему про век Петров
И был пленен способным шалопаем.
И тот был в дом все чаще приглашаем.
Над ним посмеивались, что дурак.
И, дескать, у арапа он арап.
Майор же, честолюбье в нем питая,
Нередко выручал праздношатая.
К примеру — следствие завел кригсрехт
О том, что кондуктор вовлек во грех
Девицу Моор. И оная девица
Клялась, что обещал на ней жениться.

Майор вступился. Хоть закон был строг,
Но суд есть суд. И найден был предлог.
И в результате учинить велели
Норцову наказание на теле
И тем покончить. Но обрел майор
Врага — мамашу Моршу — с этих пор.
В ту осень Евдокия разрешилась
От бремени. И, как сие свершилось,
Пустою бочкой покатился слух,
Как будто точно узнано от слуг,
Что родился на свет ребенок белый.
Над этим потешался город целый.
А Морша суетилась пуще всех.
Ребенок же был смуглый, как орех.
И, презирая сплетни городские,
Майор назвал и дочку — Евдокия.
Про слух он знал. Но был спесив и горд.
И лишь послал в Коллегию рапорт,
Прося отставки по болезни очной,
Но вскоре был ответ получен срочный —
Отказ. Повелено ему служить
И, следовательно, в Пернове жить.
А дело в том, что Миних-граф близ трона
Тогда стоял. И, зная нрав Бирона,
Считал, что бывший царский фаворит,
Как нынче говорится, погорит,
Коль будет на глазах у новой власти.
Пожалуй, он был в этом прав отчасти...
И лучше уж томиться от страстей,
Чем пострадать безвинно от властей.
Майор же был взбешен. В Пернове этом
Бессмысленных наветов быть предметом!
И знал, что зря, — смирить себя не мог.
И в горле день и ночь стоял комок.

Он стал искать намеки в каждом слове
И не умел унять арапской крови.
Входил к жене в покой. Смотрел дитя.
И удалялся пять минут спустя.
Его проклятое воображенье
Рождало боль, похожую на жженье.
И злобный случай подстерег его.

Случилось это все под Рождество,
Когда в стрельчатых храмах лютеране
Поют свои молитвы при органе.
Абрам Петрович заглянул во храм.
И слушать службу оставался там.
Тем временем к майору на квартиру
Забрел Норцов, шатаясь без мундиру,
Не помня, как вошел туда хмельной.
И встал перед майоровой женой.
В постели та застыла от испуга,
Но вдруг послышались шаги супруга.
Вошел майор. Норцова обнял страх.
И он сбежал. Она вскричала: «Ах!»
Абрам Петрович, помолчав с минуту,
Промолвил: «Так!» И, повернувшись круто,
Прошел к себе. В недоброй тишине
Весь замер дом. И он вбежал к жене.
Гречанка закричала. Так был шал
И страшен муж. Он тяжело дышал,
Сюртук расстегнут, а в руке нагайка.
Он произнес сквозь зубы: «Негодяйка!» —
И наотмашь ударил по лицу,
Подставленному гневу и свинцу.
Бил долго, дико, слепо. И сначала
Она кричала. После замолчала.
Тут он очнулся. И, лишившись сил,
Мучительно и хрипло вопросил:

«Теперь ответствуй мне, была ль измена?»
Она прикрыла голое колено
И, утомясь от боли и стыда,
Кровь сплюнула и отвечала: «Да!»
Ее теперь нездешняя усталость
Вдруг обуяла. Умереть мечталось.
И молвила ему — как пулю в лоб:
«Убей меня, проклятый эфиоп!
Я никогда твоей не буду боле.
И отдаю себя господней воле!»

Всю ночь не спал арап. Унявши страсть,
Он был готов теперь ей в ноги пасть.
Но век не тот! Там нравы были круты,
А честь и гордость тяжелей, чем путы.
Свой кабинет он запер изнутри
И пил вино без просыпу дня три, —
Российский способ избывать печали.
И сам молчал. И все в дому молчали.
В нем все смешалось — подозренье, гнев,
Раскаянье, любовь. Как пленный лев,
Весь день метался в узком помещенье
Меж мыслями о мщенье и прощенье.
И вдруг пришел к жене. Сказал ей: «Ты
Меня презрела из-за черноты.
Но мне как на духу ответь — что было?
И правда ли, что ты мне изменила?»
И снова, так же твердо, как тогда,
Ему гречанка отвечала: «Да!»

И вновь ушел арап. И пил вино.
Забросил службу. Затемнил окно.
И тосковал. Кругом зима стояла.
В каминах пело, в деревах стонало.
Ненастная тогда была зима.
Ему казалось, что сойдет с ума.

Так пребывал он в городе Пернове,
Тоскуя, злясь и мучась от любови.
А в школе кондукторов без начальства
Уже творилось полное охальство.
Иван Норцов в компании гульной
Хвалился, что с майоровой женой
Он то да се, довел ее до ручки
И не боится он столичной штучки...
То слышал Фабер, тоже кондуктор
И новый кавалер девицы Моор.
И вскоре рассказал мамаше Морше,
Что, мол, Иван, любезный друг майорши,
Поддавшись увещаниям ее,
Достал для негра смертное питье.
Конечно, он добавил, что Ивану
И не такое приходило спьяну,
Поскольку меж вралей он первый враль...
Прошел январь. За ним настал февраль.
Вдруг утром солнце глянуло. Невольно
Майор очнулся и сказал: «Довольно!
Солдат не баба. Вдруг и донесут,
Что я давно бездельничаю тут.
Неужто, государя друг вчерашний,
Не справлюсь я со смутою домашней!»
Надел мундир. И сразу же — на вал,
На полверках и верках побывал.
Распек команду. Обозвал: «Растяпы!»
И пошутил. Отходчивы арапы.
В трактире отобедал. К пирогам
Стаканчик выкушал. По Куннингам
Пошел в почти хорошем настроенье,
Свое позабывая нестроенье.
И вдруг — навстречу Морша. Ах, карга!
Вот ты когда подстерегла врага

И в ухо яд влила ему, радея
О мщении. Он слушал холодея.
Вот здесь бы занавес. Но я не мог
Не написать печальный эпилог,
Как Ганнибал ответил дикой местью
Своей жене за мнимое бесчестье.
И как она перед лицом суда
На все вопросы отвечала: «Да!»

«Да!.. Опоить? Да! Прелюбодеянье?
Да!»
«Сквернодеицу за все деянья
И за злоумышления гонять
По городу лозой, потом послать
Навечно на прядильный двор». Такое
Решенье подписало полковое
Судилище. И так учинено.
Здесь ничего мной не сочинено.
О Ганнибал! Где ум и благородство!
Так поступить с гречанкой!.. Или просто
Сошелся с диким нравом дикий нрав?
А может статься, вовсе я не прав,
И случай этот был весьма банальный,
И был рогат арап полуопальный?
Мне все равно. Гречанку жаль. И я
Ни женщине, ни веку не судья...
А что потом? Потом проходит бред,
Но к прошлому уже возврата нет.
Всходили в небо звезды Ганнибала,
Гречанка же безвестно погибала,
Покуда через двадцать лет Синод
Ей не назначил схиму и развод.
Арапу бедный правнук! Ты не мстил,
А, полон жара, холодно простил

Весь этот мир в часы телесной муки,
Весь этот мир, готовясь с ним к разлуке.
А Ганнибал не гений, потому
Прощать весь мир не свойственно ему,
Но дальше жить и накоплять начаток
Высоких сил в российских арапчатах.
Ну что ж. Мы дети вечности и дня,
Грядущего и прошлого родня...
Бывает, что от мыслей нет житья,
Разыгрывается воображенье,
Тогда, как бы двух душ отображенье,
Несчастную гречанку вижу я,
Бегущую вдоль длинного причала,
И на валу фигуру Ганнибала.
А в небесах луны латунный круг.
И никого. И бурный век вокруг.
1977

* * *

Я смерть свою забуду
Всего лишь оттого,
Что состояться чуду
Не стоит ничего.
Вот что-то в этом роде:
Муаровый скворец,
Поющий на природе
Гармонию сердец.
О, малое созданье!
Зато он превзошел
Величье подражанья
И слабость новых школ.

Пускай поет похоже
На каждого скворца,
Ведь все созданье Божье
Похоже на Творца.
1977

ПРИМОРСКИЙ СОЛОВЕЙ

За парком море бледною водой
На гладкий пляж беззвучно набегает.
И вечер обок с набожной звездой
Удобно облака располагает.

Напротив запада в домах — латунь,
А иногда мерцанье белой ртути.
Везде стригут, как рекрута, июнь.
Цветут сирени грозовые тучи.

И эпигоны соловья — дрозды
Стараются, лютуют в три колена.
А сам он ждет, когда замрут сады
И для него освободится сцена.

Пускай уйдут! Тогда раздастся взрыв
Кристаллов в пересыщенном растворе.
И страсть, и клокотанье, и разлив,
И в воздухе явленье сжатой воли.

Откуда это в жалком существе,
В убогой горстке встрепанного пуха,
Укрытого в спасительной листве, —
Подобное осуществленье духа?

И вот теперь — бери его врасплох,
Когда, забывшись на вершине пенья,
Оледенел, закрыл глаза, оглох
И не годится для самоспасенья.

Нет благозвучья, нету красоты
В том щелканье, в тугих засосах свиста,
Но откровенья тайные пласты
И глубина великого артиста.

Не верю, что природа так проста,
Чтоб только данью вечной несвободы
Был этот полунощный взрыв куста
И перепады бессловесной оды.

И почему вдруг сердце защемит!
И свист пространства коротковолновый
Не зря нас будоражит и томит,
Как в семь колен мечта о жизни новой.
1977

* * *

Как я живу? Без ожиданий.
В себе накапливая речь.
А между тем на крыши зданий
Ребристый снег успел прилечь.

И мы, как пчелы трудовые,
Питаем сонную детву,
Осуществленный день России
Не мысля видеть наяву.
1977

ЯЛУТОРОВСК

Незнатная птица Каховский
Спускал непутевый курок,
Чтоб где-нибудь в Ялуторовске
Бессмертия вился дымок.

Сквозь зелень сибирского кедра
Сияет растрепанный март,
И слышно за три километра
Движенье ледовых громад.

И марта высокое действо
Сплетает в единый клубок
И душные дымы злодейства,
И родины вольный дымок.
1978

ЗВЕЗДА

Зима. Среди светил вселенной
Звезда, как камень драгоценный.
Я звездной карты не знаток,
Не знаю, кто она такая.
Против меня передовая
Глядит на северо-восток.

И я, солдат двадцатилетний,
Счастливый тем, что я есть я.
В болотах Волховского фронта
Расположилась наша рота,
И жизнь моя, и смерть моя.

Когда дойдет звезда до ветки,
Когда вернутся из разведки
И в маскхалатах пробегут
На лыжах в тыл, придет мне смена,
Настанет, как обыкновенно,
Блаженный сон на сто минут.

Но я еще вернусь к рассвету
На пост. Звезду увижу эту.
Она как свет в окне жилья.
Не знаю, кто она такая,
Зачем она стоит, сверкая
И на меня покой лия.
1978

КАРТИНА С ПАРУСАМИ

Яхт шелкóвые ветрила...
Легкокрылые ладьи
Расположены, как лира,
На поверхности воды.

Там, подсвеченная снизу,
Воздух утренний прожгла
Моря выпуклая линза
Серебристого стекла.

В полотне своем высотном
Воздух выпуклый неся,
Друг за другом к горизонтам
Уплывают паруса.

Горделиво и степенно,
Белые на голубом,
Исчезают постепенно
За водой, как за бугром.
1975—1978

* * *

Может, за год два-три раза
Вдруг проймет тебя насквозь
Разразившаяся фраза,
Лезущая вкривь и вкось.

Но зато в ней мысль и слово
Диким образом сошлись.
И с основою основа
Без желанья обнялись.
1978

* * *

Как странны польские эмблемы:
Седой орел или сирены,
Картавой готики орган,
Чванливой Венгрии кафтан,
Мазурка или краковячек
И воркование полячек —
Коварных, мстительных, разумных, —
Но кто прекрасней, чем они,
С которыми в порывах юных
Мы обнимались в эти дни!
В дни нашей первой заграницы
Привисленские озорницы

Нас провожали в новый бой —
В метель железных полонезов
И в гром мазурки огневой.
Как слезы юные прекрасны,
И расставанья так легки,
Желанья смерти неопасны
И все свершенья далеки!
О, если не было бы Польши,
Ее придумали бы после,
Потом, уже придя с войны, —
То краткое очарованье,
То женственное обаянье —
Война и молодые сны!
1978

ЭСТИМАА

Здесь к городам веселой трезвой Ганзы
Приближен был высокий город Псков,
А племена, неведомы и разны,
Таились где-то в глубине лесов.

И там они хранили темный норов
Среди болотниц, лешаков и ведьм —
Неведомо когда степных угоров
До моря дотянувшаяся ветвь.

А сколько их — неведомо. И даты
Темны. Повсюду тьма, и тишь, и тьма.
Датчане, шведы, немцы, руссы, латы
Сбивали их, как масло, в Эстимаа.

Они в глуши хранили свой обычай
И свой язык, как драгоценный клад,
В котором длинных гласных щебет птичий,
Согласных — твердость камня и раскат.

Когда же сосчитали их, то горстка
Их оказалась. Но не от числа
В них проявлялось чертово упорство
Без различения добра и зла.

Пусть их теплом не баловало солнце,
Пусть ветер дул из-за прибрежных дюн.
Но сотворили родину эстонцы
Круглее и прочнее, чем валун.
1978

МОЖНО И ТАК...

Можно и так. На заре
Выйти — и за садоводство,
В час, когда в алой заре
Пышное солнце печется.

Чувствовать лапой босой
Холод и влажность тропинки.
Птиц услыхать, над тобой
Пинькающих без запинки.

Можно и так. Не спеша
Ждать, чтоб глаза разлепились,
Чтобы проснулась душа,
Чтобы слова укрепились.

Как поступить? На заре,
Может быть, даже и лучше
Пальцем писать на золе
Или на утренней туче.
1978

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

I

Он заплатил за нелюбовь Натальи.
Все остальное — мелкие детали:
Интриги, письма — весь дворцовый сор.
Здесь не ответ великосветской черни,
А истинное к жизни отвращенье,
И страсть, и ярость, и души разор.

А чья вина? Считайте наши вины
Те, что умеют сосчитать свои,
Когда уже у самой домовины
Сошлись концы любви и нелюбви.

И должен ли при сем беречься гений?
О страхе должен думать тот, другой,
Когда перед глазами поколений
В запал курок спускает нетугой.

II

Что остается? Поздний Тютчев?
Казалось, жизнь ложится в масть.
Уже спокоен и невлюбчив.
И вдруг опять — стихи и страсть.

Что остается? Поздний тоже,
Но, Господа благодаря,
Вдруг упадающий на ложе
В шум платья, листьев, октября.

Что остается? Пушкин поздний?
Какой там — поздний! Не вчера ль —
Метель, селитры запах грозный,
И страсть, и гибель, и февраль...
1977—1978

* * *

Какой-то ветер нынче дул,
Однообразный, безутешный.
И моря равномерный гул
Мешался с ним во тьме кромешной.

Так без начала и конца,
В однообразии усталом,
Как колыбельная вдовца
Над сиротою годовалым.
1978

* * *

Свежо кричат вороны
Во славу тишины.
Подстриженные кроны
Еще обнажены.

В засохших травах дудки
Утиной перелив.
И, видно, через сутки
Очистится залив.

Но надо, чтобы ветер
Дул с севера на юг
И холодом бессмертья
Повеяло у губ...

Серебряные чайки
Промчались — вот их нет.
И лучшего не чайте,
Ведь, может быть, вослед

Весне простой и легкой
События не столь
Простые, с подоплекой
Совсем уж не простой...
1978

* * *

Б. С.

Я все время ждал морозов,
Ты же оттепели ждал.
Я люблю мороз — он розов,
Чист и звонок, как металл.

Оттепели, ералаши,
Разоренные пути...
Я люблю морозы наши.
Только шубу запасти.
1978

НАЧАЛО ПОЭМЫ

Пора за поэму садиться,
Закрыться, писать. А не то
Герой ее в дверь постучится
И скинет в передней пальто.
А тут уж пишите пропало —
Начнет городить что попало
И тень на плетень наводить.
И трудно его проводить.

Таких сочинителей баек,
Наверно, не видывал свет.
Ему бы хороший прозаик,
Отыскивающий сюжет!
Актер погорелого театра,
Не знает он, где будет завтра,
Но помнит, что было вчера.
От самой ничтожной затравки
Трепаться готов до утра.
Из тех очевидцев бывалых,
Свидетелей тех матерых,
В чьих летописях и анналах
Фантазии на пятерых...

Но он не пришел, слава богу!
В дорогу, поэма, в дорогу!
Пусть шарик по легкой бумаге
Скользит, как танцорша на льду,
И строчек лихие зигзаги
Выписывает на лету.
1978

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА

Когда среди шумного бала
Они повстречались случайно,
Их встреча, казалось сначала,
Была не нужна и печальна.

Он начал с какого-то вздора
В своем ироническом тоне.
Но, не поддержав разговора,
Она уронила ладони.

И словно какая-то сила
Возникла. И, как с палимпсеста,
В чертах ее вдруг проступила
Его молодая невеста —

Такой, как тогда, на перроне,
У воинского эшелона,
И так же платочек в ладони
Сжимала она обреченно.

И в нем, как на выцветшем фото,
Проявленном в свежем растворе,
Вдруг стало пробрезживать что-то
Былое в лице и во взоре.

Вдвоем среди шумного бала
Ушли они в давние даты.
— Беда, — она тихо сказала, —
Но оба мы не виноваты.

Меж нашей разлукой и встречей
Война была посередине.
И несколько тысячелетий
Невольно нас разъединили.

— Но как же тогда, на вокзале,
Той осенью после победы, —
Вы помните, что мне сказали
И мне возвратили обеты?

— Да, помню, как черной вдовою
Брела среди пасмурных улиц.
Я вас отпустила на волю,
Но вы же ко мне не вернулись...

Вот так среди шумного бала,
Где встретились полуседыми,
Они постигали начало
Беды, приключившейся с ними.

Все, может быть, было уместно:
И празднества спад постепенный,
И нежные трубы оркестра,
Игравшего вальс довоенный.
1978

* * *

Я устарел, как малый юс,
В сырой тени воспоминаний.
Многоглаголанья боюсь
И грубых жизнеописаний.

Ведь так изменчиво живу —
Подобно очертаньям дыма...
Хотелось бы по существу,
Но существо неуловимо...
1978

ЧАСОВОЙ

Л. К.

Нельзя не сменять часового,
Иначе заснет на посту.
Нельзя человека живого
Во всем уподобить кусту.

Горячего чая в землянке
Напиться ему не грешно.
Пускай переменит портянки
И другу напишет письмо.

Пусть тело, что стыло и дрогло,
Задремлет — и вся недолга,
Забыв о величии долга,
Не помня себя и врага.
1978

СТАНСЫ

Начнем с подражанья. И это
Неплохо, когда образец —
Судьба коренного поэта,
Приявшего славный венец.

Терновый, а может, лавровый —
Не в этом, пожалуй что, суть.
Пойдем за старухой суровой,
Открывшей торжественный путь.

И, сами почти уже старцы,
За нею на путь становясь,
Напишем суровые стансы
Совсем безо всяких прикрас.

В тех стансах, где каждое слово
Для нас замесила она,
Не надо хорошего слога
И рифма пусть будет бедна.

Зато не с налету, не сдуру,
Не с маху и не на фуфу,
А трижды сквозь душу и шкуру
Протаскивать будем строфу.

Великая дань подражанью!
Нужна путеводная нить!
Но можно ли горла дрожанье
И силу ума сочинить?

И как по чужому каркасу
Свое устроенье обжать?
И можно ли смертному часу
И вечной любви подражать?

Начнем с подражанья. Ведь позже
Придется узнать все равно,
На что мы похожи и гожи
И что нам от Бога дано.
1977—1978

* * *

Пусть нас увидят без возни,
Без козней, розни и надсады.
Тогда и скажется: «Они
Из поздней пушкинской плеяды».
Я нас возвысить не хочу.
Мы — послушники ясновидца...
Пока в России Пушкин длится,
Метелям не задуть свечу.
1978

* * *

Эта плоская равнина,
Лес, раздетый догола,
Только облачная мнимо
Возвышается гора.

Гладко море, берег гладок,
Гладки травы на лугах.
И какой-то беспорядок
Только в горних облаках.
1978

* * *

Усложняюсь, усложняюсь —
Усложняется душа,
Не заботясь о прошедшем,
В будущее не спеша.

Умножаются значенья,
Расположенные в ней.
Слово проще, дело проще,
Смысл творенья все сложней.
1978

ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ

Ю. Л.

Все, братец, мельтешим, все ищем в «Литгазете» —
Не то чтоб похвалы, а все ж и похвалы!
Но исподволь уже отцами стали дети
И юный внук стихи строчит из-под полы.
Их надобно признать. И надо потесниться.
Пора умерить пыл и прикусить язык.
Пускай лукавый лавр примерит ученица
И, дурней веселя, гарцует ученик!
Забудь, что знаешь, все! Иному поколенью
Дано себя познать и тратить свой запал,
А мы уже прошли сквозь белое каленье,
Теперь пора остыть и обрести закал.
Довольно нам ходить отсюда и досюда!
А сбиться! А прервать на полуслове речь!
Лениться. Но зато пусть хватит нам досуга,
Чтоб сильных пожалеть и слабых уберечь.
Теперь пора узнать о тучах и озерах,
О рощах, где полно тяжеловесных крон,
А также о душе, что чует вещий шорох,
И ветер для нее — дыхание времен.

Теперь пора узнать про облака и тучи,
Про их могучий лет неведомо куда,
Знать, что не спит душа, ночного зверя чутче,
В заботах своего бессонного труда.
А что есть труд души, мой милый стихотворец?
Не легковесный пар и не бесплотный дым.
Я бы сравнил его с работою затворниц,
Которым суждено не покидать твердынь.
Зато, когда в садах слетает лист кленовый,
Чей светлый силуэт похож на древний храм,
В тумане различим волненье жизни новой,
Движенье кораблей, перемещенье хмар.
И ночью, обратясь лицом к звездам вселенной,
Без страха пустоту увидим над собой,
Где, заполняя слух бессонницы блаженной,
Шумит, шумит, шумит, шумит морской прибой.
1978

* * *

Год рождения не выбирают,
легче выбрать свой последний год,
потому что люди умирают
не от старости, не от невзгод,
даже не от хворей. Просто строчку
дописав, устало ставят точку —
я уверен, — сами выбрав час.
Ну и пуля выбирает нас.
1978

* * *

Что за радость! Звуки шторма
Возле самого окна.
Ночь безумна и просторна,
Непонятна и черна.

Море — тыща колоколен,
Ветер — пуще топора
И готов валить под корень
Вековые тополя.

Что за радость! Непогоды!
Жизнь на грани дня и тьмы,
Где-то около природы,
Где-то около судьбы.
1978

МОРОЗ

Лихие, жесткие морозы,
Весь воздух звонок, словно лед.
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
Но, кажется, напрасно ждет.

Напрасно ждать и дожидаться,
Притерпливаться, ожидать
Того, что звуки повторятся
И отзовутся в нас опять.

Повторов нет! Неповторимы
Ни мы, ни ты, ни я, ни он.
Неповторимы эти зимы,
И этот легкий ковкий звон,

И нимб зари округ березы,
Как вкруг апостольской главы...
Читатель ждет уж рифмы «розы»?
Ну что ж, лови ее, лови!..
1979

ПОГОСТ

Здесь, возле леса, с краю поля
Погост сияет небольшой,
Где на рассвете, птицам вторя,
Душа беседует с душой.

И эти тихие беседы
Легки, как утренний туман,
В них веют радости и беды
Когда-то живших поселян.

Беседуют односельчане —
Родня, соседи, свояки —
Под вековое величанье
Дубравы, поля и реки.

И ни ограды, на гранита —
Одни воздушные струи
Вдруг всплакивают сквозь ракиту
Протяжливо, как плачеи.

Я знаю кладбища другие
Вблизи огромных городов,
Где все погибели людские
Положены во сто рядов.

И кажется там громче горе
И комья глины тяжелей,
Чем здесь, в заброшенном просторе,
У края леса и полей,

Где разбегаются подросты,
В себя вбирая сок и свет...
Растут огромные погосты,
А к малым зарастает след.
1979

АФАНАСИЙ ФЕТ

Лишь сын шинкарки из-под Кенигсберга
Так рваться мог в российские дворяне
И так толково округлять поместья.
Его прозванье Афанасий Фет.
Об этом, впрочем, нам не надо знать —
Как втерся он в наследственную знать.
Не надо знать! И в этом счастье Фета.
В его судьбе навек отделена
Божественная музыка поэта
От камергерских знаков Шеншина.
Он не хотел быть жертвою прогресса
И стать рабом восставшего раба.
И потому ему свирели леса
Милее, чем гражданская труба.
Он этим редок, Афанасий Фет.
Другие, получив свои награды,
Уже совсем не слышали природы
И, майской ночи позабыв отрады,
Писали твердокаменные оды.

А он, с почтеньем спрятав в гардеробе
Придворные доспехи Шеншина,
Вдруг слышал, как в пленительной природе
Ночь трелью соловья оглашена.
Открыв окно величию вселенной,
Он забывал про действенность глаголов.
Да, человек он необыкновенный.
И что за ночь! Как месяц в небе молод!
1979

ПРОЩАНИЕ

Памяти Анатолия Якобсона

Убившему себя рукой
Своею собственной, тоской
Своею собственной — покой
И мир навеки!
Однажды он ушел от нас,
Тогда и свет его погас.
Но навсегда на этот раз
Сомкнулись веки.

Не веря в праведность судьи,
Он предпочел без похвальбы
Жестокость собственной судьбы,
Свою усталость.
Он думал, что свое унес,
Ведь не остался даже пес.
Но здесь не дым от папирос —
Душа осталась.

Не зря веревочка вилась
В его руках, не зря плелась.
Ведь знала, что придет ей час
В петлю завиться.
Незнамо где — в жаре, в песке,
В святой земле, в глухой тоске,
Она повисла на крюке
Самоубийцы.

А память вьет иной шнурок,
Шнурок, который как зарок —
Вернуться в мир или в мирок
Тот, бесшабашный, —
К опалихинским галдежам,
Чтобы он снова в дом вбежал,
Внося с собой мороз и жар,
И дым табачный.

Своей нечесаной башкой
В шапчонке чисто бунтовской
Он вламывался со строкой
Заместо клича —
В застолье и с налета — в спор,
И доводам наперекор
Напропалую пер, в прибор
Окурки тыча.

Он мчался, голову сломя,
Врезаясь в рифмы и в слова,
И словно молния со лба
Его слетала.
Он был порывом к мятежу,
Но все-таки, как я сужу,
Наверно не про ту дежу
Была опара.

Он создан был не восставать,
Он был назначен воздавать,
Он был назначен целовать
Плечо пророка.
Меньшой при снятии с креста,
Он должен был разжать уста,
Чтоб явной стала простота
Сего урока.

Сам знал он, перед чем в долгу!
Но в толчее и на торгу
Бессмертием назвал молву.
(Однако, в скобках!)
И тут уж надо вспомнить, как
В его мозгу клубился мрак
И как он взял судьбу в кулак
И бросил, скомкав.

Убившему себя рукой
Своею собственной, тоской
Своею собственной — покой
И мир навеки.
За все, чем был он — исполать.
А остальному отпылать
Помог застенчивый палач —
Очкарь в аптеке.

За подвиг чести нет наград.
А уж небесный вертоград
Сужден лишь тем, чья плоть, сквозь ад
Пройдя, окрепла.
Но кто б ему наколдовал
Баланду и лесоповал,
Чтобы он голову совал
В родное пекло.

И все-таки страшней теперь
Жалеть невольника потерь!
Ведь за его плечами тень
Страшней неволи
Стояла. И лечить недуг
Брались окно, и нож, и крюк,
И, ощетинившись вокруг,
Глаза кололи.

Он в шахматы сыграл. С людьми
В последний раз сыграл в ладьи.
Партнера выпроводил. И
Без колебанья,
Без индульгенций — канул вниз,
Где все веревочки сплелись
И затянулись в узел близ
Его дыханья...

В стране, где каждый на счету,
Познав судьбы своей тщету,
Он из столпов ушел в щепу.
Но без обмана.
Оттуда не тянул руки,
Чтобы спасать нас, вопреки
Евангелию от Луки
И Иоанна.

Когда преодолен рубеж,
Без преувеличенья, без
Превозношенья до небес
Хочу проститься.
Ведь я не о своей туге,
Не о талантах и т. п. —
Я плачу просто о тебе,
Самоубийца.
1978— 1979

ПАМЯТИ ЮНОШИ

Жаль юношу Илюшу Лапшина,
Его война убила.
За что ему столь рано суждена
Солдатская могила!

Остались письма юноши домой.
Их суть прекрасна.
А та, что не успела стать вдовой,
Его ждала напрасно.

Он был когда-то маменькин сынок
И перцу до войны не нюхал.
Но был мечтатель с головы до ног.
И вышел крепок духом.

И, вылетев из доброго гнезда,
Он привыкал к недолям.
И понимал, что горняя звезда
Горит над ратным полем.

А кто сказал, что с самых нежных дней
Полезней опыт слезный
И что высокий дух всего верней
Воспитывают розгой?

В профессорской квартире, где он жил,
В квартире деда,
Бывало, сизой тучей дым кружил
И за полночь текла беседа.

Мы прямо в сад сигали из окна,
Минуя двери.

Я помню откровенность Лапшина,
Признанья в общей вере.

Вокруг весна, рассветная Москва,
Восторженные прозелиты.
Зарю поддерживали дерева,
Как темные кариатиды.

Здесь за глухим забором и сейчас —
Тишайший Институтский,
А в двух шагах, торжественно светясь,
Ампир располагался русский.

Здесь улицы и парки Лапшина,
Здесь жил он, здесь учился в школе,
Но черной тучей близилась война.
И мы расстались вскоре.

Расстались. Как ровесники мои —
Навеки расставались.
И я не ведал о судьбе Ильи,
Покуда не отвоевались.

Прощай, Илья, прощай, Москва тех лет,
Прощай, булыжник Божедомки,
Больничный сад, где на воротах лев.
Весны блаженные потемки.

Прощай и ты, рассветная звезда,
Подобная сияющему глазу.
И все прощай, что прервалось тогда,
Жестоко, может быть, но сразу!..
1979

МАСТЕР

А что такое мастер?
Тот, кто от всех отличен
Своею сивой мастью,
Походкой и обличьем.

К тому ж он знает точно,
Что прочно, что непрочно,
И все ему подвластно —
Огонь, металл и почва.

Суббота, воскресенье —
Другим лафа и отдых,
Копаются с весельем
В садах и огородах.

А он калечит лапы
И травит горло ядом
С миниатюрным адом
Своей паяльной лампы.

Когда заря над морем
Зажжется, словно танкер,
Он с мастером таким же
Готов бы выпить шкалик.

Но мастеров немного
Ему под стать найдется.
И если не найдется,
Он выпьет с кем придется.

Не верь его веселью,
Ведь мастера лукавы

И своему изделью
Желают вечной славы,

А не похвал в застолье
Под винными парами.
Зачем? Ведь он же мастер,
И смерть не за горами.
1979

Х Л Е Б

Не попрекайте хлебом меня. Не до веселья,
Ибо с тревогой на поле свое взираю.
Сам свой хлеб я сею.
Сам убираю.

Вы меня хлебом пшеничным, я вас зерном слова —
Мы друг друга кормим.
Есть и у слова своя полова.
Но и оно растет корнем.

Без вашего хлеба я отощаю.
Ну а вы-то —
Разве будете сыты хлебом да щами
Без моего звонкого жита?

Из одного перегноя растут колос пшеничный и колос
словесный.
Знаю, что ждут хлебные печи.
В русское небо с заботой гляжу я, пахарь безвестный.
Жду, что прольются благие дожди в пахоту речи.
1979

ВОСПОМИНАНИЯ

Как тяжесть спелых яблок клонит ветку
Или ломает, если нет подпоры,
Так до земли сгибают
И ломают нас
Созревшие воспоминанья.

Блажен лишь тот, кто памяти лишен.
Зато какая устремленность в небо
У необремененного побега,
Когда мы близ травы вкушаем сон!
1979

* * *

Прирожденный горожанин,
Я тоскую по лугам,
По полям, по рощам ранним,
По нетронутым снегам.

Прирожденные крестьяне
Устремились в города,
Забывают испытанье
Первозданного труда.

Но во сне на мягком ложе
Видят рощи и туман.
И тоскуют. Значит, тоже
Превратились в горожан.
1979

СВОБОДНЫЙ СТИХ

Я рос соответственно времени.
В детстве был ребенком.
В юности юношей.
В зрелости зрелым.

Поэтому в тридцатые годы
я любил тридцатые годы,
в сороковые
любил сороковые.

А когда по естественному закону
время стало означать
схождение под склон,
я его не возненавидел,
а стал понимать.

В шестидесятые годы
я понимал шестидесятые годы.
И теперь понимаю,
что происходит
и что произойдет
из того, что происходит.

И знаю, что будет со мной,
когда придет не мое время.
И не страшусь.
Не позднее 1979

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Памяти М. Петровых

I

Спи, Мария, спи.
Воздух над тобой
До высот небесных
Полон тишиной.

Дерево в ночи —
Изваянье дыма.
Спи, Мария, спи.
Пробужденья нет.

А когда потом
Мы с тобой очнемся,
Разбегутся листья
По тугой воде.

II

Во сне мне послышался голос,
Так тихо, что я не проснулся,
И сон мой к последнему вздоху
Как будто в тот миг прикоснулся.

К последнему вздоху Марии,
Который настолько был легким,
Что словно уже относился
К бессмертью души, а не к легким.

На миг, что почти неприметен,
Сошлись непохожие двое —
С ее сновиденьем бессмертным
Мое сновиденье живое.

III

И вот уже больше недели,
Как кончилась вся маета,
Как очи ее не глядели
И не говорили уста.

Казалось, что все это рядом,
Но это уже за чертой,
Лишь память не тронута хладом
И не обнята немотой.

И можно ли страхам и ранам
Позволить себя одолеть?
Лишь память, лишь память дана нам,
Чтоб ею навеки болеть.
1979

В ДУХЕ ГАЛЧИНСКОГО

Бедная критикесса
Сидела в цыганской шали.
А бедные стихотворцы
От страха едва дышали.

Ее аргументы были,
Как сабля, неоспоримы,
И клочья стихотворений
Летели, как пух из перины.

От ядовитых лимонов
Чай становился бледным.
Вкус остывшего чая
Был терпковато-медным.

Допили. Попрощались.
Выползли на площадку.
Шарили по карманам.
Насобирали десятку.

Вышли. Много мороза,
Города, снега, света.
В небе луна катилась
Медленно, как карета.

Ах, как было прекрасно
В зимней синей столице!
Всюду светились окна,
Теплые, как рукавицы.

Это было похоже
На новогодний праздник.
И проняло поэтов
Нехороших, но разных.

— Да, конечно, мы пишем
Не по высшему классу
И критикессе приносим
Разочарований массу.

— Но мы же не виноваты,
Что мало у нас талантов.
Мы гегелей не читали,
Не изучали кантов.

В общем, купили водки,
Выпили понемногу.
Потолковали. И вместе
Пришли к такому итогу:

— Будем любить друг друга,
Хотя не имеем веса.
Бедная критикесса,
Бедная критикесса.
1979

* * *

С. Н.

Скрепляют болезни и смерти
Отчетливость памятных мет
И сумрачных десятилетий
Понурый и грубый цемент.

Когда эта птица мне пела,
Сквозь пенье ее угадал
В основе грядущего дела
Простой и смертельный металл.

И все же — не твердость, не холод —
Моя кряжевая судьба.
Спасибо за то, что не молод
Я был, когда понял себя.
1979

* * *

Острая моя травина,
Знавшая немало зол,
Я тебя непоправимо
Смял ногою и ушел.

Острая моя травина,
Ты лежишь суха, бела.
Я ушел, и половина
Сердца сразу отмерла.
1979

* * *

Был ли счастлив я в любви,
В самой детской, самой ранней,
Когда в мир меня влекли
Птицы первых упований?

Ах! в каком волшебном трансе
Я в ту пору пребывал,
Когда на киносеансе
Локоть к локтю прижимал!

Навсегда обречены
Наши первые любови,
Безнадежны и нежны
И нелепы в каждом слове.

Посреди киноромана
И сюжету вопреки
Она ручку отнимала
Из горячечной руки.

А потом ненужный свет
Зажигался в кинозале.
А потом куда-то в снег
Мы друг друга провожали.

Видел я румянец под
Локоном из теплой меди —
Наливающийся плод
С древа будущих трагедий...
1979

РЕАНИМАЦИЯ

Я слышал так: когда в бессильном теле
Порвутся стропы и отпустят дух,
Он будет плавать около постели
И воплотится в зрение и слух.

(А врач бессильно разведет руками.
И даже слова не проговорит.
И глянет близорукими очками
Туда, в окно, где желтый свет горит.)

И нашу плоть увидит наше зренье,
И чуткий слух услышит голоса.
Но все, что есть в больничном отделенье,
Нас будет мучить только полчаса.

Страшней всего свое существованье
Увидеть в освещенье неземном.
И это будет первое познанье,
Где времени не молкнет метроном.

Но вдруг начнет гудеть легко и ровно,
Уже не в нас, а где-то по себе,
И нашу душу засосет, подобно
Аэродинамической трубе.

И там, вдали, у гробового входа,
Какой-то вещий свет на нас лия,
Забрезжат вдруг всезнанье, и свобода,
И вечность, и полет небытия.

Но молодой реаниматор Саня
Решит бороться с бездной и судьбой
И примется, над мертвецом шаманя,
Приманивать обратно дух живой.

Из капельниц он в нас вольет мирское,
Введет нам в жилы животворный яд.
Зачем из сфер всезнанья и покоя
Мы все же возвращаемся назад?

Какой-то ужас есть в познанье света,
В существованье без мирских забот.
Какой-то страх в познании завета.
И этот ужас к жизни призовет.

...Но если не захочет возвратиться
Душа, усилье медиков — ничто.
Она куда-то улетит, как птица,
На дальнее, на новое гнездо.

И молодой реаниматор Саня
Устало скажет: «Не произошло!»
И глянет в окна, где под небесами
Заря горит свободно и светло.
1979

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

Идиллия

Благодарю моих учителей
За то, что я не многим им обязан...

Не верь ученикам,
Они испортят дело...

Приходите, юные таланты!..
Из стихов разных лет

Холмистая местность. Утро.
Последняя грань лета.

Учитель
Видимо, тебе не впрок
Моя наука.

Ученик
Пожалуй.
Пусть я тебя люблю, но, видит Бог,
Твоя наука сильно устарела.
И твой урок мне больше — не урок.
Все ваши аксиомы для меня —
Лишь недоказанные постулаты.
И не просты они, а простоваты.
И потому я новые извлек.

Учитель
А какие?

Ученик
Ты помнишь, что когда-то нас учил
Глядеть вперед?

Учитель

Но тогда
Я шел не здесь... И что же?

Ученик

А мы решились поглядеть назад!..

Учитель

Я гляжу по сторонам...
Гляди, как расположен синий воздух
Среди холмов. И золотой подковой
Над ними выгнута заря. На склонах
Отдельные деревья сжали листья
В зеленый шар, стоящий на стволе,
И не дают в нутро их свету влиться,
И длинно тень ложится на земле.
А шерстка трав недавнего покоса
Как гривка жеребенка. А спина
Холма, хребет кабаний выгнув косо,
Словно дремучий волос, зелена.
Там лось над головою держит пару
Окаменевших допотопных крыл,
А дальше — высоко по крутояру —
Однообразных елок темный клир.
Большие валуны, как черепахи,
Круглят щиты на бывшем поле брани,
А надо всем — крутые облака
Осуществляют хлебниковский сон
О подвижных стеклянных городах.
Вот что я вижу...

Ученик

А ты
Уклончив стал.

Учитель

Нет. Я вижу
Нутро картин, а не поверхность мнений.
Природа мысли такова, мой друг,
Что доведи любую до конца —
И вдруг паленым волосом запахнет...
Да...

Ученик

Так растолкуй картину.

Учитель

Тридцать лет тому назад,
А может, больше, здесь шел бой. И я
Лежал вон там... скорей немного ближе.
Теперь и не узнать. Я умирал.
Я был почти убит. И вот я жив.
Ты понял?

Ученик

Сказать по правде,
Порой изрядно нам надоедают
Все ваши ветхие воспоминанья.
Чем хвалишься?

Учитель

Добротой.
Ведь, если мне ученика не жалко,
Какой же я учитель!

Ученик

О, все в жалейку дуешь ты!

Учитель

А смысл легенды, может, только в том,
Что прежде, чем успел пропеть петух...
Сам знаешь...

Ученик

(махнув рукой)

Ассоциации, культурный слой...
А я желаю быть самим собой!

Учитель

Опыт ты добудешь сам.
Но ежели, вперед спиною пятясь,
Упрешься в стену, вспомни обо мне...
Кто знал войну, тот знает цену крови
И знает цену листьям в каждой кроне.
А листья — мы с тобою.

Ученик

Я не ценю красивых аллегорий.
Но если так, важны не листья — корни.
И дело в корне, если хочешь знать.

Учитель

Скоро листья полетят,
Красны, как кровь, желты, как сукровица,
И оголятся скоро лес и сад,
И птице негде будет приютиться,
Перевернется новая страница,
А корни до зимы заснут в земле...
Закружатся ладони и сердца,
Зубцы и профили листвы дубовой.
Осенний край с улыбкой мертвеца
Затихнет в ожиданье жизни новой...
Всем суждено выстрадывать судьбу.

А быть счастливым — нет такого права.
И все-таки осенняя дубрава
Ждет счастья.

Ученик

И ты?

Учитель

И я!..
Но, впрочем, осень лишь в начале.
Люблю ее пришествие, когда
Все движется, все не стоит на месте.
Деревья — как восставшее предместье —
Готовы ринуться на города.
В такую пору зренью предстает
Разительная ясность очертаний.
И ощущаешь приближенье к тайне
Того, что есть движенье и полет...
Но не спешите, голову сломя,
Кидаться вслед за птичьим перелетом.
Останьтесь здесь.
И выберите холм.
И...

Ученик

Не зритель я.

Учитель

Я так и знал. В бессмысленном стремленье
Вы видите величие души,
А я — лишь невоспитанность ума.
Послушай!

Ученик

Оставь меня!
Мы слишком далеко зашли, учитель,
Пора вернуться. Трапеза готова.

Учитель

Поброжу-ка я один.
А ты ступай.

(Уходит по дороге.)
1979

КОНЕЦ ЛЕТА

Покатилось лето по́д гору.
Август. Тихие деньки.
Подложив туманы под голову,
Сонно бредят родники.

Млечный Путь клешнею рачьей
Тихо движется к рассвету,
Осторожно поворачивая
Ворот медленного лета.

Осторожней, осторожнее
Вейте, ветры, надо мной,
Чтобы месяц новорожденный
Не пугался тьмы ночной.
1979

* * *

Начать сначала! Боже мой!
Нет, невозможно начинать сначала.
О, добрый путь отплывшим от причала
И не вернувшимся домой!

О, добрый путь светилам Магеллана!
Пусть паруса подставят ветру грудь.
Путь добрый всем, которым смерть желанна,
Чей неизведан путь...
1979

БЕССОННИЦА

Я разлюбил себя. Тоскую
От неприязни к бытию.
Кляну и плоть свою людскую,
И душу бренную свою.

Когда-то погружался в сон
Я, словно в воду, бед не чая.
Теперь рассветный час встречаю,
Бессонницею обнесен.

Она стоит вокруг, стоглаза,
И сыплет в очи горсть песка.
От смутного ее рассказа
На сердце смертная тоска.

И я не сплю — не от боязни,
Что утром не открою глаз.
Лишь чувством острой неприязни
К себе — встречаю ранний час.
1979

* * *

Забудь меня и дни,
Когда мы были вместе.
На сердце не храни
Ни жалости, ни мести.

Но вспомни об одном —
Как в это время года
Ходила ходуном
Ночная непогода.

И гром деревья тряс,
Как медная десница...
Ведь это все для нас
Когда-то повторится.
1979

САНДРИЛЬОНА

Сандрильона ждет карету.
Чинно курит сигарету.
Ждет, чтоб прибыл сандрильонец
Из компании гуляк —
С туфелькой, на «Жигулях».

Стынет кофе. Отрешенно
Ожидает Сандрильона
Из миллиона сандрильон.
В ней не счастье, не страданье,
Все — сплошное ожиданье.
Наконец приходит он.

И, с задумчивым соседом
Не простившись, выйдет следом
За плечистым сандрильонцем
Из сапожной мастерской.
Парк осенний залит солнцем.
Осень. Небо. И покой.

И уедет Сандрильона,
С ней — волос ее корона,
Вместе с гордым модельером
На машине «Жигули»...
Высоко над морем серым
Чайки, тучи, корабли.
1979

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОЭТЫ

Я люблю этих бедных пиитов,
Что угрюмые вирши плетут,
Тех, которые горький напиток
Непризнанья и бедности пьют.

Утешать, помогать, по головке
Их погладить, которые так
Неудачливы, странны, неловки
И в каких-то невнятных летах.

Ах, как свято они бесталанны,
И как много внушил им Господь.
Ведь утехи души им желанны,
А не ты, вожделенная плоть!

Пусть прославится ныне и пристно
Искони безымянный пиит.
И пускай благодарная тризна
Безымянный курган осенит.
1979

* * *

И. К.

Мы не меняемся совсем.
Мы те же, что и в детстве раннем.
Мы лишь живем. И только тем
Кору грубеющую раним.

Живем взахлеб, живем вовсю,
Не зная, где поставим точку.
И все хоронимся в свою
Ветшающую оболочку.
1979

ДНЕВНИК

Листаю жизнь свою,
Где радуюсь и пью,
Люблю и негодую.
И в ус себе не дую.

Листаю жизнь свою,
Где плачу и пою,

Счастливый по природе
При всяческой погоде.

Листаю жизнь свою,
Где говорю шутейно
И с залетейской тенью,
И с ангелом в раю.
1979

* * *

Я сделал вновь поэзию игрой
В своем кругу. Веселой и серьезной
Игрой — вязальной спицею, иглой
Или на окнах росписью морозной.

Не мало ль этого для ремесла,
Внушенного поэту высшей силой,
Рожденного для сокрушенья зла
Или томленья в этой жизни милой.

Да! Должное с почтеньем отдаю
Суровой музе гордости и мщенья
И даже сам порою устаю
От всесогласья и от всепрощенья.

Но все равно пленительно мила
Игра, забава в этом мире грозном —
И спица-луч, и молния-игла,
И роспись на стекле морозном.
1979

* * *

Дай мне нынче выйти в полночь
В незастегнутом пальто.
Не нужна ничья мне помощь,
И не нужен мне никто.
И не важно даже — худо
Или хорошо у нас.
Просто я шататься буду,
Несмотря на поздний час.

Потому что в эту полночь,
Раскачавшую прибой,
Вдруг очнешься и припомнишь,
И узнаешь, что с тобой.
1979

* * *

З. Г.

Повтори, воссоздай, возверни
Жизнь мою, но острей и короче.
Слей в единую ночь мои ночи
И в единственный день мои дни.

День единственный, долгий, единый,
Ночь одна, что прожить мне дано.
А под утро отлет лебединый —
Крик один и прощанье одно.
1979

ЛЕДИ МАКБЕТ

Ю. К.

Леди Макбет бросила профессию,
Леди Макбет вышла на пенсию.
Ее любят соседи,
Чинные леди.

Леди Макбет, забыв про макбетство,
Украшает счастливое детство
Юных джентльменов из соседства
Поучительными рассказами.
И они целуют ей руки.
Действительно, что взять со старухи!
1979

* * *

Обратно крути киноленту,
Механик, сошедший с ума,
К тому небывалому лету,
За коим весна и зима!

Крути от июня до мая
Обратного времени ход,
Что стало моим — отнимая,
Приход превращая в уход.

Пускай разомкнутся объятья,
Окажется шляпа в руке.
И слезы в минуту отъятья
Покатятся вверх по щеке.

Спиною подамся к перрону,
Прощанью бессмысленно рад,
Рукою махну изумленно,
И поезд потянет назад.

Уйдут станционные зданья,
Просторный откроется вид.
И смутное счастье незнанья
Тревожно черты озарит.

Крути мою ленту обратно.
Злорадствуй, механик шальной.
Зато я увижу двукратно
Все то, что случилось со мной.

Я прожил ни много ни мало
Счастливых и сумрачных лет.
Я фильм досмотрю до начала
И выйду из зала на свет...
1979

* * *

Тот же вялый балтийский рассвет.
Тяжело размыкание век.
Тяжело замерзание рек.
Наконец, наконец выпал снег.
Я по снегу уже доберусь
Из приморского края на Русь,
Где морозы звончей и синей.
И опять, может быть, научусь
Не бояться свободы своей.
1979

АРСЕНИЮ ТАРКОВСКОМУ

Мария Петровых да ты
В наш век бездумной суеты
Без суеты писать умели.
К тебе явился славы час.
Мария, лучшая из нас,
Спит, как младенец в колыбели.

Благослови ее Господь!
И к ней придет земная слава.
Зато не сможет уколоть
Игла бесчестия и срама.

Среди усопших и живых
Из трех последних поколений
Ты и Мария Петровых
Уберeглись от искушений
И в тайне вырастили стих.
1979

АКТРИСЕ

Л. Т.

Тебе всегда играть всерьез.
Пусть поневоле
Подбрасывает жизнь вразброс
Любые роли.

Хоть полстранички, хоть без слов,
Хоть в пантомиме —
Играть до сердца, до основ,
Играть во имя.

Без занавеса, и кулис,
И без суфлера,
Чтоб только слезы пролились
На грудь партнера,

Чтоб лишь леса поры потерь,
Поры печали,
Рыжеволосы, как партер,
Рукоплескали.

Играть везде — играть в толпе,
Играть в массовке,
Но для себя и по себе,
Без подтасовки.

И, наконец, сыграть всерьез
В той мелодраме,
Где задыхаются от слез
Уже над нами.
1975— 1979

* * *

Тебе свою судьбу вручил навек,
И как бы ни была судьба печальна,
Меня не отлучит любой навет
И то, что изначально и случайно.

Суть назначенья моего проста,
И к этому мне нечего добавить:
Во имя зла не разжимать уста
И лишь тебя благословлять и славить.
Не позднее 1980

СОН

Какая-то странная книга
Сегодня привиделась мне.
Я взял эту старую книгу
И стал осторожно листать.

Ах, что это за чертовщина! —
Она начиналась с конца.
Страницы ее эпилога,
Ей-богу, я знал назубок!

А мне было нужно начало,
Ведь был непонятен конец.
И книга мне все обещала,
Как полный сокровищ ларец.

Герои вступали в сраженье,
И кто-то из них умирал,
Но где же начало, начало? —
Задумчиво я повторял.

Герои казнили друг друга,
Герои вершили дела.
Меня по порочному кругу
Коварная книга вела.

Вела меня за полстолетье,
Как будто по лестнице вниз.
И я оторваться порою
Не мог от прекрасных страниц.

Но мне было нужно начало,
Которое я утерял.
Так где же начало, начало, —
Настойчиво я повторял.

Закрыть эту книгу не в силах,
Как это бывает во сне,
Листаю, листаю страницы,
И страшно становится мне.

Как будто вокруг одичало.
И странно и пусто в мозгу.
Так где же начало, начало —
Ищу. И сыскать не могу.
1963 — не позднее 1980

* * *

Деревья должны
Дорасти до особой высоты,
Чтобы стать лесом.
Мысли должны дорасти
До особой высоты,
Чтобы стать Словом.
Больше ничего не надо,
Даже ухищрений стиха.
Не позднее 1980

* * *

Мое единственное достояние —
Русская речь.
Нет ничего дороже,
Чем фраза,
Так облегающая мысль,
Как будто это
Одно и то же.
Не позднее 1980

* * *

Заманчиво задним числом
Отыскивать наши ошибки,
Всю жизнь назначая на слом.
Но эти намеренья зыбки.

Отречься, мой друг, не спеши.
И что остается в итоге?
Единственность нашей души.
Единственность нашей дороги.
1980

* * *

Заросшая тропа теряется в степи,
Истаивает дым на небосклоне...
О, что за чепуха — дописывать стихи,
А не бросать на полуслове!..
1980

* * *

Окончилась драма любви
Такой сокрушительной силы,
Что мчалась, как вихрь, над людьми,
Вокруг оставляя могилы.

Неужто она без надежд
Замкнется в смиренье усталом,
Не сделав, чтоб весь Будапешт
Избраннику стал пьедесталом?

Страшна эта гибель души,
Предсмертная эта бравада
И страх в одинокой глуши,
Где нет ожидания ада.

Я ведаю, что он хотел
Ее, как Лауру, прославить.
Но, Господи, как он посмел
Ее в этом мире оставить.

Должна была чаша пролиться,
Должна опустеть, оттого,
Что гибель материалиста,
Пожалуй, страшнее всего.
1980

* * *

Игра в слова — опасная забава.
Иное слово злобно и лукаво.
Готово огнь разжечь и двинуть рать...
О, старости единственное право —
Спокойным словом страсти умерять.
1980

* * *

У меня пред тобою вина
И ее не смывает волна.
Не смывает прошедшего горя
Благодать полунощного моря.
У меня пред тобою вина,
Что осталась на все времена,

Времена, что белей и короче,
Чем короткие белые ночи.
1980

* * *

Престранная наша профессия —
Стихи сочинять на ходу,
При этом держа равновесие,
Подобно танцорам на льду.

Руками при том не размахивай,
Чтоб зря не потешить людей.
Питайся росинкою маковой
И ветром роскошных идей.

Да чем еще можно бездельнику
Оплачивать аховый труд!
Шатается по Переделкину,
Где в рифму вороны орут.

И думают люди соседские:
Бездельники, мол, чудаки...
Престранная наша профессия —
Гуляючи мыслить стихи...
1980

* * *

Зачем за жалкие слова
Я отдал все без колебаний —
И золотые острова,
И вольность молодости ранней!

А лучше — взял бы я на плечи
Иную ношу наших дней:
Я, может быть, любил бы крепче,
Страдал бы слаще и сильней.
1980

ОСЕНЬ

Неужто я иду на спад,
Как листопад?
И мысли спят, и чувства спят,
Как этот сад?

И может быть, для строф и строк
Уж выпал срок?
Во мне иссяк российский слог,
Его исток?

И может, пасмурный закат
Подвел черту.
И лишь небесный вертоград
Горит в цвету.
1980

* * *

Куда мне деваться от этих забот
ежедневных,
От детских хотений и частых простуд?
Одно утешенье, что где-то в деревьях
Закатные зори растут.

Куда мне деваться от ссор и от дома в разоре,
От дружеских встреч и претензий родни?
Одно утешенье, что позже вечерние зори
Пылают в деревьях и дольше становятся дни.

Куда мне уйти? И какое найти мне решенье?
Не лучше ль идти, не противясь, куда поведет?
Не знаю. Не знаю. Одно утешенье,
Что шире зари разворот.
1980

* * *

Наверно, все уже ушло.
И та божественная сила,
Которою меня несло,
Но никогда не заносило.

Уже недалека черта,
Когда, по мненью неофита,
Мы устареем, как фита,
И выпадем из алфавита.

Наверное, произойдет
Естественная смена вкусов.
Как бородатый анекдот
Войдем во время, что безусо.

Тогда, быть может, нас спасут
Ирония и жалость к людям,
Которым мы простим их суд,
А сами судьями не будем.

Но ты, наверно, не продашь
И не отвергнешь, друг весенний,
Трудолюбивый опыт наш
В пылу повальных отречений.
1980

* * *

Пахло соломой в сарае,
Тело — травою и ветром,
Губы — лесной земляникой,
Волосы — яблоней дикой.

Были на раннем рассвете
Легкие свежие грозы.
Мы просыпались. И снова
Сном забывались, как дети.

Утром она убегала,
Заспанная и босая,
С крупных ромашек сбивая
Юбкой раскосые капли.

Да! Уже было однажды
Сказано: остановиться!
Сказано: остановиться!
Остановиться мгновенью!
1980

* * *

Нет слова ужасней, чем это
Мучительное «никогда».
Со дня сотворения света
В нем времени к людям вражда.

Отбытие в нем без прибытья,
Оно убивает и рвет,
Как зверь на загривке событья,
Ломающий лапой хребет.
1980

РИХТЕР

Крыло рояля. Руки Рихтера,
Изысканные, быстрые и сильные,
Как скаковые лошади. Точнее
Сравненья не умею подыскать.
Он заставляет музыку смотреть,
Угадывать ее предвестье
В лице, фигуре, в мимике и жесте.
Не видя Рихтера, теряешь что-то
От вдохновения и мастерства,
Как в письмах
Утрачиваешь что-то от общенья.
Транзисторщики и магнитофонцы,
Мы музыку таскать с собой привыкли
И приспосабливать ее к жилью.
А Рихтер музыку возводит в зал
И возвращает музыку в музы́ку.
Прислушаемся к Рихтерову лику,
К рукам задумчивого ездока,
Вожатому коней, изваянных из звука...

Так, колесницы умедляя ход
На спуске с небосклона,
Сам Гелиос внимает, как поет
Крыло откинув,
Черный лебедь Аполлона.
1980

* * *

С. Н.

Я был не слишком добрым
Но доброго был нрава,
Обязанности ставя
Всегда превыше права.

Я предан был искусству,
И жил не очень густо...
Себя молве вручаю,
Которая стоуста.
1980

* * *

Что за жалкие эти уловки —
Упованье на молодость духа,
Если на постаревшей головке
Белизна, вроде детского пуха.

Что за скромное наше величье —
Пиджаки в орденах и медалях.
Нет, слова величавей молитвы
Уж начертаны в наших скрижалях.

Старость — это вселенское горе.
Но сегодня, под стать новолунью,
Обнимаю рассветное море
И зарю молодую целую.
1980

* * *

Рассчитавшись с жаждою и хламом,
Рассчитавшись с верою и храмом,
Жду тебя, прощальная звезда.
Как когда-то ждал я вдохновенья,
Так теперь я жду отдохновенья
От любви и горького труда.

Но, видать, не спел последний кочет
И душа еще чего-то хочет,
Своего никак не отдает.
Жаждет с веком и толпою слиться.
Так стремятся птицы в стаю сбиться,
Собираясь в дальний перелет.
1980

* * *

М. К.

Я никогда не пребывал
В любовном исступленье Блока,
Не ведал ревности Востока,
Платок в слезах не целовал.

Влюблялся весело и просто,
Безумствовал. И в те года
Порой в порыве сумасбродства
Летел неведомо куда.

Не то чтоб лавры Дон-Жуана
Меня прельщали, но была
Любая женщина желанна
И увлекала, и звала.

И был вокруг туман любовный
И ночи светлые без сна.
И голос робкий и неровный,
Шептавший милых имена.
1980

РЕВНОСТЬ

Я влюблен. Мне пятнадцать. Она холодна.
Я, отвергнутый, к ней не иду на рожденье.
Жить мне невмоготу. Испиваю до дна
Нелюбовь, одиночество и униженье.

За дворами сгорает заря на Москве.
Наблюдает пожар каланча на Сущевке.
Опускается сумрак. Как при волшебстве,
Фонарей зажигаются длинные четки.

Во Втором Самотечном пустынно. Туда
Лишь бродячие псы совершают набеги.
Но над снегом горит высоко, как звезда,
Золотое окошко, висящее в небе.

Там она. Там на тюле ее силуэт.
Там счастливый соперник ликует за чаем.
Я взбешен со всей силой пятнадцати лет.
Я в отчаянье. Но и жесток и отчаян.

Образ сладостной мести мерещится мне.
Громкой славой увенчанный, в час неурочный,
Я въезжаю в столицу на белом коне.
Предо мной переулок Второй Самотечный.

Открываются окна. Сияет луна.
Я проехал задумчив и взора не кинул.
Вслед мне в позднем раскаянье плачет она.
А соперник растерянный чай опрокинул.

Нет! Тогда я не стану врага попирать,
Ибо мы не злопамятны и горделивы.
Лишь одною печалью могу покарать:
Будь счастлива, любимая! Будьте счастливы!
1980

* * *

Тебя мне память возвратила
Такой, какою ты была,
Когда: «Не любит!» — говорила
И слезы горькие лила.

О, как мне нужно возвращенье
Из тех невозвратимых лет,
Где и отмщенье и прощенье,
Страстей непроходящий след.

И лишь сегодня на колени
Паду. Ведь цену знаю сам
Своей любви, своей измене.
Твоей любви, твоим слезам.
1980

* * *

Надо идти все дальше.
Дальше по той дороге,
Что для нас начертали
Гении и пророки.

Надо стоять все тверже,
Надо любить все крепче,
Надо хранить все строже
Золото русской речи.

Надо смотреть все зорче,
Надо внимать все чутче,
Надо блюсти осторожней
Слабые наши души.
1980

* * *

Пусть все будет как есть.
Мне не надо другого,
Ибо слышится весть,
Ибо слышится слово.

Гул событий и шум
Заглушить могут снова
Шелест медленных дум,
Шепот вещего слова.

Ничего не тревожь,
Стихотворец поспешный,
Чтоб нездешняя ложь
Стала правдою здешней.
1980

ДЕКАБРИСТ

Цареубийство мне претит.
В том смысл стоянья на Сенатской,
Что царь, выигрывая натиск,
Утрачивает свой престиж.

Нам повезло, что мы не взяли власть.
И это стало ясно при дознаньях.
Пусть государь, запутавшись в признаньях,
Правдивых слез напился всласть.

Они ничтожества. И это знать —
Одно из главных наших знаний.
А первый вывод из признаний —
Что умереть — не умирать.

Сибирь! И тишина. И просвещенье.
И отдаленность от родни.
Мы будем жить. Нет ничего священней,
Чем просвещенье в наши дни.

Мы будем жить близ синевы Байкала.
Пусть по родным местам душа болит.
Не быть тому, чего душа взалкала,
Но быть тому, что Родина велит.

Спать надо. Просыпаться на
Рассвете. Яблони лелеять.
Ведь еще долго-долго ветрам веять,
Хотя по времени весна.
1980

ЗА ПЕРЕВАЛОМ

Ю. А.

Я уже за третьим перевалом.
Горных кряжей розовая медь
Отцвела в закате небывалом.
Постепенно начало темнеть.

Холодно. Никто тебя не встретит.
Камень в бездну канул из-под ног.
Лишь внизу, в долине, робко светит
Одинокой сакли огонек.

Пой для храбрости, идя в долину,
Пой погромче, унимая дрожь.
Или помолись отцу и сыну
И тогда, наверное, дойдешь.
1980

* * *

Можно ли считать себя счастливым
В день, когда туманы над заливом
Так печальны, мутны, неземны?
Можно ли считать себя несчастным,
Когда рядом в образе неясном
Предстоят деревья, словно сны?
И со мною соотнесены...
Чувствую себя и к ним причастным.
1980

ГОЛОСА ЗА ХОЛМАМИ

Голоса за холмами!
Сколько их! Сколько их!
Я всегда им внимаю,
Когда чуток и тих.

Там кричат и смеются,
Там играют в лапту,
Там и песни поются,
Долетая отту...

Да! За хóлмами теми
Среди гладких полян —
Там живут мои тени
Среди гладких полян.

Голоса за холмами
Раздаются в тумане,

То ли ищут потери,
То ли в прятки играют...
Кличут давние тени,
А потом замирают.
1980

* * *

Поздно учиться играть на скрипке,
Надо учиться писать без рифмы.
С рифмой номер как будто отыгран.
Надо учиться писать верлибром...
Как Крутоямов или как Вздорич,
С рифмою не брататься, а вздорить.
Может, без рифмы и без размера
Станут и мысли иного размера.
1980

* * *

Декабрь. Но не хватает снега.
Скрипит приморская сосна.
Дождей тяжелая телега
Все тянется мимо окна.

А после медленно и скупо
Сквозь тучи цедится рассвет.
В такие дни на сердце скука,
Чего-то ждешь и мыслей нет.

И вдруг — письмо... Письмо от друга...
Но, как ни сумрачно окрест,
Порой желанна роскошь юга,
Но чуждо счастье дальних мест.
1980

* * *

И непонятное письмо
Она читала на заре,
И было новое число
Отмечено в календаре.

Моя любовь, моя мечта!
Я не желаю ничего!
Тщета любви, мечты тщета,
Тщета надежд, тщета всего.
1980

* * *

Стих Слуцкого. Он жгуч,
Как бич. Как бык, могуч.
Изборожден,
Как склон.
Он, как циклон,
Закручен.
И, как обвал, неблагозвучен.

На струнах из воловьих жил
Бряцает он на хриплой лире
О том, как напряженно жил,
Чтоб след оставить в этом мире.
1981

* * *

Разрушена души структура,
Она познала жизни тлен
И нынче прозябает хмуро,
Не чая добрых перемен.
И зябко ощущает шкура
Неотвратимо-близкий плен.
— Все прочее — литература, —
Как говорил старик Верлен.
1981

* * *

То, что тайно живет в подсознанье,
Проясняясь, становится вдруг
Зримо, как станционное зданье,
Светофор, тепловоз, виадук.

И, пожалуй, какою-то гранью
Совпадает с бессмертьем. Ведь вся
Эта станция по расписанью,
Постояв, уползет за леса.

Мне неведомо, что есть движенье,
Для чего и откуда оно,
Направление, цепь, протяженье —
Все ли в нем предопределено?

Предусмотрен ли разумом здравым
Весь конечный его результат —
Столкновенье состава с составом
И судьба паровозных бригад?

Или чаще в бессмыслице вещей,
На крутом вираже накренясь,
Роковая случайность, как встречный,
Грохоча, налетает на нас...
1980—1981

ПАМЯТИ АНТОНИНЫ

А. А.

Пять счастливых дней
Мы провели с Антониной.
Мы провели с Антониной
Пять счастливых дней.
Вскоре она умерла
В городе Екабпилсе,
Где мы с ней провели
Пять счастливых дней.

Благословляю днесь
Ее милую душу,
Ее добрые очи,
Ее теплые губы,
Ее мягкие руки,
Ее стройные ноги,
Ее светлое тело —
Ради пяти счастливых
Дней, которые мы
Вместе с ней провели
В городе Екабпилсе.

Может, простится мне,
Грешной моей душе,
За то, что пять дней
Мы провели с Антониной.
И были совсем счастливы.
И больше уже не видались.
1981

* * *

В какие-то новые дали
Меня от тебя позвали
Какие-то новые вести,
И радости, и печали.

Пошел я белой дорогой
С лукавой судьбой тягаться
Вослед весне босоногой,
За шалью ее цыганской.
1981

* * *

Что надобно солдату?
Натопленную хату,
Картошки котелок,
За печкой уголок.

И утром, этот рай
Навеки покидая,
Услышать, как ему
Хозяйка молодая

Прошепчет, провожая:
— Солдат, не умирай!
1981

* * *

Что за странная забота —
Судьбы мира,
Где невзгоды Дон Кихота
Или Лира?

Что за странное волненье —
Утро сада?
Почему любовь полнее,
Сердце радо?

Что за странная тревога —
Вечер моря,
Где простора ветрового
Шум и воля?

Что за странность все же это
Состраданье!
В поле отзвук, в роще — эхо,
В нас — рыданье.
1981

* * *

Запиши мне в жизнь кусок
Марта с долгою метелью.
Занеси еще лесок,
Где береза рядом с елью.

Подверстай еще сугроб,
Что от сумрака сиренев.
Подведи потом итог
Ветра, снега и деревьев.

Это все соедини
В зимнем облике природы
В завершающие дни
Холодов и непогоды.
1981

* * *

Увлечены порывом высшим,
Охвачены святым огнем,
Стихи в самозабвенье пишем
И, успокоясь, издаем.

А после холодно читаем
В журнале вялую строку
И равнодушно подставляем
Свое творенье остряку.
1981

ДВОЙНИК

Поэт и сосед Королев,
Почуяв движение смысла,
Очухался, встал, не умылся,
Почувствовал, что нездоров.
И вдруг увидал мирозданье
За зданьями ближних дворов.

Внезапно увидел в окне
Себя в освещении вешнем...
Двойник — это «я» не «во мне»,
А где-то вовне и во внешнем.

Двойник — это маленький сдвиг
Рассудка на десять микронов.
Но если уже он возник,
Не может он быть, не затронув
Исконных устоев судьбы,
Ее непреложных законов.

Двойник — это автопортрет
Из путаных линий и пятен.
И ты уже неоднократен.
И это похоже на бред.
И это — почти что свобода,
Когда уже выбор из двух.
И это предвестье прихода,
Захватывающее дух.
1981

ДУЭТ ДЛЯ СКРИПКИ И АЛЬТА

М. П.

Моцарт в легком опьяненье
Шел домой.
Было дивное волненье,
День шальной.

И глядел веселым оком
На людей
Композитор Моцарт Вольфганг
Амадей.

Вкруг него был листьев липы
Легкий звон.
«Тара-тара, тили-тики, —
Думал он. —

Да! Компания, напитки,
Суета.
Но зато дуэт для скрипки
И альта».

Пусть берут его искусство
Задарма.
Сколько требуется чувства
И ума!

Композитор Моцарт Вольфганг,
Он горазд, —
Сколько требуется, столько
И отдаст...

Ох, и будет Амадею
Дома влет.
И на целую неделю —
Черный лед.

Ни словечка, ни улыбки.
Немота.
Но зато дуэт для скрипки
И альта.

Да! Расплачиваться надо
На миру
За веселье и отраду
На пиру,

За вино и за ошибки —
Дочиста!
Но зато дуэт для скрипки
И альта!
1981

* * *

Думать надо о смысле
Бытия, его свойстве.
Как себя мы ни числи,
Что мы в этом устройстве?

Кто мы по отношенью
К саду, к морю, к зениту?
Что является целью,
Что относится к быту?

Что относится к веку,
К назначенью, к дороге?
И, блуждая по свету,
Кто мы все же в итоге?
1981

* * *

Смерть не врет. Она открыта.
У нее всегда верняк.
Шпага в сердце. В лоб копыто.
Или пуля. Или так.

Эй, скорей, вино и пуля,
Доведите до конца!
Ведь старуха, карауля,
Притулилась у крыльца.

Что ж, старуха, вместе выпьем,
Чокнись, древняя, со мной,
Угости старинным сбитнем —
Он горячий и хмельной.

Не от пули, а от хмеля,
Не от хвори — от вина.
В этой смерти есть веселье.
Выпьем, мерзкая, до дна!
1981

* * *

Не хочется с тобою расставаться,
Зеленая и синяя планета —
Пусть даже предстоит любовь и братство
Иного мира и иного света.

О бренная! Ничтожная. И все же
Страшна и невообразима жертва
Ничтожных благ, которые дороже
Бессмертия и вечного блаженства.
1981

* * *

Тяжел уже стал. Никуда не хочу.
Разжечь бы камин, засветить бы свечу
И слушать, и слушать, как ветер ночной
Гудит и гудит над огромной страной.
Люблю я страну. Ее мощной судьбой
Когда-то захваченный, стал я собой.
И с нею я есть. Без нее меня нет.
Я бурей развеян и ветром отпет.
И дерева нет, под которым засну.
И памяти нет, что с собою возьму.
1981

* * *

Когда сумбур полународа
Преобразуется в народ,
Придет поэт иного рода,
Светло и чисто запоет.
И поросль свежая, иная
Взойдет, как новая звезда,
О наших горестях не зная
И нашим радостям чужда.

А вы, хранители традиций,
Вдруг потеряете себя,
Когда потомок яснолицый
Над вами встанет, вострубя.
1981

* * *

Мне выпало счастье быть русским поэтом.
Мне выпала честь прикасаться к победам.

Мне выпало горе родиться в двадцатом,
В проклятом году и в столетье проклятом.

Мне выпало все. И при этом я выпал,
Как пьяный из фуры в походе великом.

Как валенок мерзлый, валяюсь в кювете.
Добро на Руси ничего не имети.
1981

* * *

Уж лучше на погост,
Когда томит бесстишье!
Оно — великий пост,
Могильное затишье.

И, двери затворив,
Переживает автор
Моления без рифм,
Страданье без метафор.

Нет, он не глух — он нем,
Он безъязык, как время,
В нем брезжат тени тем
И тупо ломит темя.

Жестокая беда!
Забвение о счастье.
И это навсегда.
Читатели, прощайте!
1981

* * *

Н. Старшинову

Ты в стихе, как на духу,
Ты открыт, как на юру,
Ты доверился стиху —
Исповеди на миру.

Так задуман дивный труд
Ради вразумленья чад,
Что, наверное, поймут.
И, наверное, простят.
1981

* * *

Б. С.

Жизнь сплетает свой сюжет.
Но, когда назад посмотришь,
Возникает свежий свет
Далеко — на девять поприщ.

По которым пятерых
Повело июнем ранним.
И нетленный пятерик
Засветился их стараньем.

Сколько крови пролилось,
Сколько дел осуществилось,
Сколько выпало волос
И сердец остановилось!

Но сияет вдалеке
Свежий свет того июня,
Как в предутренней реке
Острый отсвет новолунья.
1981

* * *

Милая жизнь! Протеканье времен.
Медленное угасание сада.
Вот уж ничем я не обременен.
Сказано слово, дописана сага.

Кажется, все-таки что-то в нем есть —
В медленном, в неотвратимом теченье, —
Может, о вечности тайная весть
И сопредельного мира свеченье...

Осень. Уже улетели скворцы.
Ветер в деревьях звучит многострунно.
Грустно. Но именно в эти часы
Так хорошо, одиноко, безумно.
1980—1981

* * *

Сад подобен светлым ризам
Из прозрачной белой ткани
И засыпан, словно рисом,
Свернутыми лепестками.

Ижицами старых яблонь
Сад исписан косо-криво
И, наверно, будет явлен
Летний ливень от залива.

Слушайте, чего вам нужно,
Слушайте, чего вам надо.
Мир прекрасен! Потому что —
Белое цветенье сада.
1981

ФАНТАЗИЯ О РАДНОТИ

В сорок пятом году
Возле Ораниенбурга
Пара задумчивых кляч
Тащила большую фуру
По пустынной дороге.
Возница в черном жилете,
В старой фетровой шляпе
Шел рядом с той колымагой,
Похожий на итальянца.
— Кто вы? — спросил по-немецки
Я у того человека.
Возница пожал плечами.
Остановилась фура.

Выглянули из нее
Несколько бледных, курчавых
И перепуганных детских
Рожиц. За ними — старик.
Старик одет был в тряпье,
Торчали седые патлы.
Он явно был не в себе
И закричал по-немецки:
— Я — Радноти Миклош,
Великий венгерский поэт,
В городе Будапеште
Меня знает любая собака!
Меня подобрали цыгане.
И я теперь стал цыганом.
Это великое племя,
Которого не уничтожить,
Ибо ему суждены
Свобода, музыка, кони.
Нет никого прекрасней
На свете, чем цыгане!
Здесь я хочу умереть
Под скрипку и ржанье коней!
К черту — былая слава!
К дьяволу — бывшее счастье!
Я люблю только вас,
Цыгане, музыка, кони!..

Так орал этот странный
Старец с цыганской фуры.
Слушали молча цыгане,
Слов его не понимая.
Наши солдаты стояли,
Думая: старый рехнулся.

Я много позже узнал,
Что поэт Радноти Миклош
Погиб совсем молодым
В Сербии, в лагере смерти.

Может, ослышался я.
Но нет, хорошо помню,
Как сумасшедший старик
Орал, что он Радноти Миклош.
1981

* * *

Тогда я был наивен,
Не ведал, в чем есть толк.
Купите за пять гривен,
А если надо — в долг.

Тогда я был возвышен,
Как всадник на коне.
Не знал, что десять пишем
И держим два в уме.

Тогда я был не этим —
Я был совсем другим.
Не знал, зачем мы светим
И почему горим.

Тогда я был прекрасен,
Бездельник молодой.
Тогда не падал наземь
Перед любой бедой.
1981

* * *

Пожалуй, пора перестать
Размазывать старость и тщиться.
А просто у пропасти встать
С намереньем парашютиста.

И на протяженье секунд,
Упругих, наполненных, длинных,
Почуять, как ветры секут,
И в глину удариться в ливнях.
1981

* * *

Скучно жить, питаясь славой,
Славой — гидрой многоглавой.
Поздно жить грядущим днем,
Страшно жить святым огнем.
Лучше жить огнем камина,
Утешаясь беспричинно
И заботясь лишь о нем.
1981

СЕВЕРЯНИН

Отрешенность эстонских кафе
Помогает над і ставить точку.
Ежедневные аутодафе
Совершаются там в одиночку.

Память тайная тихо казнит,
Совесть тихая тайно карает.
И невидимый миру двойник
Все бокальчики пододвигает.

Я не знаю, зачем я живу,
Уцелевший от гнева и пули.
Головою качаю. И жгу
Корабли, что давно потонули.
1980—1981

* * *

О, нет судеб печальней наших,
Суровей наших и больней,
Свои истоки начинавших
В низинах тех угрюмых дней,

Когда в возвышенность тиранства
И в благо вечных голодух
Поверил русский дух пространства,
Доверчивый и страстный дух.

И что питало наши силы
И наши жадные умы?
Лишь безымянные могилы
В снегах треклятой Колымы.

Мы это видели вполглаза,
Вполуха слышали о том.
Но та барачная зараза
Все отравила нам потом.

И если мы вершили дело,
Чтоб мир освободить от зла,
Не эта смерть в глаза глядела,
Не та могила нас взяла.
1980—1981

* * *

Я слышал то, что слышать мог:
Баянов русских мощный слог,
И барабанный бой эпох,
И музы мужественный вздох.

Мы шли, ломая бурелом,
Порою падая челом.
Но долго будет слышен гром
И гул, в котором мы живем.
1981

Ц Ы Г А Н Е

Нас в детстве пугали няни,
Что уведут цыгане.
Ах вы, нянюшки-крали,
Жаль, что меня не украли.

Бродил бы с табором лунным
(Странно-туманно).
Кони под месяцем юным.
Запах тимьяна.

Где вы, мои цыгане,
Плясуны, конокрады?
Где вы, мои цыганки,
Где вы, сердца отрады?

В поэзии нашей великой
Есть цыганская нота.
И звучит эта нота,
Когда уже жить неохота.

«Странно-туманно.
Расстались нежданно.
На сердце рана,
И жизнь не желанна».

Пока луна не погасла,
На свете будет цыганство:
Песня, обман, лукавство,
Скрипка и постоянство.

Я помню цыгана Игната
В городе Кишиневе.
Он мне играл когда-то
О давней моей любови.

«Странно-туманно.
Вечером рано.
Расстались нежданно,
И на сердце рана!»

Узел моей печали,
Скрипка, стяни потуже...
Ах, если б нянюшки знали,
Как спасать наши души!
1981

* * *

Стояла осень. Воздух чист.
На землю падал бурый лист.
И было воздуха дрожанье.
Я не боялся подражанья.

И я готов был описать,
Как десять тысяч стихотворцев,
Прозрачный воздух, небо, сад,
И море, и далекий остров.

Мой друг, не бойся повторять.
Поэзия — дитя повтора.
Какая осень! Не понять
Красы, открывшейся для взора.

О, как себя боимся мы!
Боимся, что на всех похожи.
О, наши бедные умы.
О, дай нам силы, милый Боже!
1981

* * *

Сколько здесь явилось чар:
Ветер клены раскачал,
Листья с липы сбросил —
Наступила осень.

Все окончилось как будто.
Но сегодня сердце радо:
Ведь всего одна минута
До зимы и снегопада.
1981

ПРО ОХОТНИКА

Стоит белый камень.
На камне белый город.
Над городом белый облак.
Над облаком белый лебедь.
Пришел охотник,
Прицелился каленой стрелою.
Упал белый лебедь
На белый облак,
А белый облак
На белый город,
А белый город
На белый камень.
Ушел охотник.
Один камень остался.
1981

ПРО ВАНЮШКУ

Просит Ва́нюшка у мамушки:
— Испеки ты мне шанежки —
Целый пуд.
— А зачем тебе, Ванюшка,
Шанежек
Целый пуд?
— Я шанежки возьму
Да на торг пойду.
Продам я шанежки,
Получу за них денежки.
— А зачем тебе, Ваня, денежки?
— Куплю кафтан ала бархата,
Да сапожки козловые,
Да ружье куплю с насечками.

Как откину у кафтана полу,
Как топну три раза сапожками,
Как начну из ружья палить,
Бояре в городе испужаются,
Слуги боярские поразбегаются.
Заберу я у них казну,
Заберу и себе возьму.
— Ах ты, Ванюшка, глупый Ванюшка.
Бояре-то в городе сильные.
Не дадут тебе казну.
Лучше ты ступай ко сну.
1981

* * *

В этот час гений садится писать стихи.
В этот час сто талантов садятся писать стихи.
В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи.
В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи.
В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи.
В этот час десять миллионов влюбленных юнцов садятся писать стихи.

В результате этого грандиозного мероприятия
Рождается одно стихотворение.
Или гений, зачеркнув написанное,
Отправляется в гости.
1981

* * *

Перестрадаю, переболею,
А может, все же преодолею.
Своею болью, своей печалью
Себя от прочих я отличаю.
Как отличает любой из прочих
Себя в печалях своих полночных.
Мы все на этом, стоим на этом
И существуем лишь по приметам
Своих волнений, своей тревоги
И споткновений в своей дороге.
1981

* * *

Вот опять для зимних птиц
Гнезда вьет зима-старуха.
В отдаленье от столиц
Я живу темно и глухо.

Тянет, милые друзья,
В суету и разговоры.
Кажется, что бытия
Там откроются просторы.

В отдаленье от зимы,
От деревьев и от снега
За столом засядем мы,
И затянется беседа

Заполночь...
1981

* * *

Когда-нибудь я к вам приеду,
Когда-нибудь, когда-нибудь,
Когда почувствую победу,
Когда открою новый путь.

Когда-нибудь я вас увижу,
Когда-нибудь, когда-нибудь,
И жизнь свою возненавижу,
И к вам в слезах паду на грудь.

Когда-нибудь я вас застану,
Растерянную, как всегда.
Когда-нибудь я с вами кану
В мои минувшие года.
1980—1981

* * *

Поэзия должна быть странной,
Шальной, бессмысленной, туманной
И вместе ясной, как стекло,
И всем понятной, как тепло.

Как ключевая влага, чистой
И, словно дерево, ветвистой,
На все похожей, всем сродни.
И краткой, словно наши дни.
1981

* * *

Примеряться к вечным временам,
К бесконечным расстояньям —
Это все безмерно трудно нам,
Вопреки стараньям.

Легче, если расстоянье — пядь,
Если мера времени — минута.
Легче жить. Труднее умирать
Почему-то.
1981

* * *

Теперь вы плачете. А где ж вы были,
Друзья-приятели, в тот смертный час,
Когда поэт привел себя к могиле
И жизнь покинул, не оборотясь.

Детдомовец, матрос, бедняк, бродяга,
В славянский дух и в Родину влюблен,
Не сделал бы он рокового шага,
Когда б услышал славы сладкий звон.

Подайте хлеба алчущим признанья,
Им поднесите сладкое вино.
Иначе их высокое призванье
Тщетой убитым быть осуждено.
1981

СТАРОМОДНОЕ

Разгорелась печка,
Щелкают дрова.
Славное местечко.
Может, ты права.

За окном сугробы.
На дворе темно.
Может, мне до гроба
Жить здесь суждено.

Вижу я московских
Зданий высоту.
Площадей московских
Шум и суету.

И порыв единый
Всех путей к Кремлю...
Город мой родимый,
Я тебя люблю!

1981

Не исповедь, не проповедь...

1982—1985

* * *

Сплошные прощанья! С друзьями,
Которые вдруг умирают.
Сплошные прощанья! С мечтами,
Которые вдруг увядают.

С деревней, где окна забиты,
С долиной, где все опустело.
И с пестрой листвою ракиты,
Которая вдруг облетела.

С поэтом, что стал пустословом.
И с птицей, что не возвратится.
Навечно — прощание с кровом,
Под коим пришлось приютиться.

Прощанье со старой луною,
Прощанье с осенними днями.
Прощание века со мною.
Прощание времени с нами.
1982

ПЕСЕНКА ГУСАРА

Когда мы были на войне,
Когда мы были на войне,
Там каждый думал о своей
Любимой или о жене.

И я бы тоже думать мог,
И я бы тоже думать мог,
Когда на трубочку глядел,
На голубой ее дымок.

Как ты когда-то мне лгала,
Как ты когда-то мне лгала,
Как сердце легкое свое
Другому другу отдала.

А я не думал ни о ком,
А я не думал ни о ком,
Я только трубочку курил
С турецким табаком...

Когда мы будем на войне,
Когда мы будем на войне,
Навстречу пулям понесусь
На молодом коне.

Я только верной пули жду,
Я только верной пули жду,
Что утолит мою печаль
И пресечет вражду.
1982

* * *

Допиться до стихов —
Тогда и выпить стоит;
Когда, лишась оков,
По миру сердце стонет,

Тогда — хоть в дребадан,
В заклад хитон и лиру,
И голый, как Адам,
В Эдем брести по миру.

Беситься, тосковать
По дружбе и по братству...
И, падая в кровать,
Со стоном просыпаться...
1982

* * *

Да, мне повезло в этом мире —
Прийти и обняться с людьми
И быть тамадою на пире
Ума, благородства, любви.

А злобы и хитросплетений
Почти что и не замечать.
И только высоких мгновений
На жизни увидеть печать.
1982

* * *

А мы куда-то мчались
На поезде вдвоем,
Нимало не печалясь
О будущем своем.

Вдоль телеграфных линий,
Под частый перестук
В простор глядели синий,
Не разжимая рук.

Как прядь твоя взлетала!
И воздух был тугой,
Был с запахом металла
И с дымною трубой.

А мы тогда не знали,
Что станция близка
И что грозят печали
С разлукой на века.
1982

* * *

Хотел бы я не умереть,
А жить в четвертом измеренье.
И равнодушно посмотреть
Оттуда на свое творенье.

Пожать плечом — там нет плеча,
И усмехнуться — смеха нету.
И просквозить, как тень луча,
Сквозь прежнюю свою планету.
1982

* * *

А. Ш.

В последний раз со старым другом
Сижу и пью вино.
Тепло. Поет над вешним лугом
Пчелы веретено.

О, пойте, пчелы, пойте, пчелы.
Носите вешний мед.
Вы в этой жизни новоселы,
И вас работа ждет.

А мы с товарищем бесстрашны,
Мы пьем в последний раз.
И вскорости уйдем, безгласны,
Покинем, пчелы, вас.
1982

БАЛЛАДА

— Ты моей никогда не будешь,
Ты моей никогда не станешь,
Наяву меня не полюбишь
И во сне меня не обманешь...

На юру загорятся листья,
За горой загорится море.
По дороге промчатся рысью
Черноперых всадников двое.

Кони их пробегут меж холмами
По лесам в осеннем уборе,
И исчезнут они в тумане,
А за ними погаснет море.

Будут терпкие листья зыбки
На дубах старинного бора.
И останутся лишь обрывки
Их неясного разговора:

— Ты моим никогда не будешь,
Ты моим никогда не станешь.
Наяву меня не погубишь
И во сне меня не приманишь.
1982

КАМЕНЬ

Прежде я мог тесать
На холмах обильных.
Нынче я стал писать
На камнях могильных.

Прежде, взойдя на холмы,
Я пел.
Нынче гляжу на холмы —
Снег бел.

Все вкруг меня бело —
Бел снег.
Белым уже замело
Русла рек.

Можно из снега лепить,
Тесать из льда.
Можно из них летом испить —
Вода.

Что же! Можно испить —
Вода сладка.
Хочется в камень вбить
Тебя, строка.

Нет! Тому уж не быть.
Не та рука!
1982

* * *

В деревьях около воды
Запели вешние дрозды.
Их с каждым годом меньше.
А ручеек между камней
Весною каждой все мутней
И с каждым летом мельче.
И с каждым годом роща та,
Лишаясь дерева, куста,
Становится все реже.
Так наступает пустота;
Так изменяются места.
А говорят: все те же.
1982

* * *

Купаться в ключевой воде,
Вдыхать всей грудью воздух чистый
И взором на заре тенистой
Стремиться к молодой звезде.

Чего еще? В траве лежать,
Всю ночь прислушиваясь к полю.
И руку медленно разжать,
Чтоб сердце отпустить на волю.
1982

* * *

Не исповедь, не проповедь,
Не музыка успеха —
Желание попробовать,
Как отвечает эхо,

Как наше настоящее
Поет морозной ранью
И как звучит стоящее
За вековою гранью.
1982

ШАРМАНЩИК

Шарманщик гуляет по свету.
Бредет по московским дворам.
Шарманочка музыку эту
Играет с грехом пополам.

Шарманщик встает спозаранку
И трудится до темноты.
«Шарманка моя, лихоманка!» —
И тут заедает лады.

«На улице ветер, ненастье.
А ты, мой органчик, играй.
А ты из коробочки счастье
Скорее достань, попугай!»

За счастье свое горожанка
Заплатит последний пятак.
«Шарманка моя, лихоманка,
Играй свою музыку так:

Тара́там, тара́там, тара́там,
Тара́там, тара́там, тара́...
С моим попугаем хохлатым
Стою посредине двора.

Шарманка, шарманка, шарманка
Меня довела до беды.
Шарманка моя, лихоманка...» —
И тут заедает лады.

Потом, после осени трудной,
Когда на бульварах черно,
Сидит он в подвале на Трубной,
Дает попугаю зерно.

За чашкой горячего чая
Сидит, молчалив и устал.
Ведь, счастье другим отдавая,
Он счастья себе не достал.
1982

* * *

Надоели поэтессы,
Их жеманство, их старенья.
Не важны их интересы,
Скучны их стихотворенья.

Выходите лучше замуж,
Лучше мальчиков рожайте,
Чем писать сто строчек за ночь
В утомительном азарте.

Не нудите постоянно,
Не страдайте слишком длинно,
Ведь была на свете Анна,
Ведь писала же Марина.
1982

* * *

И встану я. И слово канет.
И больше ничего не станет.
Рассвет, рассвет. Начало дня.
Но это будет без меня.

И яблонь юное цветенье,
И трав и злаков воскресенье,
И пчел весенняя возня —
Все это будет без меня.

И паруса нальются туго,
И вы обнимете друг друга,
На плечи головы склоня.
Но это будет без меня.

И все, и все. Навеки кану.
Уйду. И я уже не стану
Сидеть у вашего огня.
Все это будет без меня.
1982

О Д А

России нужны слова о России,
Поскольку пути у нее не простые.

России нужны слова о правде,
Поскольку живет она правды ради.

России нужны слова о мире,
Поскольку недругов мы сломили.

России нужны слова о хлебе,
Поскольку живет она не на небе.

Живет не на небе? А может быть — в небе,
Поскольку так широки ее бреги.

Но ей не нужны слова о мести,
Поскольку хочет славы и чести.

Но ей не нужны слова о злобе,
Поскольку низвергнуты злобные боги.

А ей нужны слова о дороге,
Где новые вехи и новые сроки.

России нужны слова о великом,
Поскольку она велика и обильна.

Чтоб перед ее таинственным ликом
Они прозвучали свободно и сильно.
1982

* * *

И вот я встал, забыл, забылся,
Устал от вымысла и смысла,
Стал, наконец, самим собой
Наедине с своей судьбой.

Я стал самим собой, не зная,
Зачем я стал собой. Как стая
Летит неведомо куда
В порыве вещего труда.
1982

* * *

Никто мне ни в чем не обязан.
И я никого не люблю.
Я только по горло повязан
И навзничь положен в ладью.

Плывет без ветрил и без весел
Печальная эта ладья.
Плывет в одинокую осень,
В листву золотого литья.

И ветер ее не качает,
А только теченье влечет.
Влечет и несет и не знает,
Куда и откуда течет.
1982

СТАРЫЙ ТЮТЧЕВ

Всю дряблость ноября с шатанием и скрипом,
Все всхлипыванья луж и шарканье дождя
И все разрывы струн в ночном канкане диком
Я опишу потом, немного погодя.

И скрою ту боязнь, что не дождусь рассвета,
Хоть знаю — нет конца канкану и дождю,
Хоть знаю — сколько дней до окончанья света.
Об этом не скажу. Немного подожду.

Что означает ночь? Что нас уже приперло.
Приперло нас к стене. А время — к рубежу.
Вот подходящий час, чтоб перерезать горло.
Немного подожду. Покуда отложу.
1982

* * *

А если мир погибнет весь?
Неужто там, на дне вселенной,
Не вскрикнет кто-нибудь, смятенный,
О гибели почуяв весть?

И там — в нигде и в никогда, —
Где существует постоянство,
Не крикнет: вспыхнула звезда!
И через миг: она погасла!

А может, миг переворота
Никто на свете не узрит.
И пробу странную природа
Уж никогда не повторит.
1982

ГРОЗА

Накатывается издалека.
Сначала громом конского обоза
По мостовой. Гуденьем сквозняка.
Потом паденьем тяжких бочек с воза.
Потом фугасным взрывом. А за ним
Витком сверхзвукового самолета.
И вскоре — адом, где удар и дым.
И упаданье дерева в болото.

Бушуй, бушуй! Ударь в меня, ударь,
Чтоб пал близ пенной кромки океана,
Где превращается смола в янтарь
И смерть, как жизнь, светла и первозданна.
1982

* * *

Когда сумеем угадать,
Что объявился новый гений,
Когда прольется благодать
В пустые окна наших келий,

Он завоюет нас легко,
Он смыслы новые заявит,
И скоро новое лицо
Словесность наша миру явит.

Усвоим мы его язык,
В ученики пойдем смиренно.
От наших пут и от вериг
Освободимся постепенно.

Пришел бы он! Пришел бы он!
Чтоб его имя воссияло,
А мы чтоб стерлись в пыль времен,
Как будто нас и не бывало.
1982

* * *

Откуда я?
Из тридцатых?
А может — из сороковых?
А может — из шестидесятых
Или семидесятых?
Жизнь моя не лежит
В такой хронологии строгой.
Свои пути избирая,
Я избегал боковых.
А шел прямой дорогой.
Своей простой дорогой.

Я был всегда — пешеход.
Я не скакал на конях,
Не мчался в танковый бой,
Не резал высь самолетом.
Шел. И студеная осень
Мой осеняла шлях
И освещала меня
Легким своим позолотом.

Дальше шагал неспеша,
Непогодь пережидая.

Не манила меня
Лихость разбойных шаек.
Я находил приют
В селах и городах.
И на прощанье лобзал
Милых моих хозяек.

Я пехотный солдат.
По духу и по нутру.
Трубочкой и вином
Была бы душа согрета.
И где-нибудь на юру
Я, как солдат, умру,
Которого не донесли
До ближнего лазарета.
1982

СКОМОРОХИ

Идут скоморохи по тусклым дорогам —
По главному шляху, по малой дороге,
Отвержены церковью, признаны Богом,
По русским дорогам идут скоморохи.

Что могут они? Потешать, скоморохи.
Что могут они? Рассмешить, скоморохи.
А могут ли что-то решить скоморохи?
Какие вопросы, в какие эпохи?

Навстречу — старуха с козой на аркане,
Навстречу — артель мужиков с топорами,
Навстречу боярин в брусничном кафтане.
А там уже — город горит куполами.

Войдут они в город. Осмотрятся — где бы
Устроить им игрища утречком рано.
Для красных петрушек поставить вертепы —
Поближе к базару, подальше от храма.

Как станут скакать и играть в балагане,
Посмотрит старуха с козой на аркане,
Посмотрят артельщики и горожане
И даже боярин в брусничном кафтане.

Забудет старуха невзгоды и беды,
Забудут холопы кабальные нети,
Забудет боярин войну и победы,
Когда затанцуют козлы и медведи.

Пусть к злобе и мести взывают пророки,
Пускай кулаки воздвигают над веком,
Народу надежду внушат скоморохи
И смехом его напитают, как млеком.

Воспрянут старуха с козой на аркане,
Торговые люди, стрельцы, лесорубы,
И даже вельможа в брусничном кафтане.
И ангелы грянут в небесные трубы.
1982

* * *

Ирония! Давай-ка выпьем вместе.
Виват и будем здравы.
Ирония — защита чести,
Ниспровергательница славы.

Ирония — целительница духа,
Весть внутренней свободы.
Давай-ка выпьем, славная старуха,
Достойная высокой оды.

В твоем саду, где стройные деревья,
Откусим от плода, что кисло-сладок,
Разоблачительница суеверья,
Разгадчица загадок.

Но ты одического красноречья
Не вытерпишь и не захочешь.
Тебе, старуха, не переча,
Оставлю оду, коль не хочешь.

Ты недоброжелательница музы,
Богини простодушной,
Но облегчение обузы —
Озон в округе душной.

Насмешница, но с долей грусти,
Напоминанье об итоге,
Печаль родного устья,
Воспомнившего об истоке.

Как можно жить пустые годы,
Тебя не зная?
Ирония судьбы, ирония природы,
Ирония сквозная.

И если все ясней и откровенней
Худые мысли лезут,
Ирония категоричность мнений
Перегрызает, как железом.
1982

* * *

Надо выйти из моды,
Улететь из столиц
И на лоне природы
Написать пять страниц.

Пять коротких и точных,
Тех, в которых итог,
Для которых — подстрочник
Небо, звезды и стог.

Возлегая на стоге,
Над плакучей травой,
Звезд увидеть дороги
Над своей головой.

Из высокой вселенной,
Где небесная тишь,
Ты, мой друг убиенный,
На меня поглядишь.
1982

* * *

И к чему ни прислушайся — все перепев...
Да, мой перепел, ты и себя перепел.
Но однажды, от радости оторопев,
Ты особую ноту поставил в пробел.

Ту, неверную, что остальным вопреки...
Но, мой перепел, я тебя не попрекну
Переломом мотива, крушеньем строки,
Несуразицу всю не поставлю в вину.

Пусть та нота — какая-то вовсе не та,
Да, мой перепел, дуй в нее, как стеклодув,
А когда не по горлу тебе высота,
Раздери клокотаньем разинутый клюв.
1982

* * *

Мне все время видятся холмы,
Как изображенные в картинах
Старых живописцев, что полны
Странности в неверных перспективах.

В синем небе острый лет орла.
Яблоки красны на круглом древе.
Змий, обвившийся вокруг ствола,
Держит плод соблазна в гнусном зеве.

Не спеша, без страха не успеть,
Тропкой по ухоженному саду
Я иду сквозь яблонь анфиладу,
Деревянный плащ спадает с плеч.
1982

* * *

Заскорузлые слова мои
мыслью истоми.
Мой язык и груб и неподатлив.
Разум мой и туп и непонятлив.

Я всю жизнь кляну себя, кляну.
Все равно я у себя в плену.

Я живу в том слове заскорузлом.
В том солдатском, в том природно-русском.
1983

ВЕСНА

I

Вдруг становится хорошо,
Отчего — не поймешь.
Как точильное колесо,
Точит солнышко нож.

Узкий ножик весны,
Ее синюю сталь.
С этим звуком и мы
Устремляемся вдаль.

Ах, побольше печалей,
Побольше тревог!
Чище шорканье стали
О тугой оселок!

Смерть — вы знаете, что это?
Не конец, не беда —
Остановка сюжета
Навсегда, навсегда.

II

Все тянет меня к Подмосковью.
Я связан с ним детством и кровью.
Вы слышали дудку коровью
Когда-нибудь на заре?

Конечно, романтика стада
Уже устаревшею стала.
И — да! — остается нас мало,
Кто слыхивал выхлест кнута.
Эпоха настала не та.

Теперь уже слогом Гомера
Опишут купанье коней.
Но будет нарушена мера
У нас в отысканье корней.

III

Рассвет в огромном дереве —
Словно гнездо жар-птицы.
Солнцеобразно вделаны
В него большие спицы.

Весенний день высиживается
Золотой, как луковица.
И быстро солнце рыжее
Из скорлупы вылупливается.
1983

П Т И Ц Ы

I

О, как я птиц люблю весенних,
Не зная их по именам.
Я горожанин. В потрясеньях
До этого ли было нам?

Я житель улиц, житель парков,
А не тайги и не степей.
И скромных городских подарков
Я жду от птиц и талых дней.

II

Музыка играет
В тихом кафетерии.
Воробей порхает
За окном на дереве.

Веселишься, малый,
На носу апрель.
Проживем, пожалуй,
Несколько недель.

III

Словно пестрая корова,
Март пасется у реки.
Там от снежного покрова
Остаются островки.

Ожиданье ледохода
Наблюдается везде.
Любопытство небосвода
К лесу, полю и воде.

IV

Люблю я март.
Вороний карк.
Зимы последний выплеск.
Грачиный крик,
Где спор возник
О пользе сочинительств.

И ветер свеж.
И вот рубеж
Между зимой и мартом.
Ветра́ судьбу
На берегу
Гадают нам по картам.

В раскладе карт —
Вороний карк
И вопли жадных чаек,
Грачиный шум,
Которым ум
И сердце отвечают.
1983

* * *

Тебя люблю. С тобою буду
Всем существом своим, покуда
Я не умру. Но не умру,
Покуда я с тобою буду
Всем существом.
Подобно чуду
Существованье двух сердец
И их немыслимый конец.
1983

* * *

Не мешай мне пить вино.
В нем таится вдохновенье.
Вдохновенье. А продленья
Нам добиться не дано.

Без вина судьба темна.
Угасает мой светильник.
Смерть — она не собутыльник,
К трезвости зовет она.

Можно ль жить, себя храня,
С чувством самобереженья?
Нет, нельзя среди сраженья
Уберечься от огня!

Ты уж так мне жить позволь,
Чтоб не обращал вниманья
На прерывистость дыханья
И тупую в сердце боль!..
1983

* * *

Я в этой жизни милой
Изведал все пути.
Господь меня помилуй,
Господь меня прости.

Но суеты унылой
Не мог я побороть...
Господь меня помилуй,
Прости меня, Господь.

Да, в этой жизни, Боже,
Не избежал я лжи.
Карай меня построже,
Построже накажи.
1983

* * *

Я вдаль ушел. Мне было грустно.
Любовь ушла. Ушло вино.
И я подумал про искусство:
А вправду — нужно ли оно?

Затем, зачем стремится гений
Познать ненужность бытия,
Ведь все мгновенней и мгновенней
И сокровенней жизнь моя!..
1983

Б А Т Ю Ш К О В

Цель людей и цель планет —
К Богу тайная дорога.
Но какая цель у Бога?
Неужели цели нет?..
1983

* * *

— О люди, о люди! — вопит Прометей, —
Спасите меня из орлиных когтей!

Прожег меня уголь в корявых горстях,
Болит моя печень в кровавых когтях.

Спасите меня от огня и орла! —
Молчанье в ответ. И кромешная мгла.
1983

* * *

Я многого хочу.
К примеру — зимы морозной,
Чтобы сугроб в сажень
И чтоб дымок курился папиросный
Над кровлями деревень.

Чтобы трещал мороз
И чтоб светило,
Погружено в небесный купорос,
Едва светило.

Чтоб были дни короче
Фразы Цезаря
И ледяными литерами врезаны
Посередине ночи.

Чтобы пронзительные очи холода
Глядели строго,
Чтобы звезда была приколота
На грудь сугроба.
1983

СМЕХ В ОТДАЛЕНЬЕ

Смех молодых женщин: впереди
По улице. Смех молодых мужчин.
Уж, кажется, смеяться нет причин —
Дожди.

А стать зимой
Никак не соберется осень...
О боже мой,
Как смех разноголосен!

Как много в нем значений, величин,
Какой раскат и вольный дых —
Смех молодых мужчин,
Смех женщин молодых.

Смех музыке сродни —
Рулады, переливы.
Наверное, они
Прекрасны и счастливы.

А между тем — дожди,
Скрип сосен канифольный.
А там, по улице, там, впереди,
Смех молодой и вольный.

В их смехе — к жизни прикрепленность,
И ожиданье свежих зим,
И века дикого смиренность,
И принадлежность молодым.
1983

ОБЛИКИ ОБЛАКА

Наблюдая, как тысячи
Наблюдают облака,
Вижу я, как в них неровно высечен
Образ века и не наверняка.

Можно видеть в утреннем облаке
Текучие лики и облики:
Космические вихри атома
И рядом профиль Курчатова.

И чему-то вселенскому родственно,
И стоустой молвы стоустей —
Нежное лицо Высоцкого,
Полное печали и предчувствий.
1983

ОЖИДАНЬЕ ПРИШЕСТВИЯ

Вглядываюсь в юные лица:
Может быть, это Он,
Который должен явиться
Вестником новых времен.

Может, вон тот, с лицом неприметным,
В глупом беленьком петушке,
Записывает на коробке сигаретном
Ручкой за 35 к. —

Такое, что все закачаются,
Потому что все шары — в лузы,
И возликуют печальницы,
Русские музы.

Может, от этой поступи,
Ритмом звучащей в холоде,
Что-то случится в воздухе
И произойдет в городе.

Может быть, это таяние
Снега на косогорах
Выльется в сочетание
Новых имен и глаголов.

И может быть, потепление —
Не результат циклона,
А результат скопления
Новой воли и слова.

Нет ничего скромнее пришествий.
Звоном и лаврами они не венчаются.
Лишь улыбнутся в сонме созвездий
Русские музы — наши печальницы.
1983

ПЕСЕНКА

Ю. К.

Печечка залепетала.
Что она мне нашептала
Жарким шепотом ольхи?
Нашептала мне стихи.

На дворе пурга сырая,
А она поет, сгорая.
А когда сгорит дотла,
Даст мне несколько тепла.

Печечка, гуди послушно.
Без тебя мне очень скучно,
Очень скучно без друзей
И без юности моей.
1983

* * *

Всю ночь сегодня буря выла
И море зимнее бесилось.
И оттого так смутно было,
И думал я про нашу сирость.

Неужто есть конец, начало,
Но в мире — нам подобных нету?
И оттого так страшно стало
За одинокую планету.

А утром волны отрычали,
Снега от солнца заблистали.
И оттого так беспечальны
Мне дни грядущие предстали.
1983

* * *

Здесь, вдали, неизвестно — кто умер, кто жив.
Просто письма не пишут.
Здесь всегда перед окнами дышит Залив.
А друзья уж не дышут.

Пусть дыханье Залива сольется с моим.
Его ветром объяты,
Вместе с ним океанской слезой утолим
Горечь каждой утраты.
1983

* * *

Вечность — предположенье —
Есть набирание сил
Для остановки движенья
В круговращенье светил.

Время — только отсрочка,
Пространство — только порог.
А цель Вселенной — точка.
И эта точка Бог.
1983 или 1984

З И М А

Об удовольствиях весны
Железные мечтают сосны.
Дни нераздельны и ясны.
Снега задумчивы и косны.
Не позднее 1984

С А М О З В А Н Е Ц

Как мы встанем с клинками,
Как мы по степу свистнем.
Царь Димитрий скликает
Потягаться с Борисом.

Соберемся мы, воры,
Ко городу Кромы,
Задрожат воеводы
От нашего грома.

К нам в кафтане малиновом
Царь Димитрий выходит.
Он полячку Марину нам
На крылечко выводит.

Ох, бесстыжи глаза его!
Да зареяло зарево!
Чтобы выше зареяло,
Подыграем игре его.

Ох, и будет дым!
А там поглядим —
И спровадим прочь
Из царей его!
Не позднее 1984

* * *

А. М.

Люблю тебя, Литва! Старинная вражда
Остыла. И мечи — давно добыча ржави.
Нас повела одна высокая звезда
И нам судила жить в одной державе.

Давно осуждено попрание святынь.
Простили мы тебя, и ты прости нас.
И нынче тешит слух имен твоих латынь:
Марцелиюс, Юстинас.

Литва, молись за нас! Я за тебя молюсь.
Мы вдруг соединим Царьград с великим Римом.
И слезы потекут из глаз,
Разъедены отчизны общим дымом.

Мой друг! И мой поэт! Нас не разъединит
Различье языков и вер разъединенье.
Одною пулей будешь ты убит
Со мною рядом. И одно мгновенье

Мы проживем. Ах! Нам недолго жить...
Литва, не уходи, ведь без тебя мне пусто.
Нет, Альфонсас, теперь уж не прервется нить
Любви, судьбы, искусства.
1983— 1984

* * *

Перед тобой стоит туман,
А позади — вода,
А под тобой сыра земля,
А над тобой звезда.

Но в мире ты не одинок,
Покуда чуешь ты
Движенье моря и земли,
Тумана и звезды;

Покуда знаешь о себе,
Что ты проводишь дни
Как неживое существо,
Такое, как они.

А большего не надо знать,
Все прочее — обман.
Поет звезда, летит прибой,
Земля ушла в туман...
1984

* * *

Друзья мои, здравствуйте!
Вот я и вернулся домой.
Любимые классики
Стоят предо мною стеной.

Квартира разгромлена,
И негде мне на ночь залечь.
Но многое вспомнено,
И вновь обретается речь.

На старом рояле,
Где спит кахетинский кувшин, —
На нем не играли
Наверное, век с небольшим.

Друзья мои, здравствуйте!
Ведь дружба еще не слаба!
И пейте! И властвуйте!
И произносите слова!
1984

* * *

Луна взошла. Спасибо ей!
Как редко мы
Благодарим за свет. Пролей
Сиянье среди тьмы!

Благодарю тебя, Луна
За этот светлый час.
Ведь я не знал, что времена
Должны упасть на нас.
1984

* * *

Светлые печали,
Легкая тоска
По небу промчали,
Словно облака.

А по ним осталось
Все, что я сберег:
Легкость, свет и старость,
Море и песок.
1984

* * *

Л. Л.

Отвези меня в Грузию! Здесь я хочу умереть.
Но сначала хочу поглядеть со скалы над Сигнахи
На долину, где осень кует виноградную медь
И стоят полукружием горы, надвинув папахи.

В Алазанской долине пои меня местным вином,
Я потом буду долго жевать золотую чурчхелу.
Увези меня в Грузию, друг, приведи меня в дом.
Только здесь я сумею отдаться последнему делу.

Только здесь, где однажды запели Шота и Важа,
Только здесь, где стояла препона всевластью ислама,
Только здесь, где судьба доведет меня до рубежа,
Только в Грузии, здесь, и начнется последняя драма.

Пусть я буду дыханием хóлмов ее освежен.
Пусть я буду объят, опоен ее долей и волей,
Византийскою нежностью тонких грузинских княжон
И медлительным вежеством добрых крестьянских застолий.

Отвези меня в Грузию! Здесь я хочу умереть.
Здесь, с друзьями, окончится вдруг ощущенье чужбины.
И еще я хочу, и еще я хочу посмотреть
Со Сигнахских высот в глубину Алазанской долины.
1984

* * *

Не преуменьшать
И не преувеличивать.
Знаю я прилипчивость
Преувеличений.
А преуменьшений
Главная опасность —
Целое, великое
Принимать за частность.
1984

РОМАНС

Поворожи, цыганка,
На картах погадай,
Ограбь меня до нитки,
Но молодость отдай!

Обобранный до нитки,
Неловкий, молодой,
Поеду я в пролетке
С лошадкою гнедой.

— Скажи-ка мне, извозчик,
Куда меня везешь?
Ведь у меня в кармане
Один несчастный грош.

Извозчик мне ответит:
— Не можешь — не плати.
Ведь сам не знаешь, малый,
Куда тебя везти!

Не молодой, не старый,
Не мертвый, не живой,
Обобранный до нитки,
Я побреду Москвой.

И вдруг — знакомый дворик,
Где сушится белье.
— Привет, мой друг Татьяна,
Пусти меня в жилье.

— Прости меня, мой милый,
Что не могу пустить.

За то, что не любила,
Не можешь мне простить.

Я отойду печальный —
Все вспомнил, все забыл.
— Тебя, мой друг Татьяна,
Так мало я любил!

Забыто — не забыто.
И больно. И светло.
И то, что будет после,
Уже произошло.
1984

* * *

Играй, Игнат, греми, цимбал!
Под скрипку и цимбал
Вот здесь я Анну целовал
И слезы проливал.

Играй, Игнат! Игра твоя
Хмельнее, чем вино.
Играй! Ведь молодость моя
Отыграна давно!

Со мной играли бой и смерть,
Начало и конец.
Со мной играли сталь и медь,
И порох, и свинец.

Со мной играли дождь и снег,
Фугас и самолет.
Со мной играл Нечеловек
И сорок первый год.

Играй, цыган! Играй, Игнат!
Терзай струну, как зверь,
Во имя всех моих наград
И всех моих потерь.

Ведь здесь последний мой привал,
Где ты тогда играл
И где я Анну целовал
И слезы проливал.
1984

* * *

Жизнь с множеством чувств и волнений,
А кажется — просто течет.
Не видишь, когда из течений
Рождается водоворот.

Внезапно затянет, затянет,
И ты захлебнешься волной.
И снова в боренье потянет
Дышать атмосферой земной.

И, кажется, нету надежды.
Но снова лежишь у костра
И смотришь сквозь мокрые вежды,
И воду блюешь из нутра.
1984

* * *

Тогда любовью нашей грешной
Нисколько я не дорожил.
Я жизнью легкой и поспешной
И невзыскательною жил.

Был жар моей любовной речи
Тогда не более игры.
И, утомясь от тайной встречи,
Бежал я в легкие пиры.

Мне лишь потом открылась сила
Твоих страданий и страстей.
И то, что ты произносила,
Предстало чище и Святей.

А нынче юные созвездья
Угасли, как глаза твои.
И мне, как позднее возмездье —
Страдание от нелюбви.
1984

* * *

Познать свой век не в силах мы!
Мы в нем, как жители тюрьмы,
Заброшены и одиноки,
Печально отбываем сроки.

Потом историк и певец
Преобразят тюрьму в дворец
И, всю эпоху перестроив,
Отыщут в ней своих героев.

И на единый пьедестал
Тогда их возведет ученый,
Чтобы палач иль заключенный
Перед потомками предстал.
И, славы предков сберегатель,
На них какой-нибудь ваятель
Употребит один металл.
1984

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

Ветер звал. Тропа вела.
Желтый мед луна пила.

Ночь была большой и сильной,
Как табун степных коней.
Лишь потом полоской синей
Прочертилось утро в ней.
Посерели небеса.
И заплакала роса.

В небесах уже мельчали
Кучи звездного зерна.
И, как сахар в желтом чае,
Быстро таяла луна.

Ветер звал. Тропа вела.
Солнце грызло удила.
1984

* * *

Я ухожу постепенно.
Ни пуля, ни петля,
Ни яд, ни морская пена —
Лишние три рубля.

Где-нибудь возле стойки
Мы подводим итог.
Видимо, мы не стойки
На переломе эпох.
1984

* * *

Чудо — познаваемость вселенной
И с природой дивный диалог.
Этот чистый, темный и целебный
Рек, небес, пустынь и моря слог.

Этих гор возвышенные оды,
Пестрые элегии лесов,
Разговор осмысленной Природы,
Примечанья птичьих голосов.

Осторожней принимай признанья
И о тайнах сбивчивый рассказ.
Что-то пусть останется за гранью,
В любопытстве сдерживая нас.
1984

* * *

Когда кругом цветут сады,
Душа, забывшись, отдыхает
От суесловья и вражды
И свежесть яблони вдыхает.

Она устала прозревать
Грядущее. Она устала
Прошедшее переживать,
Минувшее твердить с начала.

Она устала от оков
И, отдыхая, вновь готова
Поверить в свежесть облаков
И в святость образа людского.
1984

* * *

Когда уже надежды нет,
И опостылел белый свет,
И невозможно жить с людьми,
О Господи, подай любви!

Когда нет солнца в небесах,
И птицы не поют в лесах,
И в синем море нет ладьи,
О Господи, подай любви!

Когда почти что свет угас
И близится последний час,
Душа в порыве воззови:
О Господи, подай любви!

Когда уже лежишь на дне,
Не мысля о грядущем дне,
Но что-то теплится в крови:
О Господи, подай любви!
1984

* * *

Сад — это вовсе не природа,
А означенье перехода
От грустной осени к зиме,
От неба серого к земле.

Сад — это рассветанье в окнах,
Через окно — огромность лип,
Где тишина лежит, промокнув,
И холод ей равновелик.

Ах, как мне надоело это —
Холодная зима и лето,
Времен скрипучий переход,
Что длится уж который год!..
1984

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е

Быть с тобою очень страшно,
Потому что видишь ты
То, что я уже не вижу
Из-за черной слепоты.

Быть с тобою очень страшно,
Потому что слышишь ты
То, что я уже не слышу
Из-за шумной глухоты.

Быть с тобою очень страшно,
Потому что молвишь ты
То, что я сказать не в силах
Из-за робкой немоты.
1984

* * *

А на рассвете дрозд поет.
Проснувшись, вновь тоскую.
Ведь невозможен поворот
Обратно, в жизнь мирскую.

Есть что-то нелюдское в том,
Как я живу, пытаясь
Себя изобразить пером,
И как пишу, отчаясь.

А на рассвете свищет дрозд
И тенькают синицы.
И росы падают со звезд
Деревьям на ресницы.
1984

* * *

Знаю: дерево это в июне
Достигает духовных высот.
Как роскошно оно в новолунье,
Как сильны его запах и пот!

Расстилается лунная пажить,
Расплываясь в рассветном дыму.
Молча дерево что-нибудь скажет,
Молча месяц ответит ему.

Друг на друга с улыбкою глянут
И увидят, что скоро рассвет.
И тогда уж пернатые грянут
Уходящему месяцу вслед.
1984

* * *

Путь мой юный, свет мой ранний,
Долгий свет солнцестояний.

Будут дни чуть-чуть короче,
Будут чуть длиннее ночи.

Будут чуть длиннее ночи,
Будут чуть грустнее очи.

Чуть грустнее, чуть печальней,
Свет мой поздний, путь недальний.
1984

* * *

Какой могучий ветер
Всю ночь дул от залива!
Деревья на рассвете
Качались боязливо.

Пока еще зависим
От бури и от шторма,
Мне не пишите писем,
Их содержанье — вздорно.
1983— 1984

В. СОКОЛОВУ

Какая это все мура —
Со смертью жалкая игра!
Какая это робость мысли,
Что смерть есть жизнь
В известном смысле.

И вправду ли тебе известен
Тот смысл?
И если будешь честен,
Напрасно не произнесешь
Нас унижающую ложь.

О, жизнь есть смерть,
В известном смысле.
Вот, видишь, яблоки нависли,
Вот, видишь, покраснел томат.
Все это ты, мой бедный брат.

Ты жил, чтоб стать томатной пастой...
А жизнь твоя была опасной.
Ты был поэтом, Соколов!
Теперь тобой заправят плов.

Напрасно, милый мой Володя,
Надеяться на что-то вроде
Бессмертья. Ты — матерьялист.
И даже я. И все нам ясно.
И видимо, живем напрасно.
И кажется, уйдем в навоз.
Мы станем удобреньем роз.
1984

* * *

Водил цыган медведя,
Плясал его медведь,
А зрители-любители
Ему бросали медь.

И девочка-цыганочка,
Как вишенки зрачки,
Ловила в звонкий бубен
Монетки-пятачки.

А как она плясала —
Плясала, как жила.
И ножками притопывала,
И плечиком вела.

Пляши, моя цыганочка,
Под дождичком пляши,
Пляши и для монетки,
А также для души.

В существованье нашем
Есть что-то и твое:
Ради монетки пляшем —
И все ж не для нее.
1984

ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ

Хотел бы сказать тебе:
«Радость моя!» —
Но радость мне не по годам.
Хотел бы сказать тебе:
«Сердце мое!» —
Но сердце тебе не отдам.

Хотел бы сказать тебе:
«Счастье мое!» —
Но счастьем я не дорожу.
Раскланяюсь молча
При встрече с тобой.
И молча вослед погляжу.
1984

* * *

Закатам облака к лицу,
Как Пушкину и Лермонтову гибель.
Подобен краткий ливень
Лиловому свинцу.

Когда закат похож на бой,
Взлетают грозные богини.
Здесь не сраженье меж собой,
А бой меж нами и другими.
1983—1984

* * *

А помнишь, ты была тогда
Беспамятней воды —
На светлой глади ни следа,
Ни складки, ни черты.

Мы не останемся нигде
И канем в глубь веков,
Как отраженье на воде
Небес и облаков.
1984

ПУШКИН ПО РАДИО

Возле разбитого вокзала
Нещадно радио орало
Вороньим голосом. Но вдруг,
К нему прислушавшись, я понял,
Что все его слова я помнил.
Читали Пушкина.

Вокруг
Сновали бабы и солдаты,
Шел торг военный, небогатый,
И вшивый клокотал майдан.

Гремели на путях составы.
«Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас обман».

Мы это изучали в школе
И строки позабыли вскоре —
Во времена боев и ран.
Броски, атаки, переправы...
«Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман».

С двумя девчонками шальными
Я познакомился. И с ними
Готов был завести роман.
Смеялись юные шалавы...
«Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас обман».

Вдали сиял пейзаж вечерний.
На ветлах гнезда в виде терний.
Я обнимал девичий стан.
Ее слова были лукавы.
«Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман».

И вдруг бомбежка. Мессершмитты.
Мы бросились в кювет. Убиты
Фугаской грязный мальчуган
И старец, грозный, величавый.
«Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас обман».

Я был живой. Девчонки тоже.
Туманно было, но погоже.
Вокзал взрывался, как вулкан.

И дымы поднялись, курчавы.
«Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман».
1984

УБИЕНИЕ УГЛИЦКОЕ

Был Феодор добрый царь,
Да дела не ладились.
Говорили: преставится,
Все тогда поправится.
Говорили: отдохнем
От царя от грозного.
А при Феодоре, при нем
Много было розного.
Если бы не царский шурин,
Если б не Борис,
Все б передрались.

А Борис, царский шурин,
Был умом светел.
Он царя мишурил,
В государи метил.

А Димитрия убили,
Сына грозного царя.
Поздно, поздно
Прибежали лекаря.
Мать-царицу откачивали,
В покой внеся.
Ах, нельзя убивать маленьких,
Убивать нельзя!

Лежал он бледный, беленький
Среди желтых свечей.
Мог бы стать помазанником,
А теперь он ничей.

Государем мог бы стать строгим,
Страшным государем быть,
Головы приказал бы рубить,
Свирепей батюшки быть,
Недругов разя!
А все равно: маленьких
Убивать нельзя!

Ой, — горевал Феодор!
Ай, — утешал Борис!
А после сего события
Только начались.

Нарядили следствие.
Шуйские князья
Приговорили: маленьких
Убивать нельзя.
А его, царевича,
Никто и не убивал...
Играл, играл
Да напоролся
На кинжал.

Ой, — горевал Феодор!
Ай, — утешал Борис!
А тут-то они, события,
Другие начались.

Помер, помер царь Феодор.
Упросили стать Бориса.
Стал татарин, царский шурин,
Государем всея Руси.
И опять дела не пошли на лад:
Всюду глад и мор,
Всюду мор и глад.

Но тут заговорили:
Димитрий бежал,
Он не напоролся
На кинжал.

Говорили: Гришка,
Беглый монах.
А про Бориса — царишко,
Не в своих, дескать, чинах.
Говорили: маленького
Убивать нельзя,
У него особая стезя.
Маленького не убили,
Маленького схоронили,
Схоронили в девичьей.
Не так просто убить царевичей!

И пришел царевич — Димитрий
С ляхами.
Архиереи хватались за митры,
Ахали.
И заколебалась
Русь вся.

Убивать маленьких
Нельзя...
Ведь дети, они слабеньки,
Что хочешь с ними твори.
А достойны сабельки
Взрослые цари.

Ой и помер Борис
За злодейство свое.
Ой и Шуйский ушел
За лукавство свое!
И по всей Руси
Началась резня.

Потому что маленьких
Убивать нельзя!..
1984

* * *

В мире многообразном
Есть ясность и туман.
Пока предмет не назван,
Он непонятен нам.

Спрашиваем в страхе:
Кто он, откуда, чей?
Слова — смирительные рубахи
Для ошалевших вещей.
1983 или 1984

СТАРАЯ МАМА

Как червячок,
Закутавшийся в кокон,
Полуслепая
И полуглухая,
Она грызет тихонько
Домик свой,
Чтоб маленькою бабочкой взлететь
И, шелк судьбы оставив, умереть.
1984

ПАРТИЗАНЫ

Спасаться от огня и от набега,
Спасать скотов, добро, себя и чад
Простительно.
Пускай же нас простят
Герои войн и мученики века.

Славнее те, кто не бежит от бед,
Кто в страшный час свой край не покидает,
А вместе с ним воюет и страдает,
И гибнет, не доживши до побед.
1984

* * *

Повторяемся
И не можем
повториться,
Ибо являем только себя.
Повторений не надо бояться,
Это истина наша седа.

Мыслей мало,
всего лишь с десяток,
Остальное — соображенья.
И когда выпадают в осадок,
Остается стихотворенье.
1984

МОГИЛА ПОЭТА

Памяти Л. Т.

О нем и память уж почти мертва.
Ушла с друзьями.
Камень и могила
Заросшая. А та, что хоронила,
Его забыла и еще жива.

Земная память, в общем, пустяки.
Когда-то, может, вспомнятся стихи,
Совсем в другом, нездешнем пониманье.
Да не стихи! Две-три строки,
отнюдь
Не лучшие.
Их нынешняя суть
Скорей всего не привлечет вниманья.
Не позднее 1985

ЗИМНИЙ КОМАР

Зима. И вдруг — комар. Он объявился в доме,
Звенит себе, поет, как летнею порой.
Откуда ты, комар? Как уцелел в разгроме?
Ты жив еще, комар? Ты — истинный герой!

А на дворе метель. И ночь зимы ненастной.
В окне сплошная темь. В стекло гремят ветра.
А здесь поет комар — уже он безопасный.
И можно уважать упорство комара.

Он с лета присмотрел укромное местечко.
И вот теперь гудит, как малый вертолет.
Слились в единый хор метель, и он, и печка.
Не бейте комара! Пускай себе поет!

А может быть, придут дни поздних сожалений,
И мы сообразим, что в равновесье сил —
Ветров и облаков, животных и растений —
Он жил совсем не зря и пользу приносил.

И будет славен он, зловредный сын болота,
И в Красной книге как редчайший зверь храним,
И будет на него запрещена охота,
И станет браконьер охотиться за ним.

Гудит, поет комар, ликует напоследок,
Он уцелел в щели и рассказал о том.
Не бейте комара хотя б за то, что редок.
А польза или вред узнаются потом.
1985

ЗА ГОРОДОМ

Тот запах вымытых волос,
Благоуханье свежей кожи!
И поцелуй в глаза, от слез
Соленые, и в губы тоже.

И кучевые облака,
Курчавящиеся над чащей.
И спящая твоя рука,
И спящий лоб, и локон спящий.

Повремени, певец разлук!
Мы скоро разойдемся сами.
Не разнимай сплетенных рук,
Не разлучай уста с устами.

Ведь кучевые облака
Весь день курчавятся над чащей.
И слышится издалека
Дневной кукушки счет горчащий.

Не лги, не лги, считая дни,
Кукушка — мы живем часами...
Певец разлук, повремени!
Мы скоро разойдемся сами.
1985

* * *

Мороз! Накликал сам! Ведь слово — колдовство!
Пророчества свои произносить не стоит.
А я призвал Мороз! Зачем призвал его?
Теперь, как псы, у нас ночами печки воют.

Мы можем иногда владеть толпой причин
И силою молитв влиять на ход вселенной.
Но следствия темны. Так лучше помолчим.
И лучше не дадим свободы воле пленной.
1985

НАЗНАЧЕНЬЕ

Творец, вдохновенью доверься,
Как чистой и вольной реке,
Доверься велению сердца,
Внезапной и странной строке.

Доверься дыханью свободы,
И тут же себя обретешь,
Рисуя окрестной природы
Свой неповторимый чертеж.

Существенность без искажений.
Сомненье без зла и хулы.
И твердая сила Ученья
Без метафизической мглы.

Поменьше самооправданий
И жалоб на грубость судьбы.
Суровое счастье страданий
Вдали от дотошной толпы.
1984— 1985

В НОЧНОМ

Были ветер и дым.
Были травы и кони.
Совершенством своим
Конь подобен иконе.

Так же чист его лик,
Так же взор его светел.
Были луг и тальник,
Были травы и ветер.

Был костер и казан,
Полунощная птица.
Конь, луна и цыган.
Сны, которым не сбыться.
1985

И Т О Г

Что значит наше поколенье?
Война нас споловинила.
Повергло время на колени.
Из нас Победу выбило.

А все ж дружили и служили,
И жить мечтали наново.
И все мечтали. А дожили
До Стасика Куняева.

Не знали мы, что чернь сильнее
И возрастет стократ еще.
И тихо мы лежим, синея,
На филиале Кладбища.

Когда устанут от худого
И возжелают лучшего,
Взойдет созвездие Глазкова,
Кульчицкого и Слуцкого.
1985

ОКНО

Петр прорубил окно. Екатерина,
Не заробевши, влезла в то окно.
Ей полюбилась русская дубина.
Поскольку можно действовать умно.

К тому окну осталось недоверье.
За ним лежал неведомый предел.
Томился Пушкин за закрытой дверью,
Поскольку в окна лазить не хотел.

Пока мужик, истрачивая силы,
Трудился от светла и до темна,
Тревожились о нем славянофилы:
Неровен час, продует из окна.

Так и живем. В окно на мир взираем.
Не так уж плохо нам в родном жилье.
А что случится, если дверь отдраить?
Нельзя, глядишь, придавят в толчее!

Окно, окно!.. А Блок писал: «Равенна!»
А Тютчев восклицал: «О, этот юг!»
А как живут? Живут обыкновенно.
На ужин жрут лягушек. Виски пьют.

Теперь уж можно высунуть головку.
И поглядеть: летят к Парижу «Ту».
А в Лувре был? Конечно. В Третьяковку
Теперь пойти бы. Как-нибудь зайду.

Глядим в окно на старую Европу.
Как бы не задала дурной пример.
А нам она показывает жопу.
И мы в свое окошко кажем хер.
1985

ПОСЛЕ СУРОВОЙ ЗИМЫ

Снег все же начал таять. Суть
Победна. И весна, хоть робко,
Но начала торить свой путь.
Уже подтаивает тропка.

Черны, крепки деревья так
В рисунке своего скелета,
Что могут сохранить костяк
В роскошном оперенье лета.

Уже на новом рубеже
Стоят небесные светила.
И время летнее уже
Нам радио провозгласило.

Так побеждает суть. В саду
Вокруг деревьев глубже лунки.
И радуют на холоду
Синиц серебряные струнки.

Суть времени уже ясна.
Пусть неуступчива погода,
Грядут иные времена,
Извечно, как у Гесиода.

Снег начал таять. В этом суть.
И здесь мерило высшей пробы.
Уже весна торит свой путь.
А формы тают, как сугробы.
1985

О С Е Н Ь

Д. Х.

В уходе есть свое величье.
Когда, не подсчитав потерь,
Выходят прямо в безграничье
И не запахивают дверь.

Перед морозом, перед снегом,
Перед бесчинством непогод.
И можно ли считать побегом
Великой Осени уход?

Уж ветер северо-восточный
В листве копается, сварлив,
Как архивариус дотошный,
Долистывающий архив.

А тот архив уже не нужен.
Отказываться нам пора
От стилистических жемчужин,
От легких шалостей пера.

Ступай вдоль серого залива,
Мечи следы на пляж пустой,
Беседуя неторопливо
С землей, водой и высотой.
1985

* * *

Кто говорит, что снова молод,
Тот, вероятно, просто глуп.
А я скажу, что этот холод
Похож на холод ваших губ.

На ваших рук прикосновенье,
Отталкивающих уста,
И на последнее мгновенье,
Вслед за которым немота.
1985

* * *

Нам надо бы закрыться,
Замкнуться ото всех.
Не видеть чужие лица,
А видеть белый снег.

Закрыться лет на триста
И жить в своей норе.
И чтобы декабристы
Не строились в каре.

Чтоб было тихо-тихо,
Без выплесков и драм.
Всесветная шумиха
Чтоб не мешала нам.

Чтоб силы накопили,
Чтоб волю сберегли.
Чтоб ложью нас не сбили
И правдой не сожгли.

Лежать нам в белой люльке
Между добром и злом...
И только снег в проулке —
Серебряным крылом.

И никого при этом
Чтоб не нарушить сон...
А где-то за проспектом
Чтоб спал микрорайон.

Чтоб все микрорайоны
При станциях метро
Посапывали сонно,
Когда вокруг мертво.

Чтоб все микрорайоны
Сдвигались. И тогда
Нас будут не миллионы,
А станут города.

И отомкнет столица
Подземные колеи.
Увидит чужие лица
И разглядит свои.

И выйдут все из комнат,
Словно услышав весть.
Тогда поймут и вспомнят,
Что и другие есть.

И посреди разброда,
Который в этом миру,
Воспрянет душа народа,
Проснувшегося поутру.
1983—1985

ДИАЛЕКТИКА

Мы — самозванцы,
Выдающие себя
За собеседников богов.
Притворщики,
Которым верит простодушный,
Что разумеют жалобы лугов,
Восторг лесов
И лепет облака воздушный.
И все ж не надо так себя уничижать.
Мы —
        зеркала,
Где все отображенья
Чудесно множатся
И движутся, дробясь,
Напоминая каждого из вас.
Мы —
        это вы,
Не лучше и не плоше.
Когда вам весело,
Мы веселимся тоже.
Когда вы злы,
Мы тоже злы.
Нет высшей похвалы,
Чем та, когда
Нас путают:
С читателем —
                поэта.
А если различат —
Не очень важно это.
1985

БЕАТРИЧЕ

Откуда Беатриче? Да еще не под синим небом Италии, а на фоне хмурой Прибалтики? Оттуда же, откуда многие Дамы Блока — из знаковой системы культуры. Культура накапливает образы, понятия и опыт чувств. Все, кто соприкоснется с культурой, не могут не усваивать ее знаковых значений.

Для меня Беатриче — знак суровой, требовательной и неосуществленной любви.

Мой цикл сложился как ряд переживаний, связанных с категориями чувств.

Ссылка на накопленные значения составляет суть культурной традиции, вне которой не существует развитая поэзия. Она есть и в шестикрылом серафиме Пушкина, и в сапоге ломающего каноны Маяковского, где гвоздь кошмарней фантазии Гете.

Один критик, сторонник поэзии «простодушной», уже успел упрекнуть меня в книжности, наткнувшись в моем цикле на имена Беатриче, Лауры, Данте, Петрарки и Дон Кихота. Наверное, ученые педанты, со своей стороны, упрекнут меня в невежестве относительно реалий подлинных отношений Данте и Беатриче.

Выше я ответил тому и другим.

Беатриче

Говорят, Беатриче была горожанка,
Некрасивая, толстая, злая.
Но упала любовь на сурового Данта,
Как на камень серьга золотая.

Он ее подобрал. И рассматривал долго.
И смотрел и держал на ладони.
И забрал навсегда. И запел от восторга
О своей некрасивой мадонне.

А она, несмотря на свою неученость,
Вдруг расслышала в кухонном гаме
Тайный зов. И узнала свою обреченность.
И надела набор с жемчугами.

И, свою обреченность почувствовав скромно,
Хорошела, худела, бледнела,
Обрела розоватую матовость, словно
Мертвый жемчуг близ теплого тела.

Он же издали сетовал на безответность
И не знал, озаренный веками,
Каково было ей, обреченной на вечность,
Спорить в лавочках с зеленщиками.

В шумном доме орали драчливые дети,
Слуги бегали, хлопали двери.
Но они были двое. Не нужен был третий
Этой женщине и Алигьери.

Автобусная остановка «Лаури»

У нас с тобой каникулы
В круглогодичной школе
Взаимных обучений.
Кругом леса и выгоны.
Дорога вьется в поле.
Автобус предвечерний.

А остановка «Лаури»
Вдруг может стать Лаурой,
На фоне ровной травки
Возможно в светлой ауре
Среди природы хмурой
Явление Петрарки.

Откуда здесь? В неведенье.
Но где-то за лугами,
Где не подозревают,
«Божественной комедии»
Зловещими кругами
Округа назревает.

А дальше — силы женственной
Два образа, что милы
Душе в своем различье.
Поэзии божественнной
Две жертвы. Две могилы.
Лаура. Беатриче.

* * *

Ждать не умею! Вмиг! Через минуту!
Ведь каждый миг я изменяюсь сам.
А нынче мне приснилось почему-то,
Что мы живем по солнечным часам.

А солнца нет. В душе темно, как в штольне.
И циферблат луны туманом скрыт.
И лишь на вильяндиской колокольне
Двенадцатый удар. Звонарь не спит.

* * *

Желанье и совесть — две чаши
Весов. Если нет равновесья,
Желанья бессовестны наши.
А совесть — сплошное увечье.

И в самоубийственном раже,
Как жуткий пожар чернолесья,
Дымится нутро человечье.

День

Увижу рассвет за венозным окном,
Пойму, что не надо тягаться со сном.
Теперь уже можно не спать, не дремать,
А лишь ожиданьем себя донимать.

А дождь не стихает и днем.

Сперва буду ждать вдохновенной строки.
Но рифмы трещат, как стропила.
Да! Боги мои обжигают горшки,
А я лишь леплю их уныло.

Потом ожидать начинаю письма.
И жду, чтобы дети восстали от сна.
И чтобы ты кофе сварила.
И чтобы ты заговорила.

Но оба мы ждать начинаем врага.
Ты соль уронила вблизи очага.
Ах, жаль, что солонку разбила!

Сначала его я хотел бы убить.
А после — его я хотел бы забыть.
А после — его я хотел бы любить.
Как мертвого любит могила.
А может быть, даже сильнее стократ.
Но вскоре уже наступает закат.

А дождь все шумит за венозным окном.
И можно утешиться только вином,
А может, ударом булата.
Все ждать, ожидать и опять ожидать,
И ждать, чтобы все повторилось опять.
Чтоб кончилось это когда-то.

Дон Кихот

Так за день устаю от битвы с ветряками
И от фантазии испанской,
Что к вечеру хочу в трактире с мужиками
Стать Санчо Пансой.
Смешной старик, худой, седоволосый,
Молчу. Кому нужна изысканная проза!
Молчу и слушаю. Но вдруг бледнею,
Когда заговорят про Дульцинею,
Про Дульцинею из Тобозо!

Что говорят о ней, о девке с сеновала!
Смешной гидальго, встань, ведь ночь не миновала,
Клюй до утра свое небесное зерно.
А утром вновь пойдешь войной на мнимых чудищ.
Но с Санчо Пансой воевать не будешь.
Да и ему с тобой сразиться не дано.

* * *

Ты подарила мне вину,
Как крепость старому вину.

Сперва меня давила в чане,
Как кахетинские крестьяне
Тугие грозди Алазани
Жмут, беспощадные к плодам.

Потом меня лишила плоти.
А кровь мою, что изопьете,
Я при застолье вам подам.

Страсть

В страстях, в которых нет таланта,
Заложено самоубийство
Или убийство. Страсти Данта
Равны ему. Растут ветвисто.

Страсть — вовсе не прообраз адюльтера.
В ней слепота соседствует с прозреньем,
С безмерностью — изысканная мера:
Слиянье Бога со своим твореньем.

В ней вожделенья нет. И плотью в ней не пахнет.
Есть страсть духовная. Все остальное — ложь.
И криворотый образ леди Макбет,
Которая под фартук прячет нож.

* * *

Вот в эту пору листопада,
Где ветра кислое вино,
Когда и лишних слез не надо —
В глазницах сада их полно,

Тебя умею пожалеть.
Понять умею. Но доныне
Никто не мог преодолеть
Твоей заботливой гордыни.

Ты и сама над ней не властна,
Как все не властны над судьбой.
А осень гибелью опасна.
И прямо в горло бьет прибой.

* * *

Соври, что любишь! Если ложь
Добра, то будь благословенна!
Неужто лучше ржавый нож
И перерезанная вена?

Да! Притворись! Мне правду знать
Невыносимо, невозможно.
Лелей неправды благодать,
Как в колыбели, осторожно.

45-я Гайдна

Исчерпан разговор. Осточертели речи.
Все ясно и наглядно.
Уходят наши дни и задувают свечи,
Как музыканты Гайдна.

Брать многого с собой я вовсе не хочу:
Платок, рубашка, бритва.
Хотел бы только взять последнюю свечу
С последнего пюпитра.

Когда свой приговор произнесу в ночи
Под завыванье ветра,
Быть может, отрезвлюсь, увидев, как свечи
Истаивает цедра.

* * *

Не для меня вдевают серьги в ушки
И в зеркало глядятся.
О милая, обмана не нарушьте,
Свершая святотатство!

Не для меня небрежна эта складка,
Блеск янтаря на шейке.
О милая! Так улыбайтесь сладко,
Цветите, хорошейте.

Я знаю все равно, что на излете
Сей тривиальной прозы,
Заплаканная вы ко мне придете.
Я поцелую слезы.

Я обниму вас с болью злобной ласки
И жалостной отрады.
И потечет размыв ресничной краски
На кровь губной помады.

Бабочка

Я тебя с ладони сдуну,
Чтоб не повредить пыльцу.
Улетай за эту дюну.
Лето близится к концу.

Над цветами по полянам,
Над стеною камыша
Поживи своим обманом,
Мятлик, бабочка, душа.

* * *

Ах, наверное, Анна Андревна,
Вы вовсе не правы.
Не из сора родятся стихи,
А из горькой отравы,
А из горькой и жгучей,
Которая корчит и травит.
И погубит.
И только травинку
Для строчки оставит.

Идиллия на потом

Рассчитаемся не мы — потомки
Порешат, кто прав, кто виноват.
Так давай оставим им потемки.
Пусть мой стих им будет темноват.

Пусть от нас останется легенда,
Россказни, почтовые лубки,
Бонбоньерка, выпускная лента,
Поздравительные голубки.

И еще — любительские снимки,
Где улыбчивы Она и Он,
Что, наверно, выжмут две слезинки
У красавиц будущих времен.

Пусть останется... А остальное
Поскорей пусть порастет быльем —
Все, что мы с тобою знаем двое.
Ночь. Тоска. И ветер за окном.

Реплика Данте

О, вы ее не знаете!
В ней есть
Умение обуздывать порывы.
И, следовательно, свобода воли.
Мы оба несчастливы,
Но откровенны.
Это можно нам зачесть
За счастье в каждом нашем разговоре.

Она меня не любит. Да и я
Люблю, быть может, лишь свое творенье.
Но часть его — она.
Когда душа моя отрешена,
Когда картину Ада видит зренье, —
Она со мной и целиком моя.

По улицам в толпе я прохожу ненастен,
Извозчичьих трактиров чуя чад.
На площади ее встречаю.
— Мастер,
Как спали вы?
— Я спал, мадонна, видел Ад.

Под утро

Так с тобой повязаны,
Что и в снах ночных
Видеть мы обязаны
Только нас двоих.

Не расстаться и во сне
Мы обречены,
Ибо мы с тобою не
Две величины.

И когда расстонется
За окном борей,
Я боюсь бессонницы
Не моей — твоей.

Думаешь. О чем, о ком?
И хоть здесь лежишь,
Все равно мне целиком
Не принадлежишь.

Я с твоими мыслями
Быть хочу во мгле.
Я хочу их выследить,
Как мосье Мегре.

А когда задышишь ты
Так, как те, кто спят,
Выхожу из пустоты
В сон, как в темный сад.

Тучи чуть светающи.
Месяц невесом.
Мысли лишь пугающи.
Сон есть только сон.

* * *

Действительно ли счастье — краткий миг
И суть его — несовершенство,
И правы ль мы, когда лобзаем лик
Минутного блаженства?

И где оно, мерило наших прав?..
О, жалкое мгновенье,
Когда пчела взлетает с вольных трав
И падает в варенье!

Нам суждено копить тяжелый мед,
И воск лепить, и строить соты.
Пусть счастья нет. Есть долгие заботы.
И этой жизни милый гнет.

* * *

Я вас измучил не разлукой — возвращеньем,
Тяжелой страстью и свинцовым мщеньем.
Пленен когда-то легкостью разлук,
Я их предпочитал, рубя узлы и сети.
Как трудно вновь учить азы наук
В забушевавшем университете!

Как длинны расстоянья расставаний!..
В тоске деревья... Но твоя рука.
И капор твой в дожде. И ночью ранней
Угрюмый стук дверного молотка...

Она

Неверие тому, что даже очевидно.
Мир полон призраков, как Лысая гора.
Ни пенье петуха, ни жаркая молитва
Не прогоняют их с утра и до утра.

Сгинь, наважденье, сгинь! Замкни страницы, книга,
Слепи между собой, чтоб их не перечесть!..

. . . . . .
Она томит, как ярость, злость и месть.
Она не чтит причин. Она равновелика,
Когда причины нет, когда причины есть.

* * *

Устал. Но все равно свербишь,
Настырный яд, наперекор хотеньям.
Как будто душу подгрызает мышь.
Душа живет под солнечным сплетеньем.

Казалось, что она парит везде
И незаметно нам ее передвиженье.
И почему теперь я знаю, где
Ее точнейшее расположенье?

И почему она
В иные времена
Как бы растворена в потоке ровной воли?
Как будто нет ее. И лишь в минуты боли
Я знаю: есть душа и где она.

* * *

Веселой радости общенья
Я был когда-то весь исполнен.
Оно подобно освещенью —
Включаем и о нем не помним.
Мой быт не требовал решений,
Он был поверх добра и зла...
А огненная лава отношений
Сжигает. Душит, как помпейская зола.

* * *

Как я завидую тому,
В ком чувство гордости сильнее
Обид. Кто может, каменея,
Как древний истукан глядеть во тьму.

Но сердце, подступивши к рубежу,
Окаменеть уже не может.
Его воображенье изничтожит...
Уже себе я не принадлежу.

Фантазия

Фантазия — болезнь причин и следствий,
Их раж, их беззаконный произвол.
И непоследовательность последствий.
Фантазия! Она — начало зол!

Фантазия — свержение с престола,
Разъятье мировых кругов и сфер.
Ее для нас придумал Люцифер.
Фантазия — слепая ярость пола,

Ломание рогов и рык самца.
Крушение систем и крах теорий.
Она — недостоверность всех историй
До гибельной нелепости свинца.

В ней странно то, что голубых красот
Нам не рисует кисть воображенья.
А только хаос, только разрушенье.
Ее не сыщешь в устроенье сот,

В идиллии пчелиных медосборов,
В мелодиях аркадских пастушков...
Несчастлив тот, кто испытал, каков
Ее неукротимый норов.

* * *

В меня ты бросишь грешные слова.
От них ты отречешься вскоре.
Но слово — нет! — не сорная трава,
Не палый лист на косогоре.

Как жалко мне тебя в минуты отреченья,
Когда любое слово — не твое.
И побеждает ум, а увлеченье
Отжато, как белье.

Прости меня за то, что я суров,
Что повторяюсь и бегу по кругу,
За справедливость всех несправедливых слов,
Кидаемых друг другу.

* * *

Ты скажи, чем тебя я могу одарить?
Ни свободой, ни силой, ни славой,
Не могу отпустить тебя жить и творить
И свой путь по земле невозбранно торить, —
Только горстью поэзии шалой.

Потому-то у нас перекресток пути,
Потому-то нам в разные страны идти,
Где мы оба недолго покружим.
Ты раздаривать будешь осенний букет,
Я — разбрасывать старости злой пустоцвет,
Что лишь мне самому только нужен.

* * *

Ты не добра.
Ко мне добра.
Ты не жестока.
Ты со мной жестока.
Хоть ты из моего ребра,
Но требуешь
За око
Око.

Я очи отдал.
Новая заря
Прольется на меня,
Как неживая.
Тогда себе найду поводыря.
И побредем мы,
Песни распевая.

* * *

Простите, милые, ведь вас я скоро брошу.
Не вынесет спина
Ту дьявольскую ношу,
Что мне подкинул сатана.

Но все равно я буду видеть вас
И ощущать отчизну.

Я просочусь, как газ,
Как облачко, повисну.

Но Бога не увижу — сатану
Среди кривляющихся ратей,
Когда, узрев тебя в жару чужих объятий,
Услышу вздох твой и, как буря, застону.

На рассвете

Почти светает. После объясненья,
Где все разъяснено,
Прозрачный воздух льется в помещенье
Сквозь тусклое окно.

Все фразы завершаем многоточьем...
Проснулись воробьи.
Залаял сонный пес.
И между прочим —
Признанье в нелюбви.

* * *

Жалость нежная пронзительней любви.
Состраданье в ней преобладает.
В лад другой душе душа страдает.
Себялюбье сходит с колеи.

Страсти, что недавно бушевали
И стремились все снести вокруг,
Утихают,
возвышаясь вдруг
До самоотверженной печали.

* * *

Я написал стихи о нелюбви.
И ты меня немедля разлюбила.
Неужто есть в стихах такая сила,
Что разгоняет в море корабли?

Неужто без руля и без ветрил
Мы будем врозь блуждать по морю ночью?
Не верь тому, что я наговорил,
И я тебе иное напророчу.

Финал

Любить, терзать, впадать в отчаянье,
Страдать от признака бесчестья
И принимать за окончание
Начала тайное предвестье.

Утратить волю, падать, каяться,
Решаться на самоубийство,
Играть ва-банк, как полагается
При одаренности артиста.

Но, перекраивая наново
Все театральные каноны,
Вдруг дать перед финалом занавес
И пасть в объятья Дездемоны.

Последний проход Беатриче

По окончанье этой грустной драмы
Пусть Беатриче снова просквозит.
Разъехались актеры. До утра мы
Одни. И нам не нужен реквизит.

Ах, реквизит не нужен. Только тени
Вещей, предметов, туч, деревьев, трав.
Я предпочту играть на голой сцене,
Всю нашу бутафорию убрав.

Я бы сыграл одни лишь наважденья.
Но вдруг услышу Беатриче шаг,
Когда она походкой Возрожденья
Минует зал и делает мне знак.

Уже от глаз моих бегут предметы,
И только слышатся ее шаги.
Ты — силуэт. Все вещи — силуэты.
Не вижу, Беатриче, помоги!

Не надо. У меня не хватит духа
На монолог — венец старинных драм.
Ступай. Уже мне яду влили в ухо.
А остальное доиграю сам.

Сыграю среди этой ахинеи
Деревья, травы, тучи и дожди...
Играть себя мне с каждым днем труднее.
Не нужно, Беатриче. Уходи.
1985

* * *

Б. З.

Конец системы самооправданья —
Начальный пункт самоуничтоженья.
Подобно это разрушенью зданья
От изверженья и землетрясенья.

Есть оправданье в самообвиненье:
К самим себе являемся с повинной;
Поэтому достойны снисхожденья.
Вот вам сюжет комедии старинной.
1985

* * *

Есть спор двух душ слиянных — о разъятье.
Спор двух неосторожных, жадных душ,
Спор о свободе, словно о проклятье, —
Двух душ слиянных, залетевших в глушь.

И оба мы живем под впечатленьем
Поэмы, не написанной пером.
То с просветлением, то с утомленьем
Поэмой этой дышим и живем.

В боренье том неистовом, но истом,
Слиянные навек, как два ручья,
Мы обращаемся к евангелистам:
Ведь верно — боль ценней небытия.
1985

ВЕЧЕРОМ

Мальчик играл в оловянных солдат,
Девочка куклу качала.
Этот тысячелетний обряд
Весь повторялся сначала.

Девочка спела свое: «Ай-люли»,
Мальчик заснул героем.
Ветки качались. По небу шли
Тучи сомкнутым строем.

Глаз не смежая, кукла спала.
И на ночном привале,
В кучу сбившись у края стола,
Стоя солдатики спали.
1985

* * *

Эре Сусловой

Не умирают беглые слова
И мимолетные переживанья,
А где-то тлеют в нас едва-едва —
И тайно происходит созреванье.

Все не случайно. И всему свой срок.
И, может быть, в назначенную пору
Подсказывает верный жест актеру
Или поэту вздох между двух строк.
1985

ОСЕНЬ

В деревьях некий шум таится,
Орут на пляже сотни чаек.
Весь день от скуки ум томится.
И это осень означает.

Как в плохо вымытом сосуде
Тускнеет солнце утром ранним,
И все вокруг — земля и люди
Охвачены недомоганьем.
1985

В общем, жизнь состоялась...

1986—1989

* * *

Уйти, раствориться в России,
Почувствовать радость ухода.
При этом пространство расширить —
Вселенная, космос, природа.

Все это услышать духовно,
Все это усвоить телесно —
Что пахнет, как свежие бревна,
Морозная, синяя бездна.

Пригубить такого настоя
Из хвои, созвездий и трав.
Вершить свое дело простое,
В России себя затеряв.
Не позднее 1986

* * *

Синяя поздняя осень
Между землею и небом.
Воздух остер и морозен.
Дни перед снегом.

Осень пространства и сини.
Холодно рекам.
Светлая осень России.
Дни перед снегом.
Не позднее 1986

* * *

Был год неустройства и слома.
Пустые вояжи.
Когда убегают из дома
Как вор из-под стражи.

И все же мы странные воры:
Сломали запоры,
Узлы увязали,
Ушли — и не взяли.
1986

* * *

Ну что за эхо! Миллионы раз
Оно всю землю облетело.
И вдруг душа душе отозвалась
Из недалекого предела.
Есть только «до» и «после». А «сейчас»
Лишь символ или знак водораздела.
Но все же больно рассекает нас.
1986

* * *

А иногда в туманном освещенье
Евангельский сюжет изображает клен —
Сиянье, золотое облаченье
И поворот лица, и головы наклон.

И, замерев, ты чувствуешь усладу
И с умиленьем ждешь своей судьбы.
И ждешь, чтоб месяц засветил лампаду,
Чтоб вознести молитвы и мольбы.
1986

КОРОЛЕВСКАЯ ШУТКА

— Вставайте, ваше величество!
— К черту! Который час?
— Вставайте, ваше величество.
Дело касается вас.

— Сам пусть дела решает
Старый лентяй сэр Джон!
— Ваш канцлер, ваше величество,
Этим кинжалом сражен!

— Как это? За убийство
Будете казнены...
— Но вы отреклись от престола
В пользу вашей жены!

Ваш канцлер не понял этого
И был сегодня смещен,
Смещен ударом кинжала.
И я за это прощен.

У нас уже новый канцлер:
Юный герцог сэр Грей...
— Этот юбочник — канцлер?
Эй, стража, ко мне скорей!

Эй, молодцы, за мною!
Бейте бунтовщиков!
— В ваших подвалах, сударь,
Для стражи хватило оков.

А те, на кого не хватило,
Валяются там, во рву!..
— Но я ваш король, сударь,
Покуда еще живу!

— Архиепископ и гвардия,
Народу подав пример,
В полночь уже присягнули
Вашей супруге, сэр!

Исполнить три ваших желанья —
Такой поступил приказ.
А с третьими петухами
Отправить к Господу вас!

— Как милостива королева!
Ее поблагодари.
Ведь я бы ее ухлопал,
Не дожидаясь зари.

Вели, чтоб стучались в двери
Таверны «Кум королю».
Будите красотку Мэри,
Которую я люблю.

Скажите, что некий пропойца,
Который был королем,
Просил, чтоб красотка Мэри
Прислуживала за столом.

Катите бочонок токайского,
Хочу умереть хмельной.
А вас за стол приглашаю,
Любезный убийца мой!

Второе мое желанье:
Острей наточите кинжал.
Тот недостоин короны,
Кто ее не удержал.

А третье мое желанье,
Чтобы к началу дня
Вы мадам королеву
Зарезали, а не меня!

Тут принесли токайское.
И долго, себя веселя,
Они хохотали над шуткой
Бывшего короля...

Над шуткою ко-
Над шуткою ро-
Ля!
А-а!
1985— 1986

* * *

Возвращаются как бумеранги
Через двадцать или сорок лет.
Те, кто были
Ведьма и ангел
Те, кто был,
Кого почти что нет.

Страшно видеть их.
Но слезы льются.
Ах, расстались!
И по чьей вине?
Ах, расставшиеся
Остаются.
И затем являются ко мне.
1986

* * *

Я наконец свободен.
Мне горько и светло.
Мне не нужна свобода,
Но рабство тяжело.

Мне наконец не надо
Дрожать за жизнь свою,
Ее несовершенство
Подобно бытию.

Мне наконец не нужно
Ни славы, ни любви.
Ни людно, ни оружно
Я не пойду в бои.

Я наконец-то беден.
Без друга и жены.
Но оттого победен,
Что все мне не нужны.

Мне это богохульство
Не следует прощать.
Но это поиск пульса
И возраста печать.

Теперь корпеть, стараться
Не нужно. Для чего
Мне это стихотворство
И это мастерство!

Мне ничего не надо.
Я просто сочиню
Поэтику разлада,
Не зная почему.
1986

ЛИРИКА

Лирика! «Я», обращенное к «Вам»?
Нет! Обращенное в ночь!
Лирика — осуществление драм,
Где никому не помочь.

Это не жалоба. Чистая кровь,
Что вытекает из жил.
Здесь, как беда, возвращается вновь
То, чем когда-то ты жил.

Это не песнь, не печальный мотив,
Пусть он безмерно высок...
А Маяковский, Ее проводив,
Пулю пускает в висок.
1986

* * *

Г. Е.

Не верь увереньям, наивный,
И, зрячий, ослепни скорей!
Избавься от дрожи противной,
И если стареешь — старей!

А если ты молод — будь молод,
Поверь и друзьям, и любви.
И если не будешь размолот,
То лучше с мое поживи.

Но из молодых, но не ранний,
Хочу, чтоб скорее постиг
Систему разочарований
И очарований моих.

Тогда, мой поэт и наследник,
Блюдя свою славу и честь,
Привыкни, что ты — из последних.
А вправду ли первые есть?
1986

ОТКРОВЕННОСТЬ

В признаньях невозможно без примет.
Порой бывает неправдиво слово,
Вопрос неверен, невпопад ответ.
Что ново в чувствах, то в словах не ново.
В признаньях часто пропадает суть.
Коль нету сокровенного чуть-чуть,
Неуловимого, но в нем основа
А так — забудь. Не говори. Забудь.
1986

* * *

Я задаю вопросы, на которые
Ответов как бы нет. Ищу в истории,
Усердно перекапываю были.
А может быть, тогда ответы были?
В те дни, когда вопросы математики
Решали палки, камешки и пальцы,
Ботанику в лугах учили мальчики,
Брехали географию скитальцы.
Неужто меньше знали тонкопряхи,
Боявшиеся водяных и леших,
И разве обоснованнее страхи
У нас, до самых до небес долезших?
1986

* * *

Добивайтесь, пожалуйста, смысла,
Проявляйте, пожалуйста, мысли.
Понимаете? все остальное
Не имеет большого значенья.

Что есть дерево? Лишь древесина?
Или, может быть, ветки и листья?
Понимаете ли, в чем причина
Разумения и бескорыстья?
1986

* * *

В крутокрышем пярнуском доме
Среди ветра, среди тумана
Мы живем, как в десятом томе
Нескончаемого романа.

Забываем его высоты
И пленительные пейзажи,
И пролистываем эпизоды,
И пробрасываем пейзажи.

Но и все же ты, мудрый Диккенс,
Сочинитель добрых легенд,
Говоришь нам: «Не торопитесь,
Дотяните до хеппи-энд.

А в искусстве скорости первые
Лучше всех других скоростей.
Персонажи второстепенные
Лучше третьестепенных гостей».

Ну а мы, на него досадуя,
Нарушаем его устав.
Через пятое, через десятое,
Жизнь бросаем, перелистав.
1986

* * *

Жить в новых условиях
Гораздо полезней, чем в старых —
Не преть в пустословиях,
Не злобствовать в сварах.

А жить в этом случае,
Как будто бы вылез из лужи:
Надеясь на лучшее,
Поскольку не может быть хуже.
1986

В ПЯРНУ

Когда-то, странный пилигрим,
А в общем, вечный домосед,
Сюда я прибыл.
Тонкий дым
Тумана и неверный свет.

Когда-то сухопутный гость,
Живу близ моря.
Тонкий дым
Тумана. И сухая ость
Прибрежных камышей. За ним —
Деревья парка, где темно
В тени. По зарослям густым
Гуляет ветер.
Тонкий дым
Тумана.
Все обнажено.
1986

* * *

В общем, жизнь состоялась,
Несмотря на все протори
И убытки,
На провалы и ярость,
На спиртные напитки.

В общем, жизнь состоялась,
Даже в городе чуждом и странном,
Несмотря на усталость,
При моем исступлении пьяном.

Друг, пора и в дорогу,
Вновь прильнуть и прижаться к России.
Так медведи в берлогу
Заползают в последнем усилье.
1986

* * *

Вот так и нужно жить всегда:
Прошедшим днем и днем вчерашним,
И днем грядущим.
Шабашникам ли бесшабашным
Познать усилие труда,
Где связан проволокой медной
Прошедший день с грядущим днем.
Меж ними гранью незаметной
Текущий день.
И дело в нем.
1986

EXEGI...

Воздвиг я...
Гораций

Если бы я мог из ста поэтов
Взять по одному стихотворенью
(Большего от нас не остается),
Вышел бы пронзительный поэт.

Тот поэт имел бы сто рождений,
Сто смертей (и даты от и до),
Было б сто любовных наваждений,
Ревностей и ненавистей сто.
Сто порывов стали бы единым!
Споров сто поэта с гражданином!
Был бы на сто бед один ответ.
Ах, какой бы стал поэт прекрасный
С лирой тихою и громогласной!
Был бы он такой, какого нет.

Он тому, что время возвещало,
В строках вещих нé дал бы истлеть.
И все то, что память возвращала,
Мог бы навсегда запечатлеть.

Гений роковых сороковых,
И пятидесятых полосатых,
И шестидесятых дрожжевых,
И загадочных семидесятых,
И восьмидесятых межевых!..

Не запятнан завистью и ложью,
Не произносящий слов пустых...
Почиталось бы за честь к подножью
Гения сложить свой лучший стих.

Памятник ему нерукотворный
Я воздвиг бы, и дорогой торной
Стала бы народная тропа.
А на нем я выбил бы слова:

«Да прославятся Кирилл, Мефодий,
Петр и Павел, и Борис и Глеб...
Монумент единому в ста лицах...
Знаменитому во всех столицах...»

Но, конечно, замысел нелеп.
1986

* * *

Слышно все. В соседней улице
Просквозила легковая.
Ветер с яблоней целуется
До зари, не уставая.

Фортка хлопнула. Калитка пискнула.
«Скорая» проквакала сиреной.
Слышно: с расстояния неблизкого —
Крякнул дуб под тяжестью вселенной.

Слышно: яблоко, достигнув спелости,
С ветки уронилось с мягким стуком.
Каждый звук здесь остается в целости,
Не соединяясь с прочим звуком.

Даже слово медлит на губах,
Чтоб не затеряться в разговоре.
Главное, что в пятистах шагах
Молча страсти сдерживает море.
1986

СМОТРИНЫ

...Его привел под локоть некий чин
На середину небольшого зала,
Где заседали несколько мужчин
И дама под вуалью восседала.

Он бледен был, обрюзг, нетверд в ногах.
Одет нечисто, несколько всклокочен.
Глаза косили. Слюни на губах.
И женщина произнесла: «Не очень!»

«Кто ты?» — его спросили. «Здешний принц».
«Как звать?» Молчанье. «Не знаток меморий», —
Блеснула женщина из-за ресниц.
«Ты знаешь, что тебя зовут Григорий!»

«Я здешний принц! — И дрогнула губа. —
И вы меня ни в чем не убедите!»
Он чувствовал: решается судьба.
Но женщина сказала: «Уведите!»

Ивана увели. «Такая чушь
Кому-нибудь из вас могла присниться,
Что подобает мне подобный муж?»
Все промолчали. И императрица.

«Но, впрочем, это не моя вина,
Что долг ему Россией не оплачен.
Убавить пищи. И лишить вина.
Он слишком толст и слишком неопрятен».
. . . . . .

Его везли от царства, от столиц,
От неожиданных фантасмагорий.
А он орал: «Я сей державы принц!»
Тут навалились: «Замолчи, Григорий!»

...Тогда в России были трех корон
Носители (при воцаренье новом):
Екатерина, Третий Петр и он,
Пожалуй, всех законней коронован.

Железными запястьями звеня,
Он все орал, пока его держали:
«Я бедный принц! Забыл, как звать меня!
Но я превыше принцев в сей державе!..»

. . . . . .
А Катерина, бывшая Софи,
Разделываясь с призраком былого,
Перед трюмо сгримасничала: «Фи!»
И приказала пригласить Орлова.

— К чему нам этот? — говорил Орлов, —
Россия сумасбродами богата.
Не зря на государственных орлов
В ней зарятся голодные орлята.

Один из этих треплет в кабаках —
Мирович, в нем сидит Мазепин корень, —
Что, дескать, был бы взвод в его руках...
Подумала: «И ты был так проворен».

— Но это мысль! Не трогать дурака.
Притворно верить всем его посулам.
И дать ему команду от полка.
И в Шлиссельбург назначить с караулом.

А если сей болван пойдет на вал,
То это совершенно безопасно.
Чуть суматоха — подавать сигнал
И действовать инструкции согласно...

. . . . . .
Он был убит... Но там, на рубеже,
Где сказочные море-окияны,
Неубиенные Петры, Иваны
Грозят короне, пусть они и «лже».
1986

БАЛЛАДА О КОНЦЕ СВЕТА

Из блокнота 1941 г.

Последний час сражалась рота.
И каждый к гибели привык.
Хорошая была работа,
Да мало виделось живых.

Стреляли изредка, с прищуром,
Оставшиеся храбрецы.
Засыпанные амбразуры
Обороняли мертвецы.

И приближалась грозно, внятно
Та неизбежная черта,
Где только под ноги гранату
С последним лозунгом: «За Ста...»

Но тут, врываясь в цепь событий,
Сквозь посвист пуль и минный вой,
Закаркал громкоговоритель
За вражеской передовой.

«Внимание! Бросайте ваффен!
Напрасно будет кровь пролит!
В пять сорок на участке нашем
В планету врежется болид.

Мы скоро будем тучей пыли —
И мы, и вы, кто бьется тут.
И нас не будет, всех, кто были.
Штык в землю, руссен! Всем капут!

Не призываем вас сдаваться.
И сами не идем к вам в плен.
Не призываем вас брататься,
Нас скоро побратает тлен.

Вниманье! По последней сводке
До катастрофы ровно час.
И если вы хотите водки,
Довольно шнапса есть у нас!»

И замолкает перестрелка.
И слышно, как течет вода.
И только у комроты стрелка
Неумолима, как всегда.

Но тут, придя в соображенье,
Героев собирает в круг,
О межпланетном положенье
Повестку ставит политрук.

Что, мол, ввиду поломки раций,
Ориентация туга.
Но я зову не поддаваться
На провокации врага...

И только лица побелели.
Цветной сигнал взлетел как плеть...
Когда себя не пожалели,
Планету нечего жалеть!
1946, 1986

ПЕСНЯ ЯСЕНЕВОГО ЛИСТКА

Жили на свете Лотта
И Гензель — лесной стрелок...
Куда ты летишь по ветру,
Ясеневый листок?

Лотта была женою
Вальдмана-лесника.
И часто певала песню
Ясеневого листка.

Лотта детей рожала,
Пекла, варила обед.
Тихо в лесной сторожке
Жили двенадцать лет.

Тринадцатый год, недобрый,
Взлетел к сверчку на шесток...
Куда ты летишь по ветру,
Ясеневый листок?

В тот год явился в сторожку
Гензель, лесной стрелок.
И пил он с Вальдманом пиво.
И Вальдман поспать прилег.

А Гензель шутил с Лоттой,
Рукою к себе привлек...
Куда ты летишь по ветру,
Ясеневый листок?

И Лотта его полюбила,
Своей любви не стыдясь,
Поскольку любила в жизни
Последний и первый раз.

И Вальдману повинилась.
И тот сказал: «Не виню».
— Спасибо, — сказала Лотта. —
Тебе я не изменю.

И вышел он в лес дремучий,
В предутреннюю полумглу.
И взял он свой лук певучий,
И верную взял стрелу.

И он подошел к поляне,
Где спал беспечный стрелок.
И лук натянул певучий,
Стрелу же послать не мог.

— Зачем причинять ей горе!
И чем я ему воздам? —
Пошел он в густой орешник,
Сказал зеленым кустам:

— В зеленые руки возьмите
Певучий мой лук и стрелу,

И сердце мое пробейте,
Чтоб я не доверился злу.

И выпустил верный орешник
Стрелу изостренную ту.
Но ворон, с ясеня прянув,
Ее подхватил на лету.

И внятно прокаркал ворон:
— Зазря себя не губи.
Ведь Лотта твоя умирает.
И скоро умрет от любви.

Пришел он домой. И Лотта
Сказала: «Прости, мой друг».
Он молча сидел у постели.
И дети стояли вокруг.

Потом в ее изголовье
Медовую свечку зажег...
Куда ты летишь по ветру,
Ясеневый листок?

А утром закрыв сторожку,
С детьми пошел на восток...
Куда ты летишь по ветру,
Ясеневый листок?

Так кончилась повесть про Лотту
И Вальдмана-лесника.
Лучше не пойте песню
Ясеневого листка.
1986

АНДАЛУЗСКАЯ БАЛЛАДА

Апельсиновая ветка
Апельсины уронила.
Черноокая Росита
Габриэля схоронила.
Как он мог быка прирезать,
Как умел водить медведя,
Как ходил в ночное дело!
Но его сгубила ведьма.
Ой, мандолина!
Пой, мандолина,
Пока так запоется,
Что струна оборвется!
По усопшему поминки
Были в ночь на новолунье.
Позвала вдова весь табор.
И сама пришла колдунья.
Невеселый это праздник.
Там без песен пили-ели.
Поминали, вспоминали
О красавце Габриэле.
Ой, мандолина!
Пой, мандолина,
Пока так запоется,
Что струна оборвется!
А потом Росита встала
В черной шали-покрывале
И сказала всем цыганам,
Так промолвила в печали —
Не по-божески сказала,
Не по дедовским обрядам:
«Если нету Габриэля,
Пусть весь табор ляжет рядом!»

Ой, мандолина!
Пой, мандолина,
Пока так запоется,
Что струна оборвется!
Тут-то ведьма и вскочила:
— Вы послушайте, цыгане!
Чтобы весь наш род извелся —
Вот Роситино желанье.
А чтоб нынче не свершилось
То злодейское заклятье,
Нечестивицу Роситу
Пусть клинком заколют братья!
Ой, мандолина!
Пой, мандолина,
Пока так запоется,
Что струна оборвется!
Но заколебались братья.
А сестра вдовы кинжалом
Десять раз пробила сердце
Под шелкóвым покрывалом.
Словно все окаменели.
Но раздался смех бесстыжий.
То красавица колдунья
Вознеслась вороной рыжей...
Ой, мандолина!
Пой, мандолина,
Пока так запоется,
Что струна оборвется!
Если женщина полюбит,
А мужчина не полюбит,
То она в порыве злобы
Самого его погубит;

Если женщина полюбит,
А любимою не стала,
Пожелает в диком горе,
Чтобы вся земля пропала.
Ой, мандолина!
Пой, мандолина,
Пока так запоется,
Что струна оборвется!..
1986

ПРИТЧА О СЫНОВЬЯХ УЦЫ

Ехал король на охоту,
Встретил цыганку Уцу.
Сразу в нее влюбился.
Вскоре на ней женился.

И принесла ему Уца
Четырех цыганят кучерявых.
Утром, едва проснутся,
Время проводят в забавах:
Лазают по заборам,
Рвут дорогие платья.
Словно для знатных принцев
Нет другого занятья.

Помер король. Оставил
Детям четыре царства.
Стали они королями.
Тут и пошли меняться
Замками и городами.
Город — на кобылицу
Мавританской породы;

Замок, леса и воды —
На заморскую птицу.

Часто они съезжались.
Тогда вынимали скрипки.
Долго играли на скрипках,
Покуда не уставали.
А когда уставали,
Тут же и засыпали.
И даже во сне пели.
А в безлунные ночи
Ходили в соседние страны.
И табуны угоняли.

Но возмутились бароны:
«Что это за государи?
Зачем играют на скрипках?
Зачем поют при гитаре?»

И собрались бароны,
Пришли в королевский замок,
Где не было обороны,
И королей убили.

Потом заперлись бароны
С прелатами в тронном зале.
И короля выбирали.
Долго его выбирали,
Между собой препирались,
Но выбрали государя.

Тот не играл на скрипках,
Только правил и правил.
Он половину баронов
На эшафот отправил,

А остальные бароны
Радовались и похвалялись
Тем, что в живых остались.
А внуков Уцы прогнали
Обратно в цыганский табор.
И стали ее внуки
Цыганскими королями.

Они на скрипках играют.
Они поют при гитарах.
На старых гадальных картах
Есть их изображенье.
1986

КАБАРЕТНАЯ БАЛЛАДА

Жил-был король Гильом Второй
И мирно правил он.
И всем, кто кланялся ему,
Он отдавал поклон.
Но в королевстве — трам-тарам! —
Суровый был закон:
    Чтоб каждый не в свое не лез.
    Иначе дураку,
    Который не в свое полез,
    Оттяпают башку.
Пахали пахари его,
Погонщик гнал осла,
И дева милая одна
Ягненочка пасла.
И музыкантша там была,
Прелестная Мими,
Она играла — трам-тарам! —
На флейте до-ре-ми.

Зачем же им в чужое лезть,
В дела не по плечу
И ради этого башку
Подставить палачу?
Король уехал отдыхать.
Остался у руля
Его сиятельный маркиз
Картон де Труляля.
И он нарушил — трам-тарам! —
Законы короля.
И каждый не в свое полез
Порядку вопреки,
Поскольку страх у всех исчез
Остаться без башки.
Пошли портные воевать,
Жандармы — петь в церквах,
А мукомолы — суд вершить,
Воссев на жерновах.
Вручили звание посла
Погонщику осла.
Мими маркизу Труляля
Ребенка принесла.
Одна лишь дева — трам-тарам! —
Ягненочка пасла.
Так каждый не в свое полез,
В дела не по плечу.
Стать воспитателем детей
Осталось палачу.
Пока отсутствовал король,
Сбесилась вся печать.
И цензор начал сочинять,
Редактор — запрещать,
А сочинитель в цирк пошел
И так смешил народ,

Что мог наверняка попасть
В опасный оборот.
Но в королевстве — трам-тарам —
Все шло наоборот:
Того, кто не в свое полез,
Все чтили, как божка.
И возносилась до небес
Дурацкая башка.
Пришел из отпуска король.
И увидал король,
Что каждый подданный его
Не ту играет роль.
Башмачник пел, судья латал,
Хорист ковал металл,
Писатель в цирке гоготал,
Палач детей питал.
Но вмешиваться — трам-тарам! —
Король в сие не стал.
Поскольку не в свое полезть
Не пожелал король.
Он сел с девицей на осла
И поскакал в Тироль.
Адье, мадам, адье, мосье!
В Тироль! В Тироль!

1986

* * *

Трудней всего выздоровленье памяти.
Спрошу: — Ты помнишь? Скажешь: — Нет причины.
Увижу камедь — я леплю из камеди.
Увижу глину — я леплю из глины.

И лепится какая-то нелепица,
Какие-то уродцы, карлы, мимы,
А память, может, вовсе и не лечится.
Пути Господни неисповедимы!
1986

* * *

Отводя березовые сучья
И минуя елок череду,
Вспоминаю, что не выпал случай
Побывать весной у нас в саду.

Поглядеть на елочки укропа,
Тронуть пальцем розовый редис,
Постоять тихонько, как у гроба,
Там, где туи строгий обелиск.

Нет! Не это! Погляжу в окошко.
Гляну, занавеску приоткрыв.
Хорошо, что на столе картошка.
И обед накрыт на четверых.

Вот мой дом и вот мои начала,
Из еще не сданных крепостей.
И винца б, пожалуй, не мешало.
И совсем не хочется гостей.
1986

* * *

Овсяночки, малиновки, щеглы,
Клесты, кукушки, иволги, синицы.
На рассвете так они щедры,
Что нельзя не присоединиться.

Хочется защелкать, засвистать,
Повторить мотив певучей птахи.
Или с палочкой за пультом встать,
Как бывало некогда при Бахе.

Но, пожалуй, из таких затей
Только гений извлечет немало.
Без шестнадцатых и четвертей
Он услышит главный тон хорала.

Это могут Моцарт или Бах —
Всею стаей в нотный стан нагрянуть,
Рассадить на всех линейках птах,
Встать за пульт, взмахнуть смычком — и грянуть.

Гений прост, когда часов с пяти
Птицы скопом распевают в чаще.
Вслушаться, понять, что это — счастье,
И свободно воспроизвести.
1986

ПОЭТИКА

В поэзии — старение реалий.
Но нет старенья страсти и печалей,
Метафоры стареют и язык,
Но не бессонница во мраке нощи.

Стареет рифма. Ну а если крик
Придет на рифму, то рифмуй попроще.

Поэтику пора бы отменить.
Она — пустейшее из всех занятий.
Но где тогда связующая нить,
Преемственность стремлений и понятий?

Как быть с поэтикой? Один верлибр —
Сторонник разлохмаченной кудели:
С суровой нитью больше канители
И страстотерпцам легче без вериг.
1986

ОБ АНТОЛОГИЯХ

Не люблю антологий,
где Дедка за Репку.
А вернее, треть Дедки, Полбабки, часть Внучки.
И особенно много за Внучкою Жучки.
(А могли б обойтись без беременной сучки.)
Не хватает лишь Мышки,
А у Мышки — мыслишки,
А порой и рифмишки бывают у Мышки.
Но стихи ее в свет выпускаются редко.
Оттого и ни с места проклятая Репка.
1986

* * *

Меня ты не отпустишь. Осторожно
Введешь меня в Харонову ладью.
И мы тогда поймем, как невозможно
Сказать: «Постой. Не уходи. Люблю».

Но перевозчик строго, отрешенно
Нас будет ждать, нетороплив и тих,
Покуда я из той ладьи Харона
Благословлю на жизнь детей моих.

И лодочник опустит весла плавно,
Вокруг сомкнется черная вода.
Прости-прощай, княгиня Ярославна,
Твой Игорь не вернется никогда!

Так омочи в реке рукав бобровый,
Омой свои шелкóвые крыла!
Увидишь тень ладьи во мгле лиловой.
Тогда поймешь, что молодость прошла.
1986

К ПЕРЕДОВОЙ

Заснул я во втором часу,
Когда вечернюю росу
Пьют совы на кустах.
Счастливый, я заснул в лесу
С улыбкой на устах.

Я спал, как может спать солдат —
Под головой мешок.
И надо мною звездопад,
А подо мной песок.

Так только в молодости спят
Любимцы всех богов.
Так только может спать солдат:
Есть долг, но нет долгов.

И дома нет. А есть один
Мешок под головой.
И сам себе я господин —
Вблизи передовой.

И в этот час, когда я сплю,
Открытый небесам,
Во сне кого-то я люблю,
Кого — не знаю сам.

И письма я во сне пишу,
Чтобы не запропасть.
А завтра утром поспешу
Из лазарета в часть.

Там старшина еще живой
Окажет мне почет.
Кивнет приветно головой
И отошлет в расчет.
1986

ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА

Бой вспоминается потом.
В тылу. На госпитальной койке.
Ночами часто будит стон
Тяжелораненого Кольки.

Прокручивается кино
На простыне, как на экране.
Обстрел. Команда заодно
С обрывком энергичной брани.

Все возвращается — деталь,
Неподходящая экрану,
Как комсомольский секретарь
Кишки запихивает в рану...

Азарт. Бросок. «Стреляй же, бля!»
«Ура!» звучащее не густо.
Нет, это не годится для
Документального искусства.

Но утренний приход сестриц
Пригоден для кинокартины,
Особенно насчет ресниц
Сестрицы Вали-Валентины.

Ее не тронь! Словцом хотя б!
И не допустят матерщины
Не больно верящие в баб
Гвардейцы Вали-Валентины.

О ней возможен разговор
Возвышенный, почти стихами.
Тяжелораненый сапер
О ней во сне скрипит зубами.

А этот госпитальный быт!
О чем еще мечтать пехоте!
Лежишь на чистой койке. Сыт.
И вроде с Родиной в расчете.

Да, было. А теперь печет:
Иные раны, карантины.
И с Родиной иной расчет.
И нету Вали-Валентины.
1986

ЛЕЧЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЕМ

Под утро закричал петух.
В окно вошел здоровый дух
Березы и еловой хвои.
Их было больше вдвое, втрое,
Чем могут легкие и слух
Вместить: дыханье ветровое,
Болото, братний лес и луг.
Шатаясь, словно с перепоя,
Я встал. И — в бочку головою —
Весь погрузился в этот круг
Небес, где важно, как воздух,
Носили облако льняное.

Я вспомнил, что люблю пейзаж
И климат, а не микроклимат,
Где все дозировано: пляж,
Три дерева и сто былинок.
А здесь дышал огромный климат
Где воздух в мощном небе вымок
От Астраханей до Дудинок,
И тучи брал на абордаж.
Все это подсолил Балхаш,
Вдул в ледняки Кавказский кряж,
Где льда и солнца поединок.

Потом открыл врата гараж
И выпустил большое стадо
Свирепых зубров марки «МАЗ».
И всю округу рев потряс,
И замычала автострада
Совсем недалеко от нас.
И встало солнце — волопас.

Я понял, что на этот раз
Я у себя. И не рассада
Смиренно пахла у оград.
Дышал огромный вертоград
Мазута, воздуха и чада.
Простор вселенной был продутым
Смолою, воздухом, мазутом,
Крахмальной свежестью палат.

Всего хватало вдвое, втрое
Для вздоха, дыха, для гобоя,
Для очистительных рулад,
Так мощно заглушивших хрипы,
Все кашли, ларингиты, гриппы,

Уколы вежливых сестер,
Рентгены и кардиограммы.
Я чуть не выпрыгнул из рамы.
Дышал. Меня лечил простор.
1986

ВЕЛЕС

Какая прелесть майский лес,
Не озабоченный и не усталый!
Как будто скотий бог Велес
Играет там на дудке малой.

Его выкармливает солнце.
И не внушают времена
Жестокости иконоборца.
«Живу! Живу! Не тронь меня!»
1986

«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ»

Стояли они у картины:
Саврасов. «Грачи прилетели».
Там было простое, родное.
Никак уходить не хотели.

Случайно разговорились,
Поскольку случилась причина.
— Саврасов. «Грачи прилетели» —
Хорошая это картина.

Мужчина был плохо одетый.
Видать, одинокий. Из пьющих.
Она — из не больно красивых
И личного счастья не ждущих.

Ее проводил он до дома.
На улице было морозно.
Она бы его пригласила,
Но в комнате хаос и поздно.

Он сам напросился к ней в гости
Во вторник на чашечку чая.
— У нас с вами общие вкусы
В картинах, как я замечаю.

Два дня она драила, терла
Свой угол для скромного пира.
Пошла, на последние деньги
Сиреневый тортик купила.

Под вечер осталось одеться,
А также открытку повесить —
«Грачи прилетели». Оделась.
Семь, восемь. И девять. И десять.

Семь, восемь, и девять, и десять.
Поглядывала из-за шторки.
Всплакнула. И полюбовалась
Коричневой розой на торте.

Себя она не пожалела.
А про неудавшийся ужин
Подумала: «Бедненький тортик,
Ведь вот никому ты не нужен.

Наверно, забыл. Или занят...
Известное дело — мужчина...
А все же “Грачи прилетели”
Хорошая очень картина».
1986

* * *

Не надо срезанных тюльпанов!
Пускай цветы растут на клумбах,
Не увядая в дымных клубах
Среди поваленных чуланов.

Пускай слезою драгоценной
Роса украсит их в тени.
И луковичкою подземной
Пусть будут заняты они.

А так — что остается, кроме
Подобья хлипкого ствола.
И лепестки, как сгустки темной крови,
Сметают утром со стола.
1986

М. КОЗАКОВУ

Что полуправда? — Ложь!
Но ты не путай
Часть правды с ложью.
Ибо эта часть
Нам всем в потемках не дает пропасть —
Она ночной фонарик незадутый.

Полухарактер — ложный поводырь.
Он до конца ведет дурной дорогой.
Характер скажет так с мученьем и тревогой:
«Я дальше не иду! перед тобою ширь.
И сам по ней ступай. Нужна отвага,
Чтобы дойти до блага. Но смотри:
За правды часть и за частицу блага
Не осуди, а возблагодари!»

Ах, грань тонка! На том горим!
Часть... честь... «Не это» путается с «этим».
Порой фонарик правды не заметим,
За полуправду возблагодарим.

А наши покаянья стоят грош.
И осуждения — не выход.
Что ж делать?
Не взыскуя выгод,
Судить себя. В себе.
Не пропадешь.

1986

* * *

Разговаривает ветер
С майской рощей.
Разговаривает роща
С майским солнцем.
Разговаривает солнце
С майской тучей.

Разговаривает туча
С майским небом.
Разговаривает небо
С майской речкой.

Разговаривают небо, солнце, речка,
Разговаривают тучи, ветры, рощи,
Исцеляюсь, зачарован этой речью.
Но догадываюсь: жизнь не станет проще.
1986

* * *

Лечи меня, Время, скорее
И выбей из горла комок,
Ведь ты, говорят, помогаешь
Там, где бы никто не помог.

Лечи меня, Время, от блажи
И от наваждений лечи.
Лети, мое Время! И даже
Скорее, чем надо, лети!

Закуй меня в легкие звенья,
Неси меня дальше и в высь,
Поскольку не будет мгновенья,
Которое «остановись»!

А будут такие, что мимо
Скорей бы промчались в пути.
Бессонно и неутомимо
Лети, мое Время, лети!
1986

* * *

Мать ушла. И тонкий полог
Вдруг исчез.
Надо мною звездный холод
В семь небес.

Небеса бездонны эти —
Синь и жуть.
Нас, как рыбу, манит в сети
Млечный Путь.

И теперь иные ночи
Начались.
Ведь твои слепые очи
Смотрят вниз.
1986

* * *

Вино, стихи — утеха,
А без таких утех
Не надо мне успеха.
А честолюбье — грех.

Грешил и я, младенец,
Мечтал и я, малец,
Что Муза мне наденет
Лавровый свой венец.

Теперь прошу от Музы
Не этого венца,
А чтоб остались узы
Печали до конца.

И чтобы в той печали,
Как сквозь осенний дым,
Меня не отличали
От всех, кто ей томим.
1986

* * *

Птичка маленькая пела
На серебряном рассвете
Так осмысленно и грустно,
Как озябшая душа.

Солнце встало. Смолкла птичка.
Прянул ветер. Одуванчик
Просушил свою головку
И беспечно разлетелся.
1986

Д О Ж Д Ь

Дождь всего исцеловал, исплакал,
Заболтал, заговорил взахлеб,
Лил ливмя, струился, падал, капал.
Я не шел, а по теченью греб.

Этот ливень, пахнувший покосом,
Обнимавший душу существа,
Неужели мог быть смертоносен?
А земля? А листья? А трава?
1986

ПОЛЫНЬ-ЗВЕЗДА

Вновь Родина открылась мне одна,
Когда не хвалят или негодуют...
Полынь-звезда. И бездна нам видна.
И час преображенья неминуем.

Полынь-звезда! И мы пойдем ко дну,
И вот уже нельзя бряцать оружьем.
А мы забыли долг или вину
И бескорыстно Родине не служим!

Полынь-звезда! Затмится скоро свет.
И мир погибнет весь во льду безмерном.
С Отчизною противоречий нет,
Как не было когда-то, в сорок первом.

Полынь-звезда!.. Себя не пожалей.
Что стоит человеческая шкура!
Уже пора среди своих полей
Не сеять ложь!
Угомонись, цензура!

Звезда-полынь!.. Мы перед вечным льдом!..
Заткнись, цензура! Не касайся сути!
Вы, Избранные, помните о том,
Неизбранные — о себе забудьте.

Тщеславные — ничтожен ваш успех,
Корыстолюбцы — жалки все корысти.
Звезда-полынь! И лед ползет на всех.
Себя душою к Родине приблизьте!

Полынь-звезда взошла! Ее восход
Сулит оледененье наших топей...
Очнись, народ! И оглянись, народ!
Добычи нет для наших стрел и копий...
1986

ТРИ НАБРОСКА

1. Конец XVIII

Язык, еще необработан,
Пленяет мощным разворотом
Звучаний, форм и ударений.
В нем высь державинских парений.
С державной лирою Державин
Еще стоит.
Но мы дерзаем
Усвоить речь Карамзина.
И пробует Жуковский лиру.
И муза тяжкую порфиру
Снимает — и обнажена.
Крылов, привыкший к барским креслам,
Лукаво бьет ее по чреслам.
За шторами сентиментальных спален
Цветут романсы с запахом левкоев.
И заполночь не медлит Пален
У государевых покоев.

2. Конец XIX

Безвременье. Отдых души. Девяностые годы.
В подпольных кружках горячо обсуждают
программы.
Осенние листья ложатся на голые воды.
И на десять лет отодвинуты жгучие драмы.

Поэзия стала цыганской и кафешантанной.
И кажется вялой. Словесный сугроб не подтаял.
Печалится Чехов. Но проза душевных шатаний
Не вяжется как-то с гармошкой фабричных окраин.

Но тайные сути глядят сквозь неясные бреды.
Искусство готовит себя — и отнюдь не для рынка.
И Победоносцев уже не стяжает победы.
Престранное время грядет, где Толстой и Ходынка.

3. Маяковский отмаячил

И Маяковский отмаячил.
И отлетал «Летатлин».
Стал футуристский зверояще
Отыгранным спектаклем.

И Пастернак отпастерначил,
Оттвардовал Твардовский.
И Мелкий бес кривляться начал
В своей игре бесовской.

Он напустил гиеннской серы,
Он ввел закон кулачный.
И свищет муза птичкой серой
На веточке невзрачной.

1980—1986

ВОЗНЕСЕНИЕ АУГУСТА ЛИМА

Местная быль

I

Люблю легенды. В них разбег
И краткость. (Ибо я не стайер.)
Пишу, покуда снег не стаял.
Но очень скоро стает снег.
Пишу сугробам. Но люблю,
Чтобы растаяли сугробы,
Чтоб потекли, осели, чтобы
Служили пополненью рек.

II

Вот так же думал Аугуст Лим.
(Но не ручаюсь, что об этом,
Поскольку не был он поэтом,
А просто — нелюбитель зим.)
Он жил в приморском городке,
В домишке чистом и прелестном.
И слыл философом известным.
Сейчас я познакомлю с ним.

III

Мужчина. Лет за пятьдесят.
Он за столом работал редко:
Три слова, изредка — заметка.
А там его тянуло в сад.
Он наблюдал, как рос редис
Или подобное растенье.
С восторгом он встречал цветенье
И с неохотой — листопад.

IV

Амалья-Гамадрилла Фюнф
Жила у Лима экономкой.
Была девицею негромкой,
Зато достоинств — целый фунт.
Не буду я касаться здесь
О них неблаговидных сплетен.
Философ был великолепен,
Но перед ней стоял во фрунт.

V

Я даже кратко излагать
Его учения не стану,
Поскольку много в нем туману:
Идея, что Природа — мать,
Но неизвестно, кто отец.
Ну и так далее. Не страшно
Прослыть профанами. Нам важно
Лишь то, что Лим любил гулять.

VI

Да! Я ведь начал про снега,
Но, отвлекаясь, их оставил.
А снег тем временем растаял.
И отделились берега
От моря. По большой воде
Бежали легкие буруны.
По вечерам сияли дюны,
Как лысина без парика.

VII

Лим вышел прогуляться. Он
В плаще легко шагал по дюнам.
Но вдруг весенний ветер дунул
И охватил со всех сторон.

И загремел весенний шторм.
Забушевала Мать-Природа,
Как часто в это время года.
Лим в этот грохот был влюблен.

VIII

От волн неслась морская пыль,
Волненье затопило пляжи,
Распространяясь ввысь и вширь.
Деревья закричали в раже.
Бесстрашный Лим, закутан в плащ,
Стоял среди морского гула.
Но вдруг порывом плащ раздуло —
И он взлетел, как нетопырь.

IX

Превыше всех высоких крон
Его взнесло одним ударом.
По воле ветра став Икаром,
Он мчал, врезаясь в небосклон.
Стал воздух бледен, как сукно.
В груди дыхание спирало.
Вокруг гремело и орало:
На город Лима нес циклон.

X

Стемнело. Город стал глухим.
Шторм, разрастаясь, бил по крышам.
Как бы влеком порывом высшим,
Летел философ Аугуст Лим.
В его душе восторг и страх,
Вблизи шарахаются тучи.
Шторм, разъяренный и могучий,
Свеж, молод и неумолим.

XI

От притяжения земли
Совсем освободилось тело.
Оно, блаженствуя, летело,
Как парусные корабли.
Внизу десяток огоньков
Мерцал в пространстве нелюдимом,
Порою тучами, как дымом,
Прикрытый.
Ветры вознесли

XII

Философа. И он решил,
Что это знак его величья.
Мелькнула мимо стая птичья,
Почти лишившаяся сил.
Его же призывал Зевес,
Чтоб воспарил ширококрыло.
Что там Амалья-Гамадрилла
Тому, кто от небес вкусил!

XIII

И было страшно глянуть вниз,
Где все расплылось и погасло.
Стихии, плотные, как масло,
Его держали. И лились,
Куда неведомо. Летун
Был акробатом в диком цирке...
Но вдруг задел за флюгер кирхи —
Задел за флюгер и повис.

XIV

И сразу прохватила дрожь:
Ведь можно на землю свалиться!
Вот и летай теперь как птица...
Клянусь, что этот факт не ложь.
Ну что ж, коль этот факт не ложь?
Лишь для пустого очевидца
Любая правда пригодится,
Хотя в ней смысла ни на грош.

XV

Я правдою по горло сыт.
А перед смыслом ум пасует.
Пусть тот, кого интересует,
О смысле сам сообразит.
И разберется что к чему.
Мне это не необходимо.
Итак, мы отвлеклись от Лима.
Что с ним? Пока еще висит.

XVI

Висел он, как пиратский флаг.
И слабо вопиял: «Амалья,
Спаси меня!» Ведь знал, каналья,
Что дело не оставят так.
И впрямь, его пошли искать.
И обнаружили на шпиле,
Воздели руки, возопили:
«Вот до чего довел кабак!»

XVII

Наутро люди собрались.
Смеялись, гикали, орали,
С недоумением взирали,
Как Лим над городом повис.
Пожарный прискакал обоз.
И, наконец, беднягу сняли...
А все же, как насчет морали?
Возможно так: не возносись!

XVIII

Да что мораль!
Пришла весна,
Повеял с моря ветер вешний,
В его дыханье каждый грешный
Пьянеет, словно от вина,
И можно даже вознестись,
А хочешь — повисеть на шпиле...
Ужасно надоели штили
И благостная тишина!
1980—1986

* * *

Не кажется ли, что наивней
Я был всего лишь год назад,
Когда в громаду поздних ливней
Вошел огромный листопад.

И с ним каких-то чувств громада.
И с ним растерянность, дабы
Рождалось чувство листопада,
Как оголение судьбы.
1980—1986

* * *

День выплывает из-за острова
И очищается от мрака
С задумчивостью Заболоцкого,
С естественностью Пастернака,

Когда их поздняя поэзия
Была дневной, а не вечерней,
Хотя болезнь точила лезвия
И на пути хватало терний.
1980—1986

ЛАБОРАТОРИЯ ПОЭТА

Лаборатория поэта —
Его черновики.
На них есть верная замета
Его души, его руки.

Священнодействует над темой,
Колдует над своей
Периодической системой
Любвей и нелюбвей.

Здесь строят из веществ строптивых
Состав, который загремит,
Воспитывая в тайных взрывах
Изобретенный динамит.

Здесь тот подвал или мансарда,
Где мыслят не по пустяку,
Чтоб под карету Александра
Метнуть взрывча́тую строку.
1986

ВЕСОМАЯ ОСЕНЬ

Облаков паросский камень
Придавил собою даль.
А внизу, под облаками,
Моря медленная сталь.

Тяжелее рыжей меди
Кроны плотные дубов.
Вороны на парапете
Слышат барки бычий рев.

И после дождя ночного
Желобов железный хор.
Капли падают свинцово,
Словно литеры в набор.

Осень, как металл, весома
И, как камень, тяжела.
Только времени солома
Так легко горит дотла.
1986

БЕГСТВО ТОЛСТОГО

Стремление к уходу
Куда-то в непогоду,
Зачем-то и к кому-то,
От дома и уюта.

От глаза, от истерик
Куда-нибудь податься,
Не помня о потерях,
Хоть на летейский берег.

Стремление к вагону,
Где терпкий дух овчины,
Где медленно и сонно
Смолят махру мужчины.

Стремление от пруда,
От дома, от усадьбы.
Ах, убежав оттуда,
На лавке полежать бы.

Чтобы тебя продуло
До смертной пневмонии
Среди людского гула
Дыхание России.

И на ветрах российских
Расстаться с белым светом.
И никого из близких
Не призывать при этом.

Уйти на полустанке,
Где ночью осень стонет.
Пускай потом останки
Как надо похоронят.
1986

* * *

Рученьки мои устали,
Ноженьки мои устали,
Голова моя устала,
Сердце ноет от печали.

Песенка моя забылась,
Лесенка моя сломалась,
Душенька моя замерзла,
Сам не знаю, что осталось.
1986

М А Ш А

Маша, женщина из Подмосковья,
В странного художника влюбилась.
Он все лето жил у них в сарае
И писал окрестные пейзажи.
А потом он написал Марию.
«Господи! Неужто я такая!»
А зимой Мария постучалась
В помещенье, где творил художник.
И Мария у него осталась.
А потом он написал картину:
Женщина с зелеными глазами
В синем платье, только что надетом.
«Господи! Ведь он меня не любит!»
И Мария возвратилась к мужу.
Он ее любил. И только спьяну
За измену упрекал не часто.
Стал художник скоро знаменитым.
Он писал похожие портреты
Академиков и генералов.
Стал богат. А два портрета продал.
Маша, женщина из Подмосковья,
Как-то раз случайно прочитала,
Что открылась выставка в музее.

И она стояла у портрета.
Но ее при этом не узнали.
А ее портрет был самый лучший.
«Господи! Ведь я была такая!»
1986

КОЛОРИТ

Рябины легкое вино.
И синий звук. И желтый отзвук.
И все во всем отражено.
И все объединяет воздух.

И словно бы несовместимы
Сиена и ультрамарин.
Но где-то в глубине картины
Цвет слабой синькой растворим.

Не для того изобразила
Природа образец холста,
Чтоб ляпал на него мазила
Несовместимые цвета.

Она зовет не к подражанью,
Создав воздушную среду,
А к озаренному дерзанью
И кропотливому труду.

И тут уж осень золотая
Легонько постучит в окно,
Колебля воздух и глотая
Рябины легкое вино.
1986

ДВА ГОЛОСА

Первый
Когда ты восстанешь из мертвых,
Какие ты скажешь слова?
Второй
Нет, я не восстану из мертвых,
Душа моя будет мертва.
Первый
Когда ты вернешься на землю,
Ты снова полюбишь ее.
Второй
Нет, я не хочу возвращаться
В убогое тело мое.
Первый
Да что тебе бренное тело!
Ты явишь божественный лик.
Второй
Но как же я буду без тела?
Ведь я без него не привык.
Первый
Когда ты восстанешь из мертвых,
Себя от себя отреши.
Второй
Но нужно ли мне воскресенье
Одной бестелесной души?..
1986

* * *

Что-то вдруг забыл о том, что юным
Был когда-то. И погряз и сник.
В свою старость я ушел по дюнам,
Где приморский шелестит тростник.

Но однажды, позабыв про беды
И про этой жизни мелкоту,
Вспомню про величие Победы
И свою Победу обрету.
1986

* * *

А вот и старость подошла
На цыпочках. Глаза прикрыла
Мои ладонями. Спросила:
— Кто я? — Не мог я угадать.
Она сказала:
— Я могила.

Она была так молода,
Что вовсе страшной не казалась.
Она беспечно улыбалась.
Переспросил:
— Ты старость?
— Да.
Не позднее 1987

У ПЕЧКИ

В печи березу жрет огонь,
И пес глядит не отрываясь,
Как пламя злится, извиваясь.
А я к теплу тяну ладонь.

Увы! Романтика печей
Не привлекает москвичей!

А здесь — поленья прогорят,
Польется жаркий теплопад
Наружу из багровой топки.
Тогда заслонку затвори,
Закрой трубу. И воспари,
Разгорячившись, как от стопки.

В саду мороз острей стекла.
Но автономия тепла
Понятней прочих автономий.
При ней и проще, и знакомей
Понятия добра и зла.
1987

* * *

Владеть всем тем, чем нам дано,
Чем человек богат и чуток!
Не опускаться до того,
Чтобы руководил рассудок!

А отдаваться тем, земным,
Слепым, глухим и безрассудным
Желаньям — тем, что мы храним
Наперекор понятьям скудным, —

Любви, сочувствию, слезам,
Прощенью, отвращенью к крови.
Все это, относясь к азам,
Естественно в своей основе.
1987

* * *

Остановись, прогресс! Замри!
Земля, останови вращенье!
Пусть в нашем небе будут две зари
И вечный день в их освещенье!

Не мчитесь, самолеты!
Не отходите, поезда!
Не уходите в плаванье, суда!
Пусть будет, как всегда!

Не лейся, сталь!
Не опускайся, молот!
Пусть будет лишь тепло, не приближайся,
холод!

Дай время нам одуматься!
Тогда
Засветит в полдень алая звезда.
И не междоусобная вражда —
Самоспасение расстелет полог.
1987

* * *

Лунным светом город залит,
Голубеют скаты крыш.
Снова космос зубоскалит.
Неподвижность. Холод. Тишь.

Нам в лицо смеется космос
И опять
Дает понять,
Что стихии смертоносность
Невозможно нам унять.

Дымных звезд роятся клубы.
Бледный месяц щурит глаз.
Снова космос скалит зубы.
Есть ли кто-то кроме нас?
1987

* * *

Тщеславье — грех. И может быть большой.
Оно себя блюдет неутомимо.
И совершая подвиги с гнильцой,
За то награды требует у мира.

А подвиги не требуют наград.
Им Времена определяют цену.
А мы едим незрелый виноград
И с браги бурных дней глотаем пену...
1987

ХЛЕБНИКОВ

Не думал про стихосложенье,
Как это было в том веку,
Когда боролись за княженье
И пелось «Слово о полку».

Он что-то вспомнил так правдиво
Из темного праязыка,
Что месяц в небе всем на диво
Преобразился в рог быка.

Сородич мифов быкорогих,
Он солнце брал за удила,
И шел от шалашей убогих
Бить Прометеева орла.

Он с соколом Бояна бился,
Чтоб лебедей его сберечь...
И так он жил. А к нам явился
Произнести и умереть.
1987

* * *

Когда бы спел я, наконец,
Нежнейшее четверостишье,
Как иногда поет скворец
Весною в утреннем затишье!

Про что? Да как вам объясню?
Все так нелепо в разговоре.
Ну, предположим, про весну,
Про вас, про облако, про море.
1987

* * *

Уставший от утрат,
Живу теперь натужно.
И новому не рад,
И старого не нужно.

Я чувствую провал
В осуществленье счастья.
Когда-то целовал,
Когда-то обольщался.

Доверчив, как щенок,
Без жизненной науки,
Вилял хвостом у ног,
Лизал в восторге руки.

И на своем горбу,
Не зная, не внимая,
Я нес свою судьбу,
Ее не понимая.

Да не дано мне знать
Судьбу или натуру.
Но рук чужих лизать
Уже не стану сдуру.
1987

* * *

Напиши мне, богомаз,
«Утоли моя печали».
Не на день и не на час
Утоли мои печали.
Словом уст и светом глаз

Утоли мои печали,
Утоли мои печали.
1987

* * *

Поверить новым временам
Не так легко при ста обманах.
И впрямь, нужна ли правда нам
В разоблачительных романах?

И нужно ли разоблачать
То, что давно уже знакомо:
Умение не замечать
Попранье права и закона?

И неужели в том открытье,
Что мы должны во все поры
Правдиво освещать событья,
А там пусть хоть в тартарары?!
1987

* * *

Навсегда с тобой расстанусь,
Навсегда.
Нарастающая старость —
Не беда.
Не твоя беда, не наша,
А моя.
Предо мной пустая чаша
Бытия.
1987

* * *

Жить так: без жалоб и обид
На мир, который нас не любит.
И лишь велит, а не сулит,
И недовольно брови супит.

Ну а за что любить-то нас?
За что нас мир любить обязан?
Что дал ему наш жадный разум?
Мы отбираем, не чинясь.

Съедаем море, реки, лес,
Вонючий воздух выдыхаем.
Съедаем синеву небес,
Земную зелень пожираем.
Враждуем меж собой. И без
Самоубийства умираем.
1987

ВАРИАЦИЯ

Э. В. Сусловой

Мы пишем запоздалые эскизы
К картине, что давно уже готова.
Поэты, и актеры, и актрисы,
Мы кисти окунаем в краску слова.

Этюды много лучше той картины,
Которую заляпывают будни,
Где многовато хлама и рутины,
К тому ж они любой молве подсудны.

Но своевольное воображенье,
Подобное нелепице и бреду,
Случившееся с нами пораженье
Готово вдруг преобразить в победу.

Покуда не иссякло, не устало.
Оно перелицует зиму в лето,
Чтоб «мог бы полюбить Вас» означало
«Как я любил!..» И вдруг поверить в это!
1987

* * *

Трудна России демократия,
Не тем, что мнений разнобой,
А тем, что возмечтала шатия
Вести Россию за собой.

Ложь убедительнее истины
Для тех, кто ждет, разинув рот.
О том, что те пути убийственны,
Узнаем после. В свой черед.
1987

ПЕРЕВОДЧИК

Я, как контрабандист запретные товары,
Перевожу стихи, стихи переводя,
Редакторских застав минуя окуляры
И псов цензуры в раж не приводя.

Перевожу стихи — пьянительный напиток.
Пора бы на него ввести сухой закон!
Перевожу стихи, бывает, с трех попыток.
И комом все блины. И в горле тоже ком.

Но перейден рубеж. Но будем осторожны.
Не торопись строку записывать в тетрадь!
Хотя и знаешь сам, что не страшны таможни,
И то, что в нас — они не могут отобрать.
1987

* * *

Э. С.

Несовпадения в пространстве
Мы не заметим. Просто мимо
Пройдем рассеянны, бесстрастны,
Рассеемся, как струйки дыма.

Несовпадение во времени —
Тоска о том, чему не сбыться.
Бессмысленное озарение
Томящегося ясновидца.
1987

ОРКЕСТР

Дирижер — рукотворец музыки,
Пишущий ее палочкой в воздухе.
Скрипачи — прядильщики мелодий.
Виолончелисты — вышивальщики нот,

Пальцем поддевающие толстую нить.
Контрабасисты — пильщики басов.
Флейтисты — выдуватели легких пузырьков звука,
Объедающие флейту, как початок кукурузы.
Трубачи — выдыхатели ритмов,
Лаокооны геликонов — выращиватели напевов
В медных вазах.
Литаврист — шеф-повар мягких громов.
Арфистка — кормилица лебедей в серебряной клетке.
Барабанщик — раскатыватель звонких горошин.

И все они играют мысль о том,
Что неслучайно и невременно
Мы пребываем в мировом пространстве,

А если кому-то так кажется,
Спроси:
А музыка?
1987

ЛИНИЯ

В толпе, где прямо не пройдешь
И где нельзя стоять разинею,
Нужна невидимая линия
Сквозь сутолоку и галдеж.
Она спасает от уныния,
Прорезывая, словно нож,
Хмельные здравицы триклиния
И злые выкрики святош.
1987

* * *

Смысл истории, значенье лиц,
Может быть, нам растолкует гений,
Нас убережет от небылиц
И замусоренных представлений.

Может быть, как это было встарь,
Люди снова приобщатся к тайне.
В небе звезды вспыхнут, как янтарь.
В них прочтем судеб предначертанье.

Не по звездам ли пора прочесть
То, что философии неясно?
И принять судьбу, какая есть,
Не противоборствуя напрасно.
1987

* * *

З. Гердту

Артист совсем не то же, что актер.
Артист живет без всякого актерства.
Он тот, кто, принимая приговор,
Винится лишь перед судом потомства.

Толмач времен, расплющен об экран,
Он переводит верно, но в итоге
Совсем не то, что возвестил тиран,
А что ему набормотали боги.
1987

* * *

Старость. Сколько протяну,
Неизвестно никому.
Осязаю тишину,
Стало лучше одному.

Стало лучше, лучше. Луч
не померк.
Пробивает полог туч
И летит куда-то вверх.

Прожигает, словно воск,
Времена наград и кар.
И уходит в область звезд —
Словно в стекловидный шар.
1987

* * *

Игра со временем — не с нашим и не с прошлым,
А с тем, гудящим во вселенских парусах,
Простительна лишь маленьким.
А взрослым
Внушает отвращение и страх.

И оттого-то мы не спим ночами,
Когда ясней, что время смещено.
И давим время, как в давильном чане,
Чтоб в голову ударило оно.
1987

* * *

Слепого мальчика ведет собака.
Она внимательна и осторожна.
Научена переходить дорогу.
Ведет подростка к магазину «Хлеб».
Подросток чист и хорошо одет...
Поэт! Вообрази, что ты ослеп!
Что за тебя собака ищет след!
Что у тебя, поэт, собачье зренье!
Перечитай свое стихотворенье.
Перечитай!
Потом меня прости.
Ведь я и сам уже ослеп почти.
А я ведь сам уже почти оглох.
Поводырем мне станет Кабысдох.
1987

СТАРЫЙ ЦИРК

1. После представления

Фонари погасли под шатром.
Разошлись зеваки. А потом

В клетках звери тощие грустят,
Вечный рупь канючит акробат.

В номерах циркачка с циркачом
Хлещут чай, болтая ни о чем.

Фокусник Петров (Али-Баба)
В пух продулся — значит, не судьба.

С кавалером, помня про канат,
Пьет канатоходка лимонад.

Думает в постели казначей,
Как бы облапошить циркачей.

А под мокрым тентом шапито
Слышен чей-то слабый шепот. То

Ангел цирка с детской головой
Бродит над ареной цирковой.

2. Бим и Бом

Бом увел жену у Бима.
Ненавидит Бома Бим.
Как она была любима!
Он недавно был любим.

На манеже град пощечин
Отпускает Биму Бом.
Их союз казался прочен,
А теперь столкнулись лбом.

На манеже град пощечин
Отпускает Бому Бим...
Почему-то мы хохочем
И над тем и над другим.

3. Лев в неволе

Они не знают, что царя зверей
Дрессировать не удается.
Я просто знаю, что они сильней
И что в них мало благородства.

Ее мне жалко. Так она слаба,
Так неумна, так лицемерна,
Что может только быть рабынею раба.
И пахнет от нее прескверно.

А я молчу. А надо, так рычу
И публику пугаю басом.
Но огорчать бедняжку не хочу.
Она меня к тому же кормит мясом.

Его я презираю. Пистолет
Он прячет от меня под мышкой.
Он трус и неврастеник, в тридцать лет
Страдающий одышкой.

Ему башку я мог бы размозжить
Своей тяжелой лапой.
Но не хочу. И оставляю жить
На радость этой, слабой.

А публика! Я знаю, что играть
Льва перед ней почти что подло.
Но как еще жалеть и презирать
На нас глазеющее кодло?..
1987

Д О Ж Д Ь

Дождь пахнет мокрой собакой.
Угрюмо горят фонари.
Сперва говорили: «Не вякай!»
Теперь говорят: «Говори!»

А что я поведаю ливню?
Чем стану его унимать?
И чем вообще осчастливлю
Всех тех, кто способен внимать?

Пристойно ли в роли всезнайки,
Оратора и свистуна
Рассказывать темные байки,
Скрывая, что грош им цена?

А буйствовать — это дешевка,
Но дорого станет. Таков
Удел одурманенных ловко
Беспамятных боевиков.

И что в этих ливнях повальных
Сказать, кроме слова «прости»,
От всяких сентенций банальных
Стараясь себя упасти?

Такою вот всячиной всякой
Терзаешь себя до зари...
Дождь пахнет мокрой собакой.
Угрюмо горят фонари.
1987

* * *

Всего с собой не унесешь.
Останутся на этом свете
Стихи, бессонница, галдеж,
Друзья, возлюбленные, дети.

Останутся в твоем дому
Какие-то дела и вещи.
Живем мы вместе.
Уходим мы по одному.

1987

* * *

А. Н.

Начать с себя. Не ждать, покуда
В слезах покается злодей.
Мы не парадная посуда,
Что выставляют для гостей.

Не надо выходить на паперть,
Рвать с воем вороты рубах.
А надо разом сдернуть скатерть,
Не пожалев о черепках.

Все это выкинуть на свалку —
Страх, недоверье и корысть,
Не ввязываясь в перепалку
С тем, для кого копейка — жисть.

А, обобрав репей приставший,
Очистить волю и судьбу,
Чтоб отвечал за нас не старший,
Не в пядях о семи во лбу.

Без фанфаронства самохвала,
Без злобы и впаденья в раж, —
А надо начинать с начала:
Хоть с азбуки и с «Отче наш».
1987

СОПРОТИВЛЕНЬЕ

Так наступает нелюбовь.

Сопротивляется все тело,
Все содержание души,
Устройство плоти и скелета,
И даже — Господи спаси! —
Глаза, не видящие света.
Сопротивляется мечта,
Сопротивляется безверье,
Сопротивляются уста,
Печаль, безумство и веселье.
Сопротивляется перо,
Сопротивляется бумага,
Сопротивляется нутро,
Сопротивляется присяга.
Сопротивляется рука,
Вся в ярости неукротимой,
Напруженная, как река,
Пересеченная плотиной...

И все ж, не в силах побороть,
Смиряются душа и плоть.
Между 1987 и 1989

ПАМФЛЕТ

Б. Окуджаве

Публицист Сыгоняев,
Критикесса Слепцова
Написали памфлет
Про поэта Купцова.

Дескать, можно и нужно
По многим резонам
Стихотворца сего
Считать фармазоном.

Фармазон, фармазонище,
Страхолюдина злая,
Нечто обло, озорно,
Стозевно и лаяй.

Так пугали друг друга
И страх нагнетали...
А Купцов в это время
Играл на гитаре.

Не знавал публициста,
Не ходил к критикессе.
А играл на гитаре
О поле и лесе.

И о том, как созвездья
Бледнеют к рассвету.
А они свой памфлет
Отвозили в газету.

Он играл про влюбленных,
Прильнувших друг к другу,
Про коней вороных
И про белую вьюгу,

И про мальвы в саду
На ночном полустанке...
А они в это время
Правили гранки.

И с устатку вином
Прочищали гортани...
А Купцов все играл
И играл на гитаре.
Не позднее 1988

ПЕРЕМЕННАЯ ПОГОДА

Ветры быстры. Тучи сизы.
И внезапны переходы
Настроенья. И капризы
Переменчивой погоды.

Утром солнце из-за леса
Светит. К ночи с небосвода
Дождь колотит о железо.
Переменная погода!

Как в воде с лимонной солью
Пенная щепотка соды,
Закипает все раздолье
Переменчивой погоды.

И, подобная гуляке,
Не спешит считать расхода
Солнца, ветра, листьев, влаги
Переменная погода.

На смиренье и бунтарстве
Не стоит уж слишком твердо...
Поглядим, что будет дальше:
Или ливень, или ведро.
Не позднее 1988

ЗАПОВЕДЬ

Скажи себе: «Не укради!»
И от соблазна отойди.

Себе промолви: «Не обидь!»
И не обидишь, может быть.

И «Не убий!» — себе скажи,
И нож подальше отложи.

А там уж «Возлюби!» воспой.
А не возлюбишь, Бог с тобой.

Коль не украл и не убил,
Неважно, что не возлюбил.
Не позднее 1988

АЛЬФОНСАСУ МАЛДОНИСУ

Дай тебя переведу
За руку, поэт мой милый,
Через эту немоту,
Через эту пустоту
По непрочному мосту,
По одной досо́чке хилой.

Не гляди по сторонам
И не надо торопиться,
Чтобы нам не оступиться,
Чтоб ничем не поступиться
Из того, что нужно нам.

Пастухи или послы,
По мостку, что, как качели,
Оперся о две скалы —
Перейдем... Мы уцелели.
Но гляди, как поседели
Оба мы, покуда шли!
Не позднее 1988

ТРИ ОТРЫВКА

1

«Кара! Кара!» — крикнул ворон.
«Кайся!» — прозвенел топор.
Это осень всем просторам
Наш вчерашний разговор
Повторила.
Значит, где-то
Надо воспроизвести
Исповедь интеллигента
Кающегося... Прости!

2

Странно мне, что с приближеньем смерти
Я о ней не думаю при свете
Дня. Но если не заснул,
Чую под щекой дрожанье рельса,
Холод голой стали и экспресса
Приближающийся гул.

3

Вот что доступно только гениям:
Обдать нас, как волной и пеной,
Захватывающим движением
Реальности обыкновенной.

А если уж потребна исповедь,
То следует Экклезиаста,
Не обинуясь, перелистывать.
Однако иногда.
Не часто.

Не позднее 1988

* * *

В январе дождь ливмя
Льет и льет.
Сохранит ли меня
Новый год?

Сохранят ли меня
Времена,
Упасут ли меня
От меня?

1988

* * *

И страшны деревенские проселки,
Где в темных избах варят самогон,
И воют черносотенные волки,
Сбиваясь в стаи на кровавый гон.

Чтобы времен бескровных стать предтечей,
Ты должен, помолясь, служитель муз,
Связать в одно узлы противоречий
И на себя взвалить сей тяжкий груз.
1988

* * *

К Маяковскому возвращаться?
Или дальше идти — до Блока?
До погибели докричаться
Или домолчаться до Срока?

Снова гнать историю плетью?
(Ох и резвая это кляча!)
Провожать ли тысячелетье,
Размышляя, ликуя, плача?

Подводить ли сейчас итоги?
Или повременить с итогом?
Надо остановиться в дороге.
Отдышаться. А там уж — с Богом!
1988

* * *

В памяти угасла строчка,
Как падучая звезда.
В памяти моей непрочной
Не оставила следа.

Ни следа от той, летучей,
Строчки, что легко забыть,
Строчки на какой-то случай,
Пустяковый, может быть.

Пустяковый, может статься,
Чуть нарушивший покой,
Но никак нельзя расстаться,
Вспомнить хочется — какой?
1988

* * *

От византийской мощи
Остался только прах
Или святые мощи
В глуши, в монастырях.

О мощи византийской
Остался только слух,
А на земле российской
Ее державный дух.

Пусть наша завируха
Безумствует, чтоб впредь
Российской мощью духа
Дух мощи одолеть.
1988

* * *

То, что от меня пошло,
Так при мне останется.
Ну а что ко мне пришло,
От меня отвалится...
Как грешить не тяжело,
Тяжелее каяться.
1988

* * *

Вспоминай про звезды неба,
Потому что звезды неба
Упасают от набега
Половца и печенега.

Потому что в жизни вздорной,
Часто празднующей труса,
Поднимают до Нагорной
Проповеди Иисуса.

Потому что в их чертоге
Без вражды и без тревоги
Обитают полубоги,
Рыбы, псы и козероги.

Потому что различимый
Привкус тайны в их настое.
Потому что нет причины
Отвлекаться на пустое.
1988

* * *

Не время ли, чтоб полюбовно
Сходиться у одной черты
В сознанье правоты любого
И собственной неправоты?

Не время ли пройти по лугу,
По сенокосу, по траве,
Доверчиво держась за руку,
Где нож таится в рукаве?..
1987— 1988

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Поэма

И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами...
Ф. Тютчев

...И вот он вышел из вагона
На этой станции. Светало.
Состав ушел. Пристанционно
Пахнуло запахом металла.
И вдруг огрело, словно плетью:
Тоска и жажда возвращенья,
У давнего десятилетья
Себе не вымолив прощенья.
И все же он сошел с платформы,
Прошел вдоль станционных зданий,
И сразу осени просторной
Его окутал воздух ранний.

Есть философия ухода.
Ее основы непростые
Закладывает в нас природа
И разъясняют Львы Толстые.
Уход от косяка, от стада
Оленя, чтобы в глухомани
Реки отрадная прохлада
Вошла в последнее дыханье.
Побег от пруда, от истерик,
От дьявола или от Бога
К реке, где невозможен берег,
К реке Железная дорога.
От устоявшегося быта,
Из надоевшего чертога
И от разбитого корыта —
К реке Железная дорога.
Она течет, река стальная,
И мощных поездов громада
Несется, нам напоминая
Огромный грохот водопада.
Плывут по встречным двум теченьям,
Стремясь к покою или к бурям,
От Приазовья к Припечерьям,
От Приднестровий к Приамурьям.
Несет старуху, Растиньяка,
Командировочного, йога,
Студента, дурака, маньяка
Река Железная дорога.
Несет до отбыванья срока,
Подобием соленых рыбин,
Несчастных, втиснутых в «столыпин»,
Река Железная дорога.

Она грохочет неустанно
К черте последнего итога.
И вот уж захлебнулась Анна
В реке Железная дорога.
Захватывает всех подвластных
И увлекает с силой рока,
И сбрасывает в рвы под насыпь
Река Железная дорога...

...Он издавна болел сюжетом
Про женщину и про солдата,
Что, словно пуля рикошетом,
Его судьбу задел когда-то.
...Итак, он вышел из вагона,
Прошел вдоль станционных зданий,
И огляделся изумленно
На улице пустой и ранней.
На улице, что пролегала
Как раз от этого вокзала
Близ городского стадиона.
И вот что было очень странно —
Все те же самые бараки
Располагались в полумраке
Вокруг усохшего фонтана.
Два раза не вступают в реки,
Как верно отмечали греки.
Но это было наважденье:
Здесь ничего не изменилось,
И возле угловой аптеки
Все то же дерево клонилось,
Почти готовое к паденью.

И вот что перед ним предстало
И еще больше поразило:

Она тихонько подходила
Вдоль деревянного настила,
Хоть только-только рассветало.
Она совсем не изменилась,
А времени прошло немало.
Она ничуть не удивилась
И сразу же его узнала.
— Я знала, что ты возвратишься, —
Спокойным голосом сказала.

Она стояла в том же платье
Задумчиво и отрешенно,
Как в миг последнего объятья
Перед отправкой эшелона.

Вошли все в ту же комнатенку —
По коридору слева третью, —
Где ничего не изменилось
За долгие десятилетья.
Все той же чистотой дышало
И было лишь продолговатей
Отражено в мерцанье шара
Никелированной кровати.

— Ну как ты жил? — она спросила.
— Да как и все. Семья, работа...
А ты?
— Воспитывала сына.
— Одна?
— Одна.
Он где?
— На фото.

И он увидел в окруженье
Фигур, заснятых темновато,

Знакомое изображенье
Двадцатилетнего солдата.
— Он весь в тебя, — она сказала.
— Так что ж ты мне не написала?
— Ты сам уже писал мне редко,
А вскорости и вовсе бросил...
(От станции со свистом ветра
Состав вгромыхивался в осень.)

В окошке утро прозревало.
Но были странные провалы
Во времени и изложенье.
И свет был в комнате неясный,
Как будто чуждый, непричастный
К их нынешнему положенью.

— Так как ты жил? —
Ответить: «Худо»?
Но это мало означало.
И он не понимал, откуда
Начать — с конца или с начала?

Что мог он изложить ей, кроме
Отрывочных соображений
О мире, родине и доме
Без неизбежных искажений?
Всегда находятся мотивы,
Чтоб исповедь и покаянье
Откладывать, покуда живы,
И доверять могильной яме.
Как мог он ринуться в бездонность —
И опрометчиво, и слепо, —
Когда вся наша неготовность
Так явственна и так нелепа!

А надо бы начать о том, как
Когда-то, где-то черт нас дернул
Существовать ради потомков
И стать самим землей и дерном.
И как случилось — неизвестно,
Что страшный век нам зренье сузил,
Что исполнители и жертвы
Переплелись в единый узел?
Молчанье, может быть, не частность
(Однако в приближенье грубом)
И может означать причастность,
Равняя жертву с душегубом...

...Вот именно под тем напором
Проблем и трудности решений
Он в этот день влетел на скором
На станцию порой осенней,
Схватив с собою что попало,
Оставив дома остальное...
И здесь ответить надлежало
Ему за бытие двойное.
Но обнаружились смещенья —
Осенний образ перехода:
В уходе ноты возвращенья
И в возвращенье тень ухода.
И что-то стало в нем мутиться,
Была какая-то нелепость
В том, что «уйти» и «возвратиться»
Слились в единую потребность.
И охватила жажда бегства,
Внезапный приступ ностальгии
По цельности, и по России,
И по Москве эпохи детства.

Не по большой и суматошной,
А по Садово-Самотечной,
По старой, по позавчерашней,
Со стройной Сухаревой башней.

Москва тогда была Москвою —
Домашним теплым караваем,
Где был ему ломоть отвален
Между Мещанской и Тверскою.
Еще в домах топили печи,
Еще полно было московской
Роскошной акающей речи
На Трифоновской и Сущевской.
Купались купола в проточной
Заре. Ковался молоточный
Копытный стук, далёко слышный,
На Александровской булыжной.
А там, под облаком лебяжьим,
Где две ладьи Крестовских башен,
Посвистывали, пар сминая,
Виндавская и Окружная,
Откатываясь от Крестовской
К Савеловской и Брест-Литовской.
А Трубный пахнул огуречным
Рассолом и рогожей с сельдью
И подмосковным просторечьем
Шумел над привозною снедью.
Там молоко лилось из крынок,
Сияло яблочное царство,
И, как с переводных картинок,
Смотрелось важно и цветасто.
А озорство ватаги школьной!
А этот в сумерках морозных
Пар из ноздрей коней обозных!
А голуби над колокольней!

А бублики торговки частной!
А Чаплин около «Экрана»!
А легковых сигнал нечастый!
А грузовик завода АМО!
А петухи! А с вечной «Машей»
Хрип патефона на балконе!
А переливы подгулявшей
Марьинорощинской гармони!
А эта обозримость мира!
А это обаянье слога!..
Москва, которую размыла
Река Железная дорога.
— Но как ты жил? — опять спросила.
В ее глазах была тревога
...И вновь гудком проголосила
Вблизи железная дорога.
...Он вдруг очнулся в кабинете
Над незакрытым чемоданом.
И давнее десятилетье
Тускнело в воздухе туманном.
Жена спала в соседней спальне.
Сын, возвратившись со свиданья,
На кухне шарил по кастрюлям.
В окне располагались зданья,
Подобные уснувшим ульям.

...Тогда он дернул дверь балкона,
Как открывают дверь вагона,
И вышел в мир микрорайона
Опустошенно и устало,
Не задержавшись у порога...

И вновь вблизи прогрохотала
Река Железная дорога.
1986— 1988

* * *

Памяти Ф. Ю. Зигеля

Вот еще один ушел
В даль, откуда нет возврата.
Серебристый снег лежит.
Каркнул ворон. Как в трехстишье
По-японски. Я один.
Дерево бежит с холма.
Мимо неподвижной речки
Протекают берега.

Не хватает мне коня,
Чтобы с ним вести беседу,
Потому что здесь все меньше
Разумеющих меня.
Я бы с ним поговорил
На серебряном наречье
Про призванье человечье,
Про игру вселенских сил.
Мне здесь жить не надоело,
Но у Господа для тела
Я бессмертья не просил.
1988

ПЕСОК

Когда ты станешь мной, а я тобой,
Нас будет ублажать один прибой.

Он будет гладить нас, стирая след
Минувших празднеств и минувших бед.

И обливать нас гнилью нефтяной,
Чтобы смешать тебя со мной.
1988

* * *

Не имею желания
Возводить на крови
Фестиваль покаяния
И декаду любви.

Все решится со временем
И не так-то легко
Всенародным прозрением...
До него далеко.
1988 или 1989

* * *

Кто ответит, как нам быть?
Если жалуется поле,
Если стоном стонет лес,
А река, как раб в неволе,
Молит милости небес?

Кто ответит, как нам быть?
1989

ПРОБУЖДЕНИЕ

Протер глаза. В окне светало.
Роса сходила, чуть дымя.
На испарение кристалла
Похоже прозреванье дня.

Окно наводится на резкость
Не сразу. Ведь туман в кустах.
Гляжу: в порядке ли окрестность
И все ли на своих местах.

Иль ночью, в пору перетрясок
И непонятных нам затей
Произошло смешенье красок
Или смещенье плоскостей.

Все, кажется, в порядке. Кроме
Художника, что под окном,
Растрепан, как гнездо воронье,
Безумствует над полотном.
1989

* * *

Январь в слезах, февраль в дожде. Как усмотреть,
Что будет так: январь в слезах, февраль в дожде.
А если утром из окошка поглядеть,
Не угадать — когда живешь, когда и где.

Как разобраться нам в невнятице такой —
Январь в слезах, февраль в дожде. Престранный год.
Уж не нарушился ли (как у нас с тобой)
На веки вечные времен круговорот.
1989

ПОГОВОРИМ О ДРЯНИ

Дрянь не лезет в стих.
Стих не лезет в дрянь.
Слышишь — ветер стих,
Видишь — в поле рань.

Вслушайся в зарю.
Соберись, встань.
Я и говорю:
В стих не лезет дрянь.

Скажут мне:
— Эстет!
Ты — от сих до сих...
Я отвечу: — Нет.
В дрянь не лезет стих.
1989

* * *

Покаяньям публичным не верится.
Лучше бы промолчать, утаить.
Как заветную веточку вереска,
Как во тьме Ариаднину нить.

Нынче нужно с собою по строгости
Говорить, а не так, как тогда —
Помнишь? — при отупении совести.
Ой, какая случилась беда!

Горе скоро свое не размыкаю,
Но отвечу, уйдя в тишину,
За свою, за твою, за великую,
За неявную нашу вину.
1989

* * *

Остренький листок — как свечка,
Огонечек к новоселью.
Мы уже узнали нечто
Страшное про нашу землю.

Дымы, мощные, как кроны,
В небесах сомкнулись дружно.
Для погибели-то, кроме
Дымов, ничего не нужно...
1989

* * *

Жизнь родины и жизнь души
Должны быть нераздельны. Время
Подсказывает: не спеши
Ни с выводами, ни с твореньем.
1989

* * *

Простое величье я видел однажды
В Ахматовой Анне Андревне.
Не шли вереницей слоны магараджи,
Победные стяги не реяли.

Но в той комнатенке, в той маленькой келье,
В пристанище дружеском, подле нас —
Ее остроумие, голос и чтенье
Стихов и особая подлинность.

В ней было простое величье природы,
Дыхание высокогорное.
В ней было явленье особой породы,
Естественное, непритворное.

И как ни ласкали нас, ни привечали,
Вдруг явствовало перед лицами
С плеча ниспаданье ахматовской шали,
Описанное очевидцами.
1989

ТРАДИЦИОННЫЙ СТИХ

Стих из девятнадцатого века
С небольшой присадкой современности —
От ее прерывистого бега.
Диссонансов и несоразмерности.

В остальном похоже. Но не слишком
Обольщайтесь внешнею похожестью.
Это хитрость, связанная с риском
Быть понятным всякому убожеству.

Но его читатель знает цену
Сюртукам, что он кряхтя натягивал
На себя. Ведь, выходя на сцену,
По одежке ножки не протягивал.
1989

АНАХОРЕТ

В его каморке запах книжной пыли,
И окна здесь давным-давно не мыли.
Не любит он уборки. Пусть лежит
Все, как лежало. А после уборки
Не сыщешь ничего в его каморке
И все уже не так, как надлежит.
Одеяло солдатское, рваное.
Лампа тает в табачном дыму.
И какая-то женщина странная
После службы приходит к нему.
Ее внешность в глаза не бросается,
Не по моде ее гардероб.
А вглядишься получше — красавица:
Рот, глаза, ослепительный лоб.

Он с нею ласков, но не фамильярен.
И хлебосолен, словно русский барин:
Он режет на газете колбасу.
Советует ей прочитать два тома.
И провожает под руку до дома
На Сретенку — в двенадцатом часу.
И когда затихают троллейбусы,
Засыпают дворы и дома,
Она плачет от этой нелепости,
Негодует и сходит с ума.

Почти освобожденный, по Садовой
Уходит он в свой мир полубредовый,
Направив в свой приют свои стопы.
И если слышит: сзади нагоняют,
Не обернувшись, шаг свой ускоряет
И нехотя уходит от судьбы.
1989

* * *

Меня не трогайте! Я занемог
Недугом русским — чаяньем, надеждой.
На зов ее, как птица на манок,
Я отозвался с радостью поспешной.

Разочаровывать меня нельзя,
Разочаровывать меня жестоко.
Верна ли, не верна моя стезя,
Надеюсь я на милосердье рока.
1989

П О Р А !

Откройте, наконец, архивы,
Чтоб выволочь на божий свет
То, чем тогда мы были живы,
В начале юношеских лет.

Пусть, наконец, проглянут лица —
Тот простодушен, тот лукав.
А тот, кто этого боится,
Пусть прячет голову в рукав.

Снимите с наших глаз повязки,
Чтоб каждый разглядеть сумел
Что́ выпадет при перетряске
Открытых и закрытых дел.

Отдайте же на суд палаты,
Где всяк судья и адвокат,
Признанья тех, кто виноваты,
И тех, кто лгал, что виноват.

По непреложным ли законам,
А может, просто так, сплеча,
Влекли к столыпинским вагонам
Или под пулю палача.

Цель правосудия — прощенье,
Но лишь тогда, когда даны
Без домысла и извращенья
Все доказательства вины.

Так отомкните же архивы!
Избавьте нас от небылиц,
Чтоб стали ясными мотивы
Событий и деянья лиц!

Одна ль История причастна
К тому, что деют времена,
И гибель русского крестьянства
Не ею ли предрешена?

За самовольство всех диковин
Поди с Истории спроси!
А может, кто-то был виновен
В том, что творилось на Руси?

Пускай Народная Палата
Сберется. И, надев очки,
Поглядывает брат на брата,
Протягивает: «На, прочти!»

Чего боитесь? Превосходства
Над нами духа тех времен?
Или несходства? Или сходства?
Иль возмущения племен?

Откройте сейфы! Вот тогда-то
Свершится всенародный суд.
Пусть встанут адвокаты ката
И речи пусть произнесут.

Потом пусть встанут прокуроры
И прочитают им в упор
Доносы, самооговоры
И тайны пыточных контор!

И перед приговором трудным
Пусть воцарится тишина
И смолкнет перед часом судным
Вся многоликая страна.

Тогда, свободная от чуши,
Она, в сознанье высших прав,
Осудит, очищая души,
И только этим покарав!
1989

* * *

Пора воспоминаний,
Предзимняя пора.
Заморозок и зимородок,
Голые поля.

Теперь уж не страшится
Трусливое перо...
Заморозок и зимородок,
На дворе светло.
1989

* * *

Еврейское неистребимо семя.
И как его жестоко ни полоть,
Мы семь столетий имя, а не племя,
Страданье, воплотившееся в плоть.

Ответственны за все грехи Востока,
Испании, Германии, Руси,
Не требуй же теперь за око око,
Глас вопиющего, не голоси.

Пощады нет ни старцам, ни младенцам.
И каждый сильный слаб, а слабый яр.
Дымит, дымит невиданный Освенцим
И ямы разверзает Бабий Яр.

Но если в человецах мир настанет,
И ближнего не оскорбит никто,
Пускай нас до последнего не станет.
Я отпер дверь. И застегнул пальто.
1989

* * *

Эти летние дожди...
С. Кирсанов

Он, невнимательный к природе,
Вдруг вспомнил летние дожди,
Когда все было на исходе,
Когда все было позади.

Тогда в Москве палило лето,
И долго не было дождя,
Лишь погромыхивало где-то,
Грозою город обходя.

Но словно по его заказу
Блеснул изломанный разряд,
Ударил гром. И сразу, сразу
На город рухнул дождепад.

Со всех сторон хлестало, перло,
Блистало, грохало. И он
Вдохнул в истерзанное горло
Благоухающий озон.

От этих запаха и влаги
Легчало у него в груди
Когда ложилось на бумаге
Про эти летние дожди.
1989

* * *

Истомясь от сердечной печали,
Истомясь, начинаем с трудом
Верить слову, что было в начале,
А не тем, что явились потом.

И понятно, и ясно, и ново
Воссияет его благодать.
Странно, что изначальное слово
Раньше мы не могли различать.

Различили. Теперь уже надо,
Чтобы силу оно обрело,
Чтоб от паствы до пастырей стада
Изначальное слово дошло.
1989

* * *

Как разрешить взаимные обиды?
А может, просто: впредь не обижать,
Призвать на помощь мудрость Немезиды
И кулаки грозящие разжать?

Вон две зари на небе белой ночи
Текут — одна из дня, другая в день —
Друг другу уступая полномочья
На счет кукушек, запах трав и рдень.
1989

* * *

Когда я распрощался с Беатриче,
Я стал спокоен, сумрачен и сух.
И научился жить на свой обычай,
И постепенно укрепил свой дух.

А надо бы из моего романа
Бесстрашно вымарать почти что треть —
Все строки страсти и самообмана
И страшную потребность умереть.

И вот, освободившись от обузы,
Порою снова вижу небеса,
Когда меня в глаза целуют музы,
В мои почти незрячие глаза.
1987—1989

* * *

Поэзии ничто не может помешать,
Да и помочь ничто не может —
Ни обозленная печать,
Ни преклоненье множеств.
Ни пуля в лоб, ни нож из-за угла,
Ни подношенья, ни букеты.
О чем же вы тревожитесь, поэты?
1989

* * *

Подстригай и прореживай кроны
Чтоб плоды наливались полней.
У поэзии те же законы —
Надо слово прореживать в ней.

Находи и вырезывай лишнее.
Не жалей и прореживай вновь!
Видишь: строчка спелою вишнею
Разбивается в кровь.
1989

ИМПРЕССИОНИЗМ

Импрессионизм — дурное зренье,
Тусклый свет, расплывчатость фигур.
Но уже не время, а мгновенье
На тебя взирает сквозь прищур.

И не надо думать о дальнейшем,
Не держать идею в голове.
Почему бы не считать важнейшим
Те стога и завтрак на траве?

Как бы не резвились по дурацки
На траве, но в этом что-то есть.
Рядом осень смешивает краски
В октябре,
Когда темнеет в шесть.
1989

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

I

С любовью дружеской и братской
Я вновь сегодня помяну
Всех декабристов без Сенатской,
Облагородивших страну.

Сыны блистательной России,
Горевшие святым огнем,
Отечество не поносили —
Радели искренно о нем.

К их праху, после муки черной,
Всех неурядиц и невзгод
Народ России просвещенной
Благоговейно припадет.

II

Откладыватель в долгий ящик,
На послезавтра, на потом,
Певец каникул предстоящих,
Дней, не заполненных трудом,

Ленивец, не любитель спешки,
И постепенности пророк,
Я раздавал свои усмешки,
Пока всему не вышел срок.

Теперь уже не до усмешек,
Когда азартно, как юнец,
Нагромоздив орлов и решек,
Играет время в расшибец.

И делает уже попытки
Втянуть нас в дикую войну,
Чтоб мы рассыпались от битки,
Как гривенники на кону.

III

В. М. Василенко

Свободы нет. Порыв опасный
Отнюдь не приближает к ней.
Лишь своевольства дух всевластный
Осуществляется вольней.

Но все же в звездные минуты
Мы обольщаемся мечтой.
И кровь кипит. И судьбы вздуты,
Как парус, ветром налитой.

И в упоенном нетерпенье
Рвем узы тягостных тенет.
И сокрушаем угнетенье,
Чтоб утвердился новый гнет.
1986—1989

У ОКНА

Кто-то движется в окне.
Это, видно, не ко мне.
Каблучки по тротуару
Прозвенели в тишине.
Это тоже не ко мне.
Слышу говор в стороне.
Это тоже не ко мне.

Вон старуха в шушуне
С коробочком за спиной.
Отвернулась от окна.
Это, видимо, она,
Это, видимо, за мной,
Это, видимо, ко мне...
1989

* * *

Когда уже не всех подряд хватали
И на устах оттаивала речь,
Мы все же что-то обретали,
Успели кое в чем поднатореть.

Происходило воспитанье
Под зеленью болотной ряски,
Готовились для испытанья
И для грядущей перетряски.

И наши нежные мозги,
Наш дух, ничем не защищенный,
Давали первые ростки,
Скрываясь в ракушке подонной.
1989

* * *

Фрегат летит на риф.
Но мы таим надежду,
Что будет он счастлив
И что проскочит между
Харибдою и Сциллой,
Хранимый Высшей Силой.

Что остается нам?
Убавить паруса.
Удерживать штурвал.
И, укрепясь молитвой,

Надеяться на то,
Что внемлют небеса
И пронесут фрегат
Над Сциллой и Харибдой.
1989

* * *

Писем напишу пяток,
Лягу и умру.
Знай сверчок свой шесток —
Хватит жить в миру.
Но умру не насовсем
И не навсегда.
Надо мною будет сень,
А над ней звезда.
Над звездою будет Бог,
А над Богом свет.
А над светом голубок
Посреди планет.
А над голубем цветок,
А в цветке пчела,
Что опустит хоботок
. . . . . .
12 декабря 1989
<Последнее стихотворение>

Содержание

Андрей Немзер. Поэт Давид Самойлов 5

А мы такие молодые!..
1938—1945
Плотники... 27
Пастух в Чувашии 28
Охота на мамонта 29
«Когда,
туман превозмогая...» 31
К вечеру 31
Маяковский 32
«Опять Гефест
свой круглый щит кует...» 33
Софья Палеолог 34
Отступление 35
Слово о Богородице
и русских солдатах 35
«Прости мне горькую досаду...» 37
О солдатской любви 38
«Как смеют женщину
ругать...» 40
«В колокола не звонят
на Руси...» 41
Прощание («Я вновь покинул
Третий Рим...») 42
Девочка 43
1942 44
Из цикла «Разговор с друзьями»
I. «Скажите, правда ли
рассудок...» 45
III. Вдохновение 45
Перед боем 46
Муза 46
Катерина
1. «Баян спасает
от тоски...» 47
2. «В стихах господствует
закономерность...» 48
Из цикла «Дорога на Польшу»
I. «Мы в старый дом
вошли. А стужа...» 48
II. Мария 49
III. Прибытие в Ковель 49
IV. Рубеж 50
V. Бяла Подляска 51
Дом на Седлецком шоссе 52
«Вы просите стихов.
Их нет...» 53
Дом у дороги 54
«Мы зябли,
но не промерзали...» 55
«Берлин в просветах стен
без стекол...» 55
В шесть часов вечера
после войны 56
«Так рубят лозу на скаку...» ... 57

Я надеюсь и жду...
1946—1954
«Зачем кичимся мы
и спорим...» 61
«Я верю в нас.
И это свято...» 62

Бабельсберг. 1945 63
Семен Андреич 64
Бандитка 67
Павлу Когану 68
«Ты не торопи меня,
не трогай...» 70
«Извечно покорны слепому
труду...» 70
Сибирь 71
«Пора бы жить нам
научиться...» 72
«А вдруг такая тьма наступит...» 73
«Город зимний...» 74
Крылья холопа 75
Шаги Командорова. *Поэма* ... 76
Слово 83
Тревога 84
Стихи о царе Иване
В тумане 85
Мечта о море 86
Иван и холоп 88
Томление Курбского 89
Смерть Ивана 91
Марине Цветаевой
1. «Много слов о тебе
говорилось....» 93
2. « Марина, Марина...» 94
3. «Назначенье поэта...» 95
Осень сорок первого 95
Элегия 97
На Оби 99
«Жаль мне тех, кто умирает
дома...» 100
Снежный лифт 101
Гончар 102
«Золотая моя, как же так?
как же вдруг?..» 103
Подмосковье 103
Начало зимних дней 104
Апрель 105
Первый гром 105
Мост 106
В районном ресторане... 106
«Рано в этом году...» 107

И где-то возле сорока...
1955—1964
«Когда я умру, перестану...» .. 111
На полустанке 112
Сказка 113
Чайная. *Поэма* 114
Черный тополь 123
Слепые 124
Презренье 125
Солдатская песня.
Из драмы «Сухое пламя» 126
Не спится 126
Телеграфные столбы 127
Жил стукач 128
Из детства 129
Железная скворешня 130
«Извилисты тихие реки...» ... 131
«Я наконец услышал море...» . 132
Страх 132
Идут разговоры 133
Зрелость 135
Цирк 135
Чужие души 137
Дует ветер 138
«Пусть недостаток
и убыток...» 138
Поэты 139
«Как поумнел я
с той поры...» 139
«Какой нам странный март
подарен!..» 140
Старая песня 141
«И так бывает — в день
дождливый...» 142
Золушка 143
«О, много ли надо земли...» .. 144
Ночлег 145
«Чужая мне
принадлежала...» 147
Грусть 147
Романс («"Прости-прощай"! —
мелодию такую...») 148
«Проводила в путь
последний...» 149

«Когда любовь развеялась, истлела...» 149
«Луч солнца вдруг мелькнет, как спица...» 150
Белые стихи *(Рембо в Париже)* 151
Полуфабрикаты 152
Атлант 153
Старик («Старик с мороза вносит в дом...») 154
Гитары 155
Наташа («Неужто девушке Наташе...») 157
«Я вышел ночью на Ордынку...» 158
Старый город 158
Соловьиная улица 159
«Давайте защитим людей...» 160
«Я стал теперь зависим от погоды...» 161
Аленушка 161
«Как медленно листва...» 162
Телевизоры 162
Дядькин 163
«Мальчики уходят на войну...» 165
Железная мазурка 166
«Я глядел на падучие звезды...» 167
«Плачет женщина чужая...» .. 168
Таланты 168
Над Невой 170
«Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал...» 170
«Стих небогатый, суховатый...» 171
Заболоцкий в Тарусе 171
Болдинская осень 173
Шуберт Франц 173
Памяти А. Р. 174
«Слава богу! Слава богу!..» .. 176
Сороковые 177
Перебирая наши даты 178
Двор 179
«Этой скромной нешумной весне...» 180
«Не ломайте ее, не ломайте...» 181
Слова 182
«Готовьте себя к небывалым задачам...» 182
«Хочется мирного мира...» ... 183
«Захотелось мудрым землянам...» 184
«В каком хитросплетенье генов...» 185
Вдохновенье 185
«Подставь ладонь под снегопад...» 186
Дом-музей 187
Советчики 189
«Если вычеркнуть войну...» .. 190
«Дождь пришел в городские кварталы...» 191
«— Не отрывайся, — мне сказали...» 192
«Таким, как ты придумала меня...» 193
Осень («Вот опять спорхнуло лето...») 193
«Слово льется...» 194
«Читаю умный свой дневник...» 195
Карусель 196
Деревянный вагон 197
Бертольд Шварц. *Монолог* ... 198
Дневник («Писал при свете фитилька...») 200
«И вот опять арбатские проулки...» 202
Утро 202
Холод 203
Рисунок 204
«Соловьи не прельщают мотивом...» 205
Матадор 205
Ночная гроза 206
Старик Державин 207

«Как объяснить тебе, что это, может статься...» 208
«Непонятны нам сыновья и дочери...» 209
«Ах, Господи! Ужель нужны нам судьи!..» 210
«Дописывая этот стих...» 210
«И снова будут дробить суставы...» 212
«Я рад, что промахнулся, Генрих Белль...» 212
Красная осень 213
Наташа («Круглый двор...») 214
«Я рано встал. Не подумав...» 215
«О Господи, конечно, все мы грешны...» 216
«Музыка, закрученная туго...» 217
«Странно стариться...» 218
«Давай поедем в город...» 218
«Становлюсь постепенно поэтом...» 220
«Не верь ученикам! Они испортят дело!..» 220
Жаворонок 221
Рубка леса 222
«Стройность чувств. Их свободные речи...» 222
«Плетенье чепухи люблю...» 223
Анне Ахматовой 224
Рождение 224
«Лицо подушки смятой...» ... 225
Колыбельная вполголоса 226
Дворик Мицкевича 227
Утро. Старая Вильна 228
Фотограф-любитель 229
«Ах, что нибудь меня погубит... » 230
Оправдание Гамлета 231
Красота 232
В деревне 233
«Та война, что когда-нибудь будет...» 234
Свободный стих («Профессор Уильям Росс Эшби...») 235
Голоса 236
С эстрады 237
Смерть дирижера 237
«Весь лес листвою переполнен...» 239
«Современность, пружая на рожон...» 239
«Пора бы поэзию бросить... » 240
«Все реже думаю о том...» ... 241
Позднее лето 242
Море 242
Перед снегом 243
Память 244
«Я переполненный тобой...» . 244
«Казните ангела, художник...» 245
«Не хочется идти в журнал... » 245
Подросток 246
Конец Пугачева 246

Благодарите судьбу, поэты... 1965—1975

Два стихотворения
1. «Таллин — тайное обиталище...» 251
2. «Похожи — стремленьем к разлукам...» 252
«Вновь стою пред лицом событий...» 252
Названья зим 253
«Не надо спать, не надо глаз смыкать...» 253
«Вода моя, где тайники твои...» 254
Пестель, поэт и Анна 254
«И всех, кого любил...» 257
Читая фантаста 258
Неореализм 258

Зима настала 259
«В огромном разобщении
людей...» 260
Выздоровление 261
Сиглигет 262
В общежитии слепых 263
«Есть мера чувств и действий
мера...» 263
Рябина 264
«Химера самосохраненья!..» . 265
«Снег сухой, как зубной
порошок...» 265
«Получил письмо издалека...» 267
«Расставанье...» 267
Двор моего детства 268
«Будь счастлив, сын, мечтой
о лете...» 269
Ветреный вечер 269
«Пью водку под хрустящую
капустку...» 270
Смерть поэта 271
«Была туманная луна...» 273
Выезд 274
Предместье 275
На Дунае 276
Марии 276
Соловьи Ильдефонса-
Константы 277
Таллинская песенка 278
Ночной сторож 279
«Вот и все. Смежили очи
гении...» 280
«Играет март
на скрипочке...» 280
«Надо жить не от года
к году...» 281
«Был ливень. И вызвездил
крону...» 281
Рождество Александра
Блока 282
«Дай выстрадать
стихотворенье!..» 285
«Был вечер, полный
отвращенья...» 285
Святогорский монастырь 287
Тайный летописец 288
Осень
(«Я потерял богатство...») ... 289
Апрельский лес 290
Фейерверк 291
Романтическая баллада 292
Берег мертвых 294
«Скрежещет ветка о стекло...» 295
«Не бойтесь! Умираем
только мы!..» 296
«Вот дерево перед окном...» .. 297
Пустырь 297
«Я ехал по хóлмам
Богемии...» 298
«В этой Праге золотой...» 299
Старый сад 299
«Не у кого просить
пощады...» 300
«Проснись однажды
утром...» 301
Тишина 301
Зимние птицы 302
Легкая сатира 304
«Вдруг обоймут большие
шумы леса...» 304
«Листвой наполнены
деревья...» 305
Весенний гром 305
Рем и Ромул 306
Березняк 307
«Распутица. Разъезжено.
Размято...» 308
«Ты, Боян, золотой
соловей...» 309
«Выстраивается столетье...» .. 309
«Тот дивный, давний
спор...» 310
«В отдаленных лугах
зазвеневшая осень...» 310
«Старушечье
существованье...» 311
«Мне снился сон
жестокий...» 311

«Лишь изредка родится
в нас...» 312
Баллада разлук 313
«Что-то вылепится...» 314
«Неужели всю жизнь надо
маяться!..» 314
«То осень птицы легче...» 315
«Не мысль, не слово —
а под снегом...» 315
«Ты — окруженный
гарнизон...» 316
«Мне снился сон.
И в этом трудном сне...» 316
«В воздухе есть напряженье...» 317
Вероятно 317
«Хотел бы я жить,
как люблю и умею...» 318
«Хочу, чтобы мои сыны...» ... 319
Михайловское 320
«Теперь уже знаю...» 321
«Кончался август...» 321
Вторая легкая сатира 322
«Там дуб в богатырские
трубы...» 323
«Настала такая эпоха...» 323
«Осенний вихрь гудит
под дверью...» 324
«Кто устоял в сей жизни
трудной...» 324
Поэт и гражданин 325
«Возвращенье от Анны...» ... 330
Заздравная песня 331
Прозреванье 332
«Тоски ледяной гребешок...» .. 332
«Березы, осины да елки...» .. 333
«Вот в багровой листве
и лазури...» 334
«Здесь, в Таллине,
бродили мы с Леоном...» 334
«Для себя,
а не для другого...» 335
Купальщица 335
«Одиночество —
пошлая тема...» 336
«И осень, которая вдруг
началась...» 336
«Туман, туман, туман...» 337
При дожде 337
«Меня Анна Андревна
Ахматова...» 338
Завсегдатай 338
Ночной гость 340
Подражание Феокриту 343
«Родину люблю не за
взаимность!..» 344
«Быть выше споров наций
и племен...» 344
Рассвет 345
Памяти Смелякова 345
«Что сказать
официанткам...» 346
«С постепенной
утратой зренья...» 347
«Когда с досадой
и печалью...» 348
Солдат и Марта 348
«Полночь
под Иван-Купала...» 351
Балканские песни
1. Песня о кузнеце 352
2. Прощание юнака 353
3. Песня о построении
Кладенца 354
4. Песня о походе 355
5. Песнь о друзьях Милоша .. 357
Свободный стих («В третьем
тысячелетье...») 358
Анна Ярославна 360
«В августе,
когда заголубели...» 362
Отрывок 362
Блудный сын. *Поэма* 364
«...И тогда узнаешь
вдруг...» 369
Скоморошина 369
Стихи о Польше
1939-й 370
1944-й 371

Пятеро 373
Романс седьмого дня 373
На смерть кузнечика 374
«Не оставляйте письма...» ... 375
«С утра худые сквозняки...» .. 376
Возвращение 377
«Не торопи пережитого...» ... 377
«Я теперь жилец
Замоскворечья...» 378
Стихи и проза 378
Стихи о Дельвиге
I. «Дельвиг. Лень.
Младая дева...» 379
II. «Две жизни не прожить...» .. 380
Армения 381
«Выйти из дому при ветре...» 381
«Жизни первая треть...» 382
Маркитант 382
«Город ночью прост
и вечен...» 384
«Вас соберу, красавицы
мои...» 384
«Здесь, в комнате,
нам слышны из окон...» 385
«Ветры пятнадцатых
этажей...» 385
«Отгремели грозы...» 385
«Когда я усну наконец...» 386
«Потому мне и жалко...» 386
«Выспалось дитя.
Развеселилось...» 387
Поэт 387
За Непрядвой 388
«Нам остается жить
надеждой и любовью...» 389
Струфиан.
Недостоверная повесть 390
Старик («Удобная,
теплая шкура — старик...») . 399
«Ах, бедный современный
гений...» 400
«Вдруг странный стих
во мне родится...» 401
«Служенье памяти!..» 401
«Какой пологий
Пярнуский залив!..» 402
«И ветра вольный горн...» ... 402
«Мой милый чтец!..
Ну что за слово...» 403
«Упущенных побед немало...» 404
«Надо себя сжечь...» 404
Черновики 404
«Наверное, слишком
уверенно...» 405
«А слово — не орудье мести!
Нет!..» 405
Снегопад. *Поэма* 406
«Возвращаюсь к тебе,
дорогая...» 414
Смерть императора
Максимилиана.
Чешская баллада 414
Цыгановы. *Поэма* 416
1. Запев 416
2. Гость у Цыгановых 417
3. Рождение сына 419
4. Колка дров 422
5. Смерть Цыганова 423

Я сделал свой выбор...
1976—1981
«Светлорогая полночь весит
над землей...» 429
«Поэзия пусть отстает...» 429
Дезертир 430
«Чем, собственно,
живопись хуже...» 432
«Чем более живу,
тем более беспечной...» 433
Рецензия 433
«Не увижу уже
Красногорских лесов...» 434
«Россия одинока в мире...» .. 434
«И вот однажды ночью...» ... 435
«Вставал буграми
ледоход...» 436
«Сперва сирень,
потом жасмин...» 436

Песенка для спектакля 437
«Я люблю ощущенье
ушедших годов...» 438
«Стихи читаю Соколова...» .. 438
Старый Дон Жуан. *Поэма* 439
«Надо так, разбираясь
толково...» 442
«И что еще за странная
привычка...» 443
Свободный стих («Свободный
стих...») 443
«Я учился языку у нянек...» .. 444
Рассвет в Пярну 444
«И снова все светло
и бренно...» 445
Залив 446
«О бедная моя!..» 447
«Кто двигал нашею
рукой...» 447
Пярнуские элегии
I. «Когда-нибудь
и мы расскажем...» 448
II. «Красота
пустынной рощи...» 448
III. «Круг любви
распался вдруг...» 448
IV. «И жалко всех и вся.
И жалко...» 449
V. «Здесь великие сны
не снятся...» 449
VI. «Деревья прянули
от моря...» 449
VII. «Когда замрут
на зиму...» 450
VIII. «Как эти дали хороши!..» 450
IX. «Любить не умею...» 450
X. «Пройти вдоль нашего
квартала...» 451
XI. «В Пярну легкие
снега...» 451
XII. «Когда тайком
колдует плоть...» 451
XIII. «Утраченное
мне дороже...» 452
XIV. «Вдруг март
на берегу залива...» 452
XV. «Расположенье
на листе...» 452
XVI. «Чет или нечет?...» 453
Сон о Ганнибале. *Поэма* 453
«Я смерть свою забуду...» 462
Приморский соловей 463
«Как я живу? Без ожиданий...» 464
Ялуторовск 465
Звезда 465
Картина с парусами 466
«Может, за год
два-три раза...» 467
«Как странны польские
эмблемы...» 467
Эстимаа 468
Можно и так... 469
Два стихотворения
I. «Он заплатил
за нелюбовь Натальи...» ... 470
II. «Что остается?
Поздний Тютчев?..» 470
«Какой-то ветер
нынче дул...» 471
«Свежо кричат вороны...» ... 471
«Я все время ждал
морозов...» 472
Начало поэмы 473
Средь шумного бала 474
«Я устарел,
как малый юс...» 475
Часовой 476
Стансы 476
«Пусть нас увидят
без возни...» 478
«Эта плоская равнина...» 478
«Усложняюсь,
усложняюсь...» 478
Другу-стихотворцу 479
«Год рождения
не выбирают...» 480
«Что за радость!
Звуки шторма...» 481

Мороз 481
Погост 482
Афанасий Фет 483
Прощание
(«Убившему себя рукой...») .. 484
Памяти юноши 488
Мастер 490
Хлеб 491
Воспоминания 492
«Прирожденный
горожанин...» 492
Свободный стих
(«Я рос соответственно
времени...») 493
Три стихотворения
I. «Спи, Мария, спи... » 494
II. «Во сне мне
послышался голос...» 494
III. «И вот уже больше
недели...» 495
В духе Галчинского 495
«Скрепляют болезни
и смерти...» 497
«Острая моя травина...» 497
«Был ли счастлив я
в любви...» 498
Реанимация 499
Учитель и ученик.
Идиллия 501
Конец лета 506
«Начать сначала!
Боже мой!..» 507
Бессонница 507
«Забудь меня и дни...» 508
Сандрильона 508
Неизвестные поэты 509
«Мы не меняемся
совсем...» 510
Дневник
(«Листаю жизнь свою...») ... 510
«Я сделал вновь поэзию
игрой...» 511
«Дай мне нынче выйти
в полночь...» 512
«Повтори, воссоздай,
возверни...» 512
Леди Макбет 513
«Обратно крути
киноленту...» 513
«Тот же вялый балтийский
рассвет...» 514
Арсению Тарковскому 515
Актрисе 515
«Тебе свою судьбу вручил
навек...» 516
Сон 517
«Деревья должны...» 518
«Мое единственное
достояние...» 518
«Заманчиво задним
числом...» 519
«Заросшая тропа
теряется в степи...» 519
«Окончилась драма
любви...» 519
«Игра в слова — опасная
забава...» 520
«У меня пред тобою
вина...» 520
«Престранная наша
профессия...» 521
«Зачем за жалкие слова...» ... 521
Осень
(«Неужто я иду на спад...») .. 522
«Куда мне деваться
от этих забот ежедневных...» . 522
«Наверно, все уже ушло...» .. 523
«Пахло соломой в сарае...» ... 524
«Нет слова ужасней,
чем это...» 525
Рихтер 525
«Я был не слишком
добрым...» 526
«Что за жалкие эти
уловки...» 526
«Рассчитавшись с жаждою
и хламом...» 527
«Я никогда не пребывал...» .. 527

Ревность 528
«Тебя мне память
возвратила...» 529
«Надо идти все дальше...» ... 530
«Пусть все будет как есть...» . 530
Декабрист 531
За перевалом 532
«Можно ли считать себя
счастливым...» 533
Голоса за холмами 533
«Поздно учиться играть
на скрипке...» 534
«Декабрь. Но не хватает
снега...» 534
«И непонятное письмо...» ... 535
«Стих Слуцкого. Он жгуч...» . 535
«Разрушена души
структура...» 536
«То, что тайно живет
в подсознанье...» 536
Памяти Антонины 537
«В какие-то новые дали...» ... 538
«Что надобно солдату?..» 538
«Что за странная забота...» .. 539
«Запиши мне в жизнь кусок...» 539
«Увлечены порывом
высшим...» 540
Двойник 540
Дуэт для скрипки и альта 541
«Думать надо о смысле...» ... 543
«Смерть не врет.
Она открыта....» 543
«Не хочется с тобою
расставаться...» 544
«Тяжел уже стал.
Никуда не хочу...» 545
«Когда сумбур
полународа...» 545
«Мне выпало счастье
быть русским поэтом...» 546
«Уж лучше на погост...» 546
«Ты в стихе, как на духу...» ... 547
«Жизнь сплетает
свой сюжет...» 547
«Милая жизнь! Протеканье
времен...» 548
«Сад подобен светлым
ризам...» 549
Фантазия о Радноти 549
«Тогда я был наивен...» 551
«Пожалуй, пора
перестать...» 552
«Скучно жить, питаясь
славой...» 552
Северянин 552
«О, нет судеб печальней
наших...» 553
«Я слышал то, что слышать
мог...» 554
Цыгане 554
«Стояла осень.
Воздух чист...» 556
«Сколько здесь явилось
чар...» 556
Про охотника 557
Про Ванюшку 557
«В этот час гений садится
писать стихи...» 558
«Перестрадаю,
переболею...» 559
«Вот опять для зимних
птиц...» 559
«Когда-нибудь я к вам
приеду...» 560
«Поэзия должна быть
странной...» 560
«Примеряться к вечным
временам...» 561
«Теперь вы плачете.
А где ж вы были...» 561
Старомодное 562

Не исповедь, не проповедь...
1982—1985
«Сплошные прощанья!
С друзьями...» 565
Песенка гусара 565
«Допиться до стихов...» 566

«Да, мне повезло в этом мире...» 567
«А мы куда-то мчались...» ... 567
«Хотел бы я не умереть...» ... 568
«В последний раз со старым другом...» 568
Баллада 569
Камень 570
«В деревьях около воды...» ... 571
«Купаться в ключевой воде...» 571
«Не исповедь, не проповедь...» 572
Шарманщик 572
«Надоели поэтессы...» 573
«И встану я. И слово канет...» 574
Ода 575
«И вот я встал, забыл, забылся...» 576
«Никто мне ни в чем не обязан....» 576
Старый Тютчев 577
«А если мир погибнет весь?..» 577
Гроза 578
«Когда сумеем угадать...» 578
«Откуда я?..» 579
Скоморохи 580
«Ирония! Давай-ка выпьем вместе...» 581
«Надо выйти из моды...» 583
«И к чему ни прислушайся — все перепев...» 583
«Мне все время видятся холмы...» 584
«Заскорузлые слова мои...» .. 584
Весна
I. «Вдруг становится хорошо...» 585
II. «Все тянет меня к Подмосковью...» 585
III. «Рассвет в огромном дереве...» 586
Птицы
I. «О, как я птиц люблю весенних...» 586
II. «Музыка играет...» 587
III. «Словно пестрая корова...» 587
IV. «Люблю я март...» 587
«Тебя люблю. С тобою буду...» 588
«Не мешай мне пить вино...» 588
«Я в этой жизни милой...» ... 589
«Я вдаль ушел. Мне было грустно...» 590
Батюшков 590
«— О люди, о люди! — вопит Прометей...» 590
«Я многого хочу...» 591
Смех в отдаленье 591
Облики облака 592
Ожиданье пришествия 593
Песенка 594
«Всю ночь сегодня буря выла...» 595
«Здесь, вдали, неизвестно — кто умер, кто жив...» 595
«Вечность — предположенье...» 596
Зима 596
Самозванец 596
«Люблю тебя, Литва! Старинная вражда...» 597
«Перед тобой стоит туман...» 598
«Друзья мои, здравствуйте!..» 599
«Луна взошла. Спасибо ей!..» 600
«Светлые печали...» 600
«Отвези меня в Грузию! Здесь я хочу умереть...» 600
«Не преуменьшать...» 601
Романс («Поворожи, цыганка...») ... 602

«Играй, Игнат, греми,
цимбал!..» 603
«Жизнь с множеством
чувств и волнений...» 604
«Тогда любовью нашей
грешной...» 605
«Познать свой век
не в силах мы!..» 605
Ночная прогулка 606
«Я ухожу постепенно...» 607
«Чудо — познаваемость
вселенной...» 607
«Когда кругом цветут
сады...» 608
«Когда уже надежды нет...» .. 608
«Сад — это вовсе
не природа...» 609
Объяснение 609
«А на рассвете дрозд
поет...» 610
«Знаю: дерево это
в июне...» 611
«Путь мой юный, свет мой
ранний...» 611
«Какой могучий ветер...» 612
В. Соколову 612
«Водил цыган медведя...» 613
Песня без слов 614
«Закатам облака к лицу...» ... 614
«А помнишь, ты была
тогда...» 615
Пушкин по радио 615
Убиение Углицкое 617
«В мире многообразном...» .. 620
Старая мама 621
Партизаны 621
«Повторяемся...» 621
Могила поэта 622
Зимний комар 622
За городом 623
«Мороз! Накликал сам!..» ... 624
Назначенье 625
В ночном 625
Итог 626
Окно 627
После суровой зимы 628
Осень («В уходе есть свое
величье...») 629
«Кто говорит, что снова
молод...» 630
«Нам надо бы закрыться...» .. 630
Диалектика 632
Беатриче
Беатриче 633
Автобусная остановка
«Лаури» 634
«Ждать не умею! Вмиг!
Через минуту!..» 635
«Желанье и совесть —
две чаши...» 635
День 636
Дон Кихот 637
«Ты подарила мне
вину...» 637
Страсть 638
«Вот в эту пору
листопада...» 638
«Соври, что любишь!
Если ложь...» 639
45-я Гайдна 639
«Не для меня вдевают
серьги в ушки...» 640
Бабочка 640
«Ах, наверное,
Анна Андревна...» 641
Идиллия на потом 641
Реплика Данте 642
Под утро 642
«Действительно ли
счастье — краткий миг...» 643
«Я вас измучил
не разлукой —
возвращеньем...» 644
Она 644
«Устал. Но все равно
свербишь...» 645
«Веселой радости
общенья...» 645

«Как я завидую тому...» . . 646
Фантазия 646
«В меня ты бросишь
грешные слова...» 647
«Ты скажи, чем тебя я
могу одарить?..» 647
«Ты не добра...» 648
«Простите, милые,
ведь вас я скоро брошу...» 648
На рассвете 649
«Жалость нежная
пронзительней любви...» . 649
«Я написал стихи
о нелюбви...» 650
Финал 650
Последний проход
Беатриче 651
«Конец системы
самооправданья...» 652
«Есть спор двух душ
слиянных — о разъятье...» . . . 652
Вечером 653
«Не умирают беглые
слова...» 653
Осень
(«В деревьях
некий шум таится...») 654

В общем, жизнь состоялась...
1986—1989
«Уйти, раствориться
в России...» 657
«Синяя поздняя осень...» 657
«Был год неустройства
и слома...» 658
«Ну что за эхо!
Миллионы раз...» 658
«А иногда в туманном
освещенье...» 658
Королевская шутка 659
«Возвращаются
как бумеранги...» 661
«Я наконец свободен...» 662
Лирика 663
«Не верь увереньям,
наивный...» 664
Откровенность 664
«Я задаю вопросы,
на которые...» 665
«Добивайтесь, пожалуйста,
смысла...» 665
«В крутокрышем пярнуском
доме...» 666
«Жить в новых
условиях...» 666
В Пярну 667
«В общем, жизнь
состоялась...» 668
«Вот так и нужно жить
всегда...» 668
Exegi... 669
«Слышно все.
В соседней улице...» 670
Смотрины 671
Баллада о конце света.
Из блокнота 41 года 673
Песня ясеневого листка 675
Андалузская баллада 678
Притча о сыновьях Уцы 680
Кабаретная баллада 682
«Трудней всего
выздоровленье памяти...» . . . 684
«Отводя березовые
сучья...» 685
«Овсяночки, малиновки,
щеглы...» 686
Поэтика 686
Об антологиях 687
«Меня ты не отпустишь.
Осторожно...» 688
К передовой 688
Валя-Валентина 690
Лечение Подмосковьем 691
Велес 693
«Грачи прилетели» 693
«Не надо срезанных
тюльпанов!..» 695
М. Козакову 695

«Разговаривает ветер...» 696
«Лечи меня, Время,
скорее...» 697
«Мать ушла.
И тонкий полог...» 698
«Вино, стихи — утеха...» 698
«Птичка маленькая пела...» .. 699
Дождь («Дождь всего
исцеловал, исплакал...») 699
Полынь-звезда 700
Три наброска
1. Конец XVIII 701
2. Конец XIX 701
3. Маяковский отмаячил 702
Вознесение Аугуста Лима 703
«Не кажется ли,
что наивней...» 708
«День выплывает
из-за острова...» 709
Лаборатория поэта 709
Весомая осень 710
Бегство Толстого 710
«Рученьки мои устали...» 711
Маша 712
Колорит 713
Два голоса 714
«Что-то вдруг забыл о том,
что юным...» 714
«А вот и старость
подошла...» 715
У печки 715
«Владеть всем тем,
чем нам дано...» 716
«Остановись, прогресс!
Замри!..» 717
«Лунным светом город
залит...» 717
«Тщеславье — грех.
И может быть большой...» ... 718
Хлебников 718
«Когда бы спел я,
наконец...» 719
«Уставший от утрат...» 720
«Напиши мне, богомаз...» ... 720
«Поверить новым
временам...» 721
«Навсегда с тобой
расстанусь...» 721
«Жить так: без жалоб
и обид...» 722
Вариация 722
«Трудна России
демократия...» 723
Переводчик 273
«Несовпадения
в пространстве...» 724
Оркестр 724
Линия 725
«Смысл истории,
значенье лиц...» 726
«Артист совсем не то же,
что актер...» 726
«Старость.
Сколько протяну...» 727
«Игра со временем —
не с нашим и не с прошлым...» 727
«Слепого мальчика ведет
собака...» 728
Старый цирк
1. После представления 728
2. Бим и Бом 729
3. Лев в неволе 730
Дождь («Дождь пахнет
мокрой собакой...») 731
«Всего с собой
не унесешь...» 732
«Начать с себя.
Не ждать, покуда...» 732
Сопротивленье 733
Памфлет 734
Переменная погода 735
Заповедь 736
Альфонсасу Малдонису 737
Три отрывка
1. «Кара! Кара!» —
крикнул ворон...» 737
2. «Странно мне, что
с приближеньем смерти...» .. 738

3. «Вот что доступно
только гениям...» 738
«В январе дождь ливмя...» ... 738
«И страшны деревенские
проселки...» 739
«К Маяковскому
возвращаться?...» 739
«В памяти угасла
строчка...» 740
«От византийской мощи...» .. 740
«То, что от меня пошло...» ... 741
«Вспоминай про звезды
неба...» 741
«Не время ли, чтоб
полюбовно...» 742
Возвращение. *Поэма* 742
«Вот еще один ушел...» 750
Песок 750
«Не имею желания...» 751
«Кто ответит, как нам
быть?..» 751
Пробуждение 752
«Январь в слезах, февраль
в дожде. Как усмотреть...» ... 752
Поговорим о дряни 753
«Покаяньям публичным
не верится...» 753
«Остренький листок
как свечка...» 754
«Жизнь родины
и жизнь души...» 754
«Простое величье я видел
однажды...» 754
Традиционный стих 755
Анахорет 756
«Меня не трогайте!
Я занемог...» 757
Пора! 757
«Пора воспоминаний...» 759
«Еврейское неистребимо
семя...» 760
«Он, невнимательный
к природе...» 760
«Истомясь от сердечной
печали...» 761
«Как разрешить взаимные
обиды?..» 762
«Когда я распрощался с
Беатриче...» 762
«Поэзии ничто не может
помешать...» 763
«Подстригай и прореживай
кроны...» 763
Импрессионизм 764
Три стихотворения
1. «С любовью дружеской
и братской...» 764
2. «Откладыватель
в долгий ящик...» 765
3. «Свободы нет.
Порыв опасный...» 765
У окна 766
«Когда уже не всех подряд
хватали...» 767
«Фрегат летит на риф...» 767
«Писем напишу пяток...» 768

Литературно-художественное издание

Давид Самойлов

СЧАСТЬЕ РЕМЕСЛА
избранное

редактор
Татьяна Тимакова

художественный редактор
Валерий Калныньш

Подписано в печать 15.09.2009
Формат 84x108/32
Усл. печ. л. 41,16.
Бумага писчая
Печать офсетная
Тираж 2000 экз.
Заказ № 454.

«Время»
115326 Москва, ул. Пятницкая, 25
Телефон (495) 951 5568
http://books.vremya.ru
e-mail: books@vremya.ru

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева,13
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru